БИБЛИОТЕКА ПРОЕКТА
БОРИСА АКУНИНА
ИСТОРИЯ
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

Екатерина II Великая

МЕМУАРЫ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Библиотека проекта «История Российского государства» – это рекомендованные Борисом Акуниным лучшие памятники мировой литературы, в которых отражена биография нашей страны, от самых ее истоков. Царствование Екатерины II Великой – императрицы Всероссийской – одно из самых значительных в русской истории. И темные и светлые стороны его имели громадное влияние на последующие события, особенно на умственное и культурное развитие страны. Супруга Петра III от природы одарена была великим умом, ярким характером; ее муж, напротив, был человек слабый, дурно воспитанный. Не разделяя его удовольствий, Екатерина отдалась чтению и скоро от романов перешла к книгам историческим и философским. Одаренная литературным талантом, восприимчивая и чуткая к явлениям окружающей жизни, она принимала деятельное участие и в литературе своего времени. Екатерина II оставила после себя огромный архив. Ее письма, записки, пьесы, исторические, философские и публицистические произведения составят десятки томов.

- Екатерина II Великая
  -
  - Мемуары
    - Часть первая
    - Часть вторая
  - [Декабрь 1761 г. – январь 1762 г.]
  - О величии России
  - Мысли из особой тетради
  - Правила управления
  - Помощь народу при бедствиях
  - Избранные письма
  - Примечания

Екатерина II Великая
Мемуары

Если царствовать значит знать слабость души человеческой и ею пользоваться, то в сём отношении Екатерина заслуживает удивление потомства. Ее великолепие ослепляло, приветливость привлекала, щедроты привязывали. Само сластолюбие сей хитрой женщины утверждало ее владычество.

А. С. Пушкин

Библиотека проекта Бориса Акунина «История Российского государства» издается с 2014 года

© B. Akunin, 2019
© ООО «Издательство АСТ», 2019

Мемуары

Часть первая

Счастье не так слепо, как его себе представляют. Часто оно бывает следствием длинного ряда мер, верных и точных, не замеченных толпою и предшествующих событию. А в особенности счастье отдельных личностей бывает следствием их качеств, характера и личного поведения. Чтобы сделать это более осязательным, я построю следующий силлогизм:

качества и характер будут большей посылкой;

поведение – меньшей;

счастье или несчастье – заключением.

Вот два разительных примера: Екатерина II, Петр III. Мать Петра III, дочь Петра I[1], скончалась приблизительно месяца через два после того, как произвела его на свет, от чахотки, в маленьком городке Киле, в Голштинии, с горя, что ей пришлось там жить, да еще в таком неудачном замужестве. Карл Фридрих, герцог Голштинский, племянник Карла XII, короля Шведского, отец Петра III, был принц слабый, неказистый, малорослый, хилый и бедный (смотри «Дневник» Бергхольца[2] в «Магазине» Бюшинга [3]). Он умер в 1739 году и оставил сына, которому было около одиннадцати лет, под опекой своего двоюродного брата Адольфа Фридриха, епископа Любекского, герцога Голштинского, впоследствии короля Шведского, избранного на основании предварительных статей мира в Або по предложению императрицы Елисаветы.

Во главе воспитателей Петра III стоял обер-гофмаршал его двора Брюммер, швед родом; ему подчинены были обер-камергер Бергхольц, автор вышеприведенного «Дневника», и четыре камергера; из них двое – Адлерфельдт, автор «Истории Карла XII», и Вахтмейстер – были шведы, а двое других, Вольф и Мардефельд, – голштинцы. Этого принца воспитывали в виду Шведского престола при дворе, слишком большом для страны, в которой он находился, и разделенном на несколько партий, горевших ненавистью; из них каждая хотела овладеть умом принца, которого она должна была воспитать, и, следовательно, вселяла в него отвращение, которое все партии взаимно питали по отношению к своим противникам. Молодой принц от всего сердца ненавидел Брюммера, внушавшего ему страх, и обвинял его в чрезмерной строгости. Он презирал Бергхольца, который был другом и угодником Брюммера, и не любил никого из своих приближенных, потому что они его стесняли.

С десятилетнего возраста Петр III обнаружил наклонность к пьянству. Его понуждали к чрезмерному представительству и не

выпускали из виду ни днем, ни ночью. Кого он любил всего более в детстве и в первые годы своего пребывания в России, так это были два старых камердинера: один – Крамер, ливонец, другой – Румберг, швед. Последний был ему особенно дорог. Это был человек довольно грубый и жесткий, из драгунов Карла XII. Брюммер, а следовательно, и Бергхольц, который на все смотрел лишь глазами Брюммера, были преданны принцу, опекуну и правителю; все остальные были недовольны этим принцем и еще более – его приближенными. Вступив на русский престол, императрица Елисавета послала в Голштинию камергера Корфа[4] вызвать племянника, которого принц-правитель и отправил немедленно в сопровождении обер-гофмаршала Брюммера, обер-камергера Бергхольца и камергера Дукера, приходившегося племянником первому.

Велика была радость императрицы по случаю его прибытия. Немного спустя она отправилась на коронацию в Москву. Она решила объявить этого принца своим наследником. Но прежде всего он должен был перейти в православную веру. Враги обер-гофмаршала Брюммера, а именно – великий канцлер граф Бестужев[5] и покойный граф Никита Панин[6], который долго был русским посланником в Швеции, – утверждали, что имели в своих руках убедительные доказательства, будто Брюммер с тех пор, как увидел, что императрица решила объявить своего племянника предполагаемым наследником престола, приложил столько же старания испортить ум и сердце своего воспитанника, сколько заботился раньше сделать его достойным шведской короны. Но я всегда сомневалась в этой гнусности и думала, что воспитание Петра III оказалось неудачным по стечению несчастных обстоятельств. Передам, что я видела и слышала, и это разъяснит многое.

Я увидела Петра III в первый раз, когда ему было одиннадцать лет, в Эйтине, у его опекуна, принца-епископа Любекского. Через несколько месяцев после кончины герцога Карла Фридриха, его отца, принц-епископ собрал у себя в Эйтине в 1739 году всю семью, чтобы ввести в нее своего питомца. Моя бабушка, мать принца-епископа, и моя мать[7], сестра того же принца, приехали туда из Гамбурга со мною. Мне было тогда десять лет. Тут были еще принц Август и принцесса Анна, брат и сестра принца-опекуна и правителя Голштинии. Тогда-то я и слышала от этой собравшейся вместе семьи, что молодой герцог наклонен к пьянству и что его приближенные с трудом препятствовали ему напиваться за столом, что он был упрям и вспыльчив, что он не любил окружающих, и особенно Брюммера, что, впрочем, он выказывал живость, но был слабого и хилого

сложения.

Действительно, цвет лица у него был бледен, и он казался тощим и слабого телосложения. Приближенные хотели выставить этого ребенка взрослым и с этой целью стесняли и держали его в принуждении, которое должно было вселить в нем фальшь, начиная с манеры держаться и кончая характером.

Как только прибыл в Россию голштинский двор, за ним последовало и шведское посольство, которое прибыло, чтобы просить у императрицы ее племянника для наследования шведского престола. Но Елисавета, уже объявившая свои намерения, как выше сказано, в предварительных статьях мира в Або, ответила шведскому сейму, что она объявила своего племянника наследником русского престола и что она держалась предварительных статей мира в Або, который назначал Швеции предполагаемым наследником короны принца-правителя Голштинии. (Этот принц имел брата[8], с которым императрица Елисавета была помолвлена после смерти Петра I. Этот брак не состоялся, потому что принц умер от оспы через несколько недель после обручения; императрица Елисавета сохранила о нем очень трогательное воспоминание и давала тому доказательства всей семье этого принца.)

Итак, Петр III был объявлен наследником Елисаветы и русским великим князем, вслед за исповеданием своей веры по обряду православной церкви; в наставники ему дали Симеона Теодорского[9], ставшего потом архиепископом Псковским. Этот принц был крещен и воспитан по лютеранскому обряду, самому суровому и наименее терпимому, так как с детства он всегда был неподатлив для всякого назидания.

Я слышала от его приближенных, что в Киле стоило величайшего труда посылать его в церковь по воскресеньям и праздникам и побуждать его к исполнению обрядностей, какие от него требовали, и что он большей частью проявлял неверие. Его Высочество позволял себе спорить с Симеоном Теодорским относительно каждого пункта; часто призывались его приближенные, чтобы решительно прервать схватку и умерить пыл, какой в нее вносили; наконец, с большой горечью, он покорялся тому, чего желала императрица, его тетка, хотя он и не раз давал почувствовать – по предубеждению ли, по привычке ли или из духа противоречия, – что предпочел бы уехать в Швецию, чем оставаться в России. Он держал при себе Брюммера, Бергхольца и своих голштинских приближенных вплоть до своей женитьбы; к ним прибавили, для формы, нескольких учителей: одного, Исаака Веселовского[10], для русского языка – он изредка приходил к нему вначале, а потом и вовсе не стал ходить; другого

– профессора Штелина[11], который должен был обучать его математике и истории, а, в сущности, играл с ним и служил ему чуть ли не шутом. Самым усердным учителем был Ланге[12], балетмейстер, учивший его танцам.

В своих внутренних покоях великий князь в ту пору только и занимался, что устраивал военные учения с кучкой людей, данных ему для комнатных услуг; он то раздавал им чины и отличия, то лишал их всего, смотря по тому, как вздумается. Это были настоящие детские игры и постоянное ребячество; вообще, он был еще очень ребячлив, хотя ему минуло шестнадцать лет в 1744 году, когда русский двор находился в Москве. В этом именно году Екатерина II прибыла со своей матерью 9 февраля в Москву. Русский двор был тогда разделен на два больших лагеря, или партии. Во главе первой, начинавшей подниматься после своего упадка, был вице-канцлер, граф Бестужев-Рюмин; его несравненно больше страшились, чем любили; это был чрезвычайный пройдоха, подозрительный, твердый и неустрашимый, по своим убеждениям довольно-таки властный, враг непримиримый, но друг своих друзей, которых оставлял лишь тогда, когда они повертывались к нему спиной, впрочем, неуживчивый и часто мелочный. Он стоял во главе Коллегии иностранных дел; в борьбе с приближенными императрицы он, перед поездкой в Москву, потерпел урон, но начинал оправляться; он держался Венского двора, Саксонского и Англии. Приезд Екатерины II и ее матери не доставлял ему удовольствия. Это было тайное дело враждебной ему партии; враги графа Бестужева были в большом числе, но он их всех заставлял дрожать. Он имел над ними преимущество своего положения и характера, которое давало ему значительный перевес над политиканами передней.

Враждебная Бестужеву партия держалась Франции, Швеции, пользовавшейся покровительством ее, и короля Прусского[13]; маркиз де ла Шетарди[14] был ее душою, а двор, прибывший из Голштинии, – матадорами; они привлекли графа Лестока[15], одного из главных деятелей переворота, который возвел покойную императрицу Елисавету на Русский престол. Этот последний пользовался большим ее доверием; он был ее хирургом с кончины Екатерины I, при которой находился, и оказывал матери и дочери существенные услуги; у него не было недостатка ни в уме, ни в уловках, ни в пронырстве, но он был зол и сердцем черен и гадок. Все эти иностранцы поддерживали друг друга и выдвигали вперед графа Михаила Воронцова[16], который тоже принимал участие в перевороте и сопровождал Елисавету в ту ночь, когда она вступила на престол. Она заставила его жениться на племяннице императрицы Екатерины I,

графине Анне Карловне Скавронской[17], которая была воспитана с императрицей Елисаветой и была к ней очень привязана.

К этой партии примкнул еще граф Александр Румянцев[18], отец фельдмаршала, подписавший в Або мир со шведами, о котором не очень-то совещались с Бестужевым. Они рассчитывали еще на генерал-прокурора князя Трубецкого[19], на всю семью Трубецких и, следовательно, на принца Гессен-Гомбургского[20], женатого на принцессе этого дома[21]. Этот принц Гессен-Гомбургский, пользовавшийся тогда большим уважением, сам по себе был ничто, и значение его зависело от многочисленной родни его жены, коей отец и мать были еще живы; эта последняя имела очень большой вес. Остальных приближенных императрицы составляли тогда семья Шуваловых, которые колебались на каждом шагу, обер-егермейстер Разумовский[22], который в то время был признанным фаворитом, и один епископ. Граф Бестужев умел извлекать из них пользу, но его главной опорой был барон Черкасов[23], секретарь Кабинета императрицы, служивший раньше в Кабинете Петра I. Это был человек грубый и упрямый, требовавший порядка, справедливости и соблюдения во всяком деле правил.

Остальные придворные становились то на ту, то на другую сторону, смотря по своим интересам и повседневным видам. Великий князь, казалось, был рад приезду моей матери и моему.

Мне шел пятнадцатый год; в течение первых десяти дней он был очень занят мною; тут же и в течение этого короткого промежутка времени я увидела и поняла, что он не очень ценит народ, над которым ему суждено было царствовать, что он держался лютеранства, не любил своих приближенных и был очень ребячлив. Я молчала и слушала, чем снискала его доверие; помню, он мне сказал, между прочим, что ему больше всего нравится во мне то, что я его троюродная сестра и что в качестве родственника он может говорить со мной по душе, после чего сказал, что влюблен в одну из фрейлин императрицы, которая была удалена тогда от двора ввиду несчастья ее матери, некоей Лопухиной[24], сосланной в Сибирь; что ему хотелось бы на ней жениться, но что он покоряется необходимости жениться на мне, потому что его тетка того желает.

Я слушала, краснея, эти родственные разговоры, благодаря его за скорое доверие, но в глубине души я взирала с изумлением на его неразумие и недостаток суждения о многих вещах.

На десятый день после моего приезда в Москву как-то в субботу императрица уехала в Троицкий монастырь. Великий князь остался с нами в Москве. Мне дали уже троих учителей: одного, Симеона Теодорского, чтобы наставлять меня в

православной вере; другого, Василия Ададурова[25], для русского языка, и Ланге, балетмейстера, для танцев. Чтобы сделать более быстрые успехи в русском языке, я вставала ночью с постели и, пока все спали, заучивала наизусть тетради, которые оставлял мне Ададуров; так как комната моя была теплая и я вовсе не освоилась с климатом, то я не обувалась – как вставала с постели, так и училась.

На тринадцатый день я схватила плеврит, от которого чуть не умерла. Он открылся знобом, который я почувствовала во вторник после отъезда императрицы в Троицкий монастырь: в ту минуту, как я оделась, чтобы идти обедать с матерью к великому князю, я с трудом получила от матери позволение пойти лечь в постель. Когда она вернулась с обеда, она нашла меня почти без сознания, в сильном жару и с невыносимой болью в боку. Она вообразила, что у меня будет оспа: послала за докторами и хотела, чтобы они лечили меня сообразно с этим; они утверждали, что мне надо пустить кровь; мать ни за что не хотела на это согласиться; она говорила, что доктора дали умереть ее брату в России от оспы, пуская ему кровь, и что она не хотела, чтобы со мной случилось то же самое.

Доктора и приближенные великого князя, у которого еще не было оспы, послали в точности доложить императрице о положении дела, и я оставалась в постели, между матерью и докторами, которые спорили между собою. Я была без памяти, в сильном жару и с болью в боку, которая заставляла меня ужасно страдать и издавать стоны, за которые мать меня бранила, желая, чтобы я терпеливо сносила боль.

Наконец в субботу вечером, в семь часов, то есть на пятый день моей болезни, императрица вернулась из Троицкого монастыря и прямо по выходе из кареты вошла в мою комнату и нашла меня без сознания. За ней следовали граф Лесток и хирург; выслушав мнение докторов, она села сама у изголовья моей постели и велела пустить мне кровь. В ту минуту, как кровь хлынула, я пришла в себя и, открыв глаза, увидела себя на руках у императрицы, которая меня приподнимала.

Я оставалась между жизнью и смертью в течение двадцати семи дней, в продолжение которых мне пускали кровь шестнадцать раз и иногда по четыре раза в день. Мать почти не пускали больше в мою комнату; она по-прежнему была против этих частых кровопусканий и громко говорила, что меня уморят; однако она начинала убеждаться, что у меня не будет оспы.

Императрица приставила ко мне графиню Румянцеву[26] и несколько других женщин, и ясно было, что суждению матери не доверяли. Наконец нарыв, который был у меня в правом боку,

лопнул, благодаря стараниям доктора-португальца Санхеца[27]; я его выплюнула с рвотой, и с этой минуты я пришла в себя; я тотчас же заметила, что поведение матери во время моей болезни повредило ей во мнении всех.

Когда она увидела, что мне очень плохо, она захотела, чтобы ко мне пригласили лютеранского священника; говорят, меня привели в чувство или воспользовались минутой, когда я пришла в себя, чтобы мне предложить это, и что я ответила: «Зачем же? Пошлите лучше за Симеоном Теодорским, я охотно с ним поговорю». Его привели ко мне, и он при всех так поговорил со мной, что все были довольны. Это очень подняло меня во мнении императрицы и всего двора.

Другое очень ничтожное обстоятельство еще повредило матери. Около Пасхи, однажды утром, матери вздумалось прислать сказать мне с горничной, чтобы я ей уступила голубую с серебром материю, которую брат отца подарил мне перед моим отъездом в Россию, потому что она мне очень понравилась. Я велела ей сказать, что она вольна ее взять, но что, право, я ее очень люблю, потому что дядя мне ее подарил, видя, что она мне нравится. Окружавшие меня, видя, что я отдаю материю скрепя сердце, и ввиду того, что я так долго лежу в постели, находясь между жизнью и смертью, и что мне стало лучше всего дня два, стали между собою говорить, что весьма неразумно со стороны матери причинять умирающему ребенку малейшее неудовольствие и что вместо желания отобрать эту материю она лучше бы сделала, не упоминая о ней вовсе.

Пошли рассказать это императрице, которая немедленно прислала мне несколько кусков богатых и роскошных материй и, между прочим, одну голубую с серебром; это повредило матери в глазах императрицы: ее обвинили в том, что у нее вовсе нет нежности ко мне, ни бережности. Я привыкла во время болезни лежать с закрытыми глазами; думали, что я сплю, и тогда графиня Румянцева и находившиеся при мне женщины говорили между собой о том, что у них было на душе, и таким образом я узнавала массу вещей.

Когда мне стало лучше, великий князь стал приходить проводить вечера в комнате матери, которая была также и моею. Он и все, казалось, следили с живейшим участием за моим состоянием. Императрица часто проливала об этом слезы.

Наконец, 21 апреля 1744 года, в день моего рождения, когда мне пошел пятнадцатый год, я была в состоянии появиться в обществе, в первый раз после этой ужасной болезни. Я думаю, что не слишком-то довольны были моим видом: я похудела, как скелет, выросла, но лицо и черты мои удлинились; волосы у меня

падали, и я была бледна смертельно. Я сама находила, что страшна, как пугало, и не могла узнать себя. Императрица прислала мне в этот день банку румян и приказала нарумяниться.

С наступлением весны и хорошей погоды великий князь перестал ежедневно посещать нас; он предпочитал гулять и стрелять в окрестностях Москвы. Иногда, однако, он приходил к нам обедать или ужинать, и тогда снова продолжались его ребяческие откровенности со мною, между тем как его приближенные беседовали с матерью, у которой бывало много народу и шли всевозможные пересуды, которые не нравились тем, кто в них не участвовал, и, между прочим, графу Бестужеву, коего враги все собирались у нас; в числе их был маркиз де ла Шетарди, который еще не воспользовался ни одним полномочием французского двора, но имел свои верительные посольские грамоты в кармане.

В мае месяце императрица снова уехала в Троицкий монастырь, куда мы с великим князем и матерью за ней последовали. Императрица стала с некоторых пор очень холодно обращаться с матерью; в Троицком монастыре выяснилась причина этого. Как-то после обеда, когда великий князь был у нас в комнате, императрица вошла внезапно и велела матери идти за ней в другую комнату. Граф Лесток тоже вошел туда; мы с великим князем сели на окно, выжидая.

Разговор этот продолжался очень долго, и мы видели, как вышел Лесток; проходя, он подошел к великому князю и ко мне – а мы смеялись – и сказал нам: «Этому шумному веселью сейчас конец»; потом, повернувшись ко мне, он сказал: «Вам остается только укладываться, вы тотчас отправитесь, чтобы вернуться к себе домой». Великий князь хотел узнать, как это; он ответил: «Об этом после узнаете», и ушел исполнять поручение, которое было на него возложено и которого я не знаю. Великому князю и мне он предоставил размыслить над тем, что он нам только что сказал; первый рассуждал вслух, я – про себя. Он сказал: «Но если ваша мать и виновата, то вы не виновны», я ему ответила: «Долг мой – следовать за матерью и делать то, что она прикажет».

Я увидела ясно, что он покинул бы меня без сожаленья; что меня касается, то, ввиду его настроения, он был для меня почти безразличен, но не безразлична была для меня русская корона. Наконец дверь спальной отворилась, и императрица вышла оттуда с лицом очень красным и с видом разгневанным, а мать шла за нею с красными глазами и в слезах. Так как мы спешили спуститься с окна, на которое влезли и которое было довольно высоко, то у императрицы это вызвало улыбку, и она поцеловала нас обоих и ушла.

Когда она вышла, мы узнали приблизительно, в чем было дело. Маркиз де ла Шетарди, который прежде, или, вернее сказать, в первое свое путешествие, или миссию в Россию, пользовался большою милостью и доверием императрицы, в этот второй приезд, или миссию, очень обманулся во всех своих надеждах. Разговоры его были скромнее, чем письма; эти последние были полны самой едкой желчи; их вскрыли и разобрали шифр; в них нашли подробности его бесед с матерью и многими другими лицами о современных делах, разговоры насчет императрицы заключали выражения малоосторожные.

Граф Бестужев не преминул вручить их императрице, и так как маркиз де ла Шетарди не объявил еще ни одного из своих полномочий, то дан был приказ выслать его из империи; у него отняли орден Св. Андрея и портрет императрицы, но оставили все другие подарки из брильянтов, какие он имел от этой государыни. Не знаю, удалось ли матери оправдаться в глазах императрицы, но, как бы то ни было, мы не уехали; с матерью, однако, продолжали обращаться очень сдержанно и холодно. Не знаю, что говорилось между нею и де ла Шетарди, но знаю, что однажды он обратился ко мне и поздравил, что я причесана en Moyse; я ему сказала, что в угоду императрице буду причесываться на все фасоны, какие могут ей понравиться; когда он услышал мой ответ, он сделал пируэт налево, ушел в другую сторону и больше ко мне не обращался.

Вернувшись с великим князем в Москву, мы с матерью стали жить более замкнуто; у нас бывало меньше народу и меня готовили к исповеданию веры. Двадцать восьмого июня был назначен для этой церемонии и следующий день, Петров день, – для моего обручения с великим князем. Помню, что гофмаршал Брюммер обращался ко мне в это время несколько раз, жалуясь на своего воспитанника, и хотел воспользоваться мною, чтобы исправить и образумить своего великого князя; но я сказала ему, что это для меня невозможно и что я этим только стану ему столь же ненавистна, как уже были ненавистны все его приближенные.

В это время мать очень сблизилась с принцем и принцессой Гессенскими и еще больше с братом последней, камергером Бецким[28]. Эта связь не нравилась графине Румянцевой, гофмаршалу Брюммеру и всем остальным; в то время как мать была с ними в своей комнате, мы с великим князем возились в передней, и она была в полном нашем распоряжении; у нас обоих не было недостатка в ребяческой живости.

В июле месяце императрица праздновала в Москве мир со Швецией, и по случаю этого праздника она составила мне двор, как обрученной русской великой княжне, и тотчас после этого

праздника императрица отправила нас в Киев. Она сама отправилась через несколько дней после нас. Мы ехали понемногу за день: мать, я, графиня Румянцева и одна из фрейлин матери – в одной карете; великий князь, Брюммер, Бергхольц и Дукер – в другой. Как-то днем великий князь, скучавший со своими педагогами, захотел ехать с матерью и со мной; с тех пор как он это сделал, он не захотел больше выходить из нашей кареты. Тогда мать, которой скучно было ехать с ним и со мною целые дни, придумала увеличить компанию. Она сообщила свою мысль молодым людям из нашей свиты, между которыми находились князь Голицын[29], впоследствии фельдмаршал, и граф Захар Чернышев [30], взяли одну из повозок с нашими постелями; приладили отовсюду кругом скамейки, и на следующий же день мать, великий князь и я, князь Голицын, граф Чернышев и еще одна или две дамы помоложе из свиты поместились в ней, и таким образом мы совершили остальную часть поездки очень весело, насколько это касалось нашей повозки; но все, что не имело входа туда, восстало против такой затеи, которая особенно не нравилась обер-гофмаршалу Брюммеру, обер-камергеру Бергхольцу, графине Румянцевой, фрейлине матери и также всей остальной свите, ибо они никогда туда не допускались, и, между тем как мы смеялись дорогой, они бранились и скучали. При таком положении вещей мы прибыли через три недели в Козелец, где еще три недели ждали императрицу, коей поездка замедлилась дорогой вследствие некоторых приключений. Мы узнали в Козельце, что с дороги было сослано несколько лиц из свиты императрицы и что она была в очень дурном расположении духа.

Наконец в половине августа она прибыла в Козелец; мы еще оставались с ней там до конца августа. Тут вели с утра до вечера крупную игру в фараон в большой зале, посередине дома; в остальных помещениях всем приходилось очень тесно: мы с матерью спали в одной общей комнате, графиня Румянцева и фрейлина матери – в передней, и так далее. Однажды великий князь пришел в комнату матери и в мою также, в то время как мать писала, а возле нее стояла открытая шкатулка; он захотел в ней порыться из любопытства; мать сказала, чтобы он не трогал, и он действительно стал прыгать по комнате в другой стороне, но, прыгая то туда, то сюда, чтобы насмешить меня, он задел за крышку открытой шкатулки и уронил ее; мать тогда рассердилась, и они стали крупно браниться; мать упрекала его за то, что он нарочно опрокинул шкатулку, а он жаловался на несправедливость, и оба они обращались ко мне, требуя моего подтверждения; зная нрав матери, я боялась получить пощечины,

если не соглашусь с ней, и, не желая ни лгать, ни обидеть великого князя, находилась между двух огней; тем не менее я сказала матери, что не думала, чтобы великий князь сделал это нарочно, но что когда он прыгал, то задел платьем крышку шкатулки, которая стояла на очень маленьком табурете.

Тогда мать набросилась на меня, ибо, когда она бывала в гневе, ей нужно было кого-нибудь бранить; я замолчала и заплакала; великий князь, видя, что весь гнев моей матери обрушился на меня за то, что я свидетельствовала в его пользу, и, так как я плакала, стал обвинять мать в несправедливости и назвал ее гнев бешенством, а она ему сказала, что он невоспитанный мальчишка; одним словом, трудно, не доводя, однако, ссоры до драки, зайти в ней дальше, чем они оба это сделали. С тех пор великий князь невзлюбил мать и не мог никогда забыть этой ссоры; мать тоже не могла этого ему простить; и их обхождение друг с другом стало принужденным, без взаимного доверия, и легко переходило в натянутые отношения. Оба они не скрывались от меня; сколько я ни старалась смягчить их обоих, мне это удавалось только на короткий срок; они оба всегда были готовы пустить колкость, чтобы язвить друг друга; мое положение день ото дня становилось щекотливее.

Я старалась повиноваться одному и угождать другому, и, действительно, великий князь был со мною тогда откровеннее, чем с кем-либо; он видел, что мать часто наскакивала на меня, когда не могла к нему придраться. Это мне не вредило в его глазах, потому что он убедился, что может быть во мне уверен. Наконец 29 августа мы приехали в Киев. Мы пробыли там десять дней, после чего отправились назад в Москву точно таким же образом, как ехали в Киев.

Когда мы приехали в Москву, вся осень прошла в комедиях, придворных балах и маскарадах. Несмотря на это, заметно было, что императрица была часто сильно не в духе. Однажды, когда мы: моя мать, я и великий князь – были в театре в ложе напротив ложи Ее Императорского Величества, я заметила, что императрица говорит с графом Лестоком с большим жаром и гневом. Когда она кончила, Лесток ее оставил и пришел к нам в ложу; он подошел ко мне и спросил: «Заметили ли вы, как императрица со мною говорила?» Я сказала, что да. «Ну вот, – сказал Лесток, – она очень на вас сердита». – «На меня! За что же?» – был мой ответ. «Потому что у вас, – отвечал он мне, – много долгов; она говорит, что это бездонная бочка и что, когда она была великой княжной, у нее не было больше содержания, нежели у вас, что ей приходилось содержать целый дом и что она

старалась не входить в долги, ибо знала, что никто за нее не заплатит». Он сказал мне все это с сердитым и сухим видом, должно быть, затем, чтоб императрица видела из своей ложи, как он исполняет ее поручение. У меня навернулись на глаза слезы, и я промолчала. Сказав все, он ушел.

Великий князь, который был рядом со мной и приблизительно слышал этот разговор, переспросив у меня то, что не расслышал, дал мне понять игрой лица больше, чем словами, что он разделяет мысли своей тетушки и что он доволен, что меня выбранили. Это был довольно обычный его прием, и в таких случаях он думал угодить императрице, улавливая ее настроение, когда она на кого-нибудь сердилась. Что касается матери, то, когда она узнала, в чем дело, она сказала, что это было следствием тех стараний, которые употребляли, чтобы вырвать меня из ее рук, и что, так как меня так поставили, что я могла действовать, не спрашиваясь ее, она умывает руки в этом деле; итак, оба они стали против меня. Я же тотчас решила привести мои дела в порядок и на следующий же день потребовала счета. Из них я увидела, что должна семнадцать тысяч рублей; перед отъездом из Москвы в Киев императрица прислала мне пятнадцать тысяч рублей и большой сундук простых материй, но я должна была одеваться богато.

В итоге оказалось, что я должна всего две тысячи; это мне показалось невесть какой суммой. Различные причины ввели меня в эти расходы. Во-первых, я приехала в Россию с очень скудным гардеробом. Если у меня бывало три-четыре платья, это уже был предел возможного, и это при дворе, где платья менялись по три раза в день; дюжина рубашек составляла все мое белье; я пользовалась простынями матери. Во-вторых, мне сказали, что в России любят подарки и что щедростью приобретаешь друзей и станешь всем приятной. В-третьих, ко мне приставили самую расточительную женщину в России, графиню Румянцеву, которая всегда была окружена купцами; ежедневно представляла мне массу вещей, которые советовала брать у этих купцов и которые я часто брала лишь затем, чтобы отдать ей, так как ей этого очень хотелось. Великий князь также мне стоил много, потому что был жаден до подарков; дурное настроение матери также легко умиротворялось какой-нибудь вещью, которая ей нравилась, и так как она тогда очень часто сердилась, и особенно на меня, то я не пренебрегала открытым мною способом умиротворения. Дурное расположение духа матери происходило отчасти по той причине, что она вовсе не пользовалась благосклонностью императрицы, которая ее часто оскорбляла и унижала.

Кроме того, мать, за которой я обыкновенно следовала, с

неудовольствием смотрела на то, что я теперь шла пред ней; я этого избегала всюду, где могла, но в публике это было невозможно; вообще, я поставила себе за правило оказывать ей величайшее уважение и наивозможную почтительность, но все это не очень-то мне помогало; у нее всегда и при всяком случае прорывалось неудовольствие на меня, что не служило ей в пользу и не располагало к ней людей. Графиня Румянцева своими рассказами и пересказами и разными сплетнями чрезвычайно содействовала, как и многие другие, тому, чтобы уронить мать во мнении императрицы. Восьмиместная повозка во время поездки в Киев тоже сделала свое дело: все старики были из нее изгнаны, вся молодежь – допущена. Бог знает, какой оборот придали этому распорядку, очень, впрочем, невинному; всего очевиднее было то, что это обидело всех, которые могли быть туда допущены по своему положению и которые увидали, что им предпочли тех, кто был забавнее.

В сущности, вся эта досада матери пошла оттого, что не взяли с собой во время киевской поездки ни Бецкого, к которому она прониклась доверием, ни князя Трубецкого. Конечно, этому посодействовали Брюммер и графиня Румянцева, и восьмиместная повозка, в которую их не допустили, стала причиной затаенной злобы. В ноябре месяце в Москве великий князь схватил корь; так как у меня ее еще не было, то приняли все меры, чтобы мне не заразиться. Окружавшие этого князя не приходили к нам, и все увеселения прекратились. Как только болезнь эта прошла и зима установилась, мы поехали из Москвы в Петербург в санях: мать и я – в одних, великий князь и граф Брюммер – в других. Восемнадцатого декабря, день рождения императрицы, мы отпраздновали в Твери, откуда уехали на следующий день. Приехав на полпути в Хотиловский Яр, вечером, в моей комнате, великий князь почувствовал себя плохо; его отвели к себе и уложили; ночью у него был сильный жар.

На следующий день в полдень мы с матерью пошли к нему в комнату, но едва я переступила порог двери, как граф Брюммер пошел мне навстречу и сказал, чтобы я не шла дальше; я хотела узнать почему; он мне сказал, что у великого князя только что появились оспенные пятна. Так как у меня не было оспы, мать живо увела меня из комнаты, и было решено, что мы с матерью уедем в тот же день в Петербург, оставив великого князя и его приближенных в Хотилове; графиня Румянцева и фрейлина матери остались, чтобы ходить, как говорили, за больным. Послали курьера к императрице, опередившей нас и бывшей уже в Петербурге.

В некотором расстоянии от Новгорода мы встретили

императрицу, которая, узнав, что у великого князя обнаружилась оспа, возвращалась из Петербурга к нему в Хотилово, где и оставалась, пока продолжалась его болезнь. Как только императрица нас увидала, хотя это было ночью, она велела остановить свои сани и наши и спросила о здоровье великого князя. Мать сказала ей все, что знала, после чего императрица приказала кучеру ехать, а мы продолжали тоже свой путь и прибыли в Новгород к утру.

Было воскресенье, я пошла к обедне, после чего мы пообедали, и, когда собирались уезжать, приехали камергер князь Голицын и камер-юнкер граф Захар Чернышев, ехавшие из Москвы в Петербург. Мать рассердилась на Голицына за то, что он ехал с графом Чернышевым, ибо этот последний распустил какую-то ложь. Она утверждала, что его надо избегать как человека опасного, выдумывавшего какие угодно истории. Она дулась на обоих, но так как, благодаря этой досаде, было скучно до тошноты и выбора не было, а они были более образованные и более приятные собеседники, чем другие, то я и не вдавалась в досаду, что навлекло на меня несколько нападок со стороны матери.

Наконец мы приехали в Петербург, где нас поместили в одном из кавалерских придворных домов. Так как дворец не был тогда еще достаточно велик, чтобы даже великий князь мог там помещаться, то ему был отведен также дом, находившийся между дворцом и нашим домом. Мои комнаты были налево от лестницы, комнаты матери – направо; как только мать увидела это устройство, она рассердилась: во-первых, потому, что ей показалось, что мое помещение было лучше расположено, нежели ее; во-вторых, потому, что ее комнаты отделялись от моих общей залой; на самом же деле у каждой из нас было по четыре комнаты: две на улицу, две во двор дома; таким образом, комнаты были одинаковые, обтянутые голубою и красною материей, безо всякой разницы; но вот что еще больше способствовало ее гневу.

Графиня Румянцева еще в Москве принесла мне план этого дома, по приказанию императрицы запрещая мне от ее имени говорить об этой присылке, советуясь со мною, как нас поместить. Выбирать было нечего, так как оба помещения были одинаковы. Я сказала это графине, которая дала мне понять, что императрица предпочитает, чтобы у меня было отдельное помещение, вместо того чтобы жить, как в Москве, в общем помещении с матерью. Такое устройство нравилось мне тоже, потому что я была очень стеснена у матери в комнатах и что буквально интимный кружок, который она себе образовала, нравился мне тем менее, что мне

было ясно как день, что эта компания никому не была по душе. Мать проведала о плане, показанном мне; она стала мне о нем говорить, и я сказала ей сущую правду, как было дело. Она стала бранить меня за то, что я держала это в секрете; я ей сказала, что мне запретили говорить, но она нашла, что это не причина, и, вообще, я с каждым днем видела, что она все больше сердится на меня и что она почти со всеми в ссоре, так что перестала появляться к столу за обедом и ужином и велела подавать к себе в комнаты. Что меня касается, я ходила к ней три-четыре раза в день, остальное время употребляла, чтобы изучать русский язык, играть на клавесине да покупать себе книги, так что в пятнадцать лет я жила одиноко в моей комнате и была довольно прилежна для своего возраста.

К концу нашего пребывания в Москве прибыло шведское посольство, во главе которого был сенатор Цедеркрейц [31]. Немного времени спустя приехал еще граф Гюлленборг [32], чтобы объявить императрице о свадьбе Шведского наследного принца, брата матери, с принцессой Прусской. Мы знали этого графа Гюлленборга; мы видели его в Гамбурге, куда он приезжал со многими другими шведами во время отъезда наследного принца в Швецию. Это был человек очень умный, уже немолодой, и которого мать моя очень ценила; я же была ему некоторым образом обязана, потому что в Гамбурге, видя, что мать мало или вовсе не обращает на меня внимания, он ей сказал, что она не права и что я, конечно, ребенок гораздо старше своих лет.

Прибыв в Петербург, он пришел к нам и сказал, как и в Гамбурге, что у меня философский склад ума. Он спросил, как обстоит дело с моей философией при том вихре, в котором я нахожусь; я рассказала ему, что делаю у себя в комнате. Он мне сказал, что пятнадцатилетний философ не может еще себя знать и что я окружена столькими подводными камнями, что есть все основания бояться, как бы я о них не разбилась, если только душа моя не исключительного закала; что надо ее питать самым лучшим чтением, и для этого он рекомендовал мне «Жизнь знаменитых мужей» Плутарха, «Жизнь Цицерона» и «Причины величия и упадка Римской республики» Монтескье.

Я тотчас же послала за этими книгами, которые с трудом тогда нашли в Петербурге, и сказала ему, что набросаю ему свой портрет так, как себя понимаю, дабы он мог видеть, знаю ли я себя или нет. Действительно, я изложила на письме свой портрет, который озаглавила: «Портрет философа в пятнадцать лет», и отдала ему. Много лет спустя, и именно в 1758 году, я снова нашла это сочинение и была удивлена глубиною знания самой себя, какое оно заключало. К несчастью, я его сожгла в том же

году, во время несчастной истории графа Бестужева, со всеми другими моими бумагами, боясь сохранить у себя в комнате хоть единую. Граф Гюлленборг возвратил мне через несколько дней мое сочинение; не знаю, снял ли он с него копию. Он сопроводил его дюжиной страниц рассуждений, сделанных обо мне, посредством которых старался укрепить во мне как возвышенность и твердость духа, так и другие качества сердца и ума. Я читала и перечитывала несколько раз его сочинение, я им прониклась и намеревалась серьезно следовать его советам. Я обещала это себе, а раз я себе обещала, не помню случая, чтобы это не исполнила. Потом я возвратила графу Гюлленборгу его сочинение, как он меня об этом просил, и, признаюсь, оно очень послужило к образованию и укреплению склада моего ума и моей души.

В начале февраля императрица вернулась с великим князем из Хотилова. Как только нам сказали, что она приехала, мы отправились к ней навстречу и увидели ее в большой зале, почти впотьмах, между четырьмя и пятью часами вечера; несмотря на это, я чуть не испугалась при виде великого князя, который очень вырос, но лицом был неузнаваем: все черты его лица огрубели, лицо еще все было распухшее, и несомненно было видно, что он останется с очень заметными следами оспы. Так как ему остригли волосы, на нем был огромный парик, который еще больше его уродовал. Он подошел ко мне и спросил, с трудом ли я его узнала. Я пробормотала ему свое приветствие по случаю выздоровления, но в самом деле он стал ужасен.

Девятого февраля минул ровно год с моего приезда к русскому двору. Десятого февраля 1745 г. императрица праздновала день рождения великого князя, ему пошел семнадцатый год. Она обедала одна со мной на троне; великий князь не появлялся в публике ни в этот день, ни еще долго спустя; не спешили показывать его в том виде, в какой привела его оспа.

Императрица меня очень ласкала за этим обедом. Она мне сказала, что русские письма, которые я ей писала в Хотилово, доставили ей большое удовольствие (по правде сказать, они были сочинены Ададуровым, но я их собственноручно переписала) и что она знает, как я стараюсь изучить местный язык. Она стала говорить со мною по-русски и пожелала, чтобы я отвечала ей на этом языке, что я и сделала, и тогда ей угодно было похвалить мое хорошее произношение. Потом она дала мне понять, что я похорошела с моей московской болезни; словом, во время всего обеда она только тем и была занята, что оказывала мне знаки своей доброты и расположения.

Я вернулась домой очень довольная этим обедом и очень

счастливая, и все меня поздравляли. Императрица велела снести к ней мой портрет, начатый художником Караваком [33], и оставила его у себя в комнате; это тот самый, который скульптор Фальконе[34] увез с собою во Францию; я была на нем совсем живая.

Чтобы ходить к обедне или к императрице, мне с матерью приходилось проходить через покои великого князя, который жил рядом с моим помещением; вследствие этого мы часто его видели. Он приходил также по вечерам на несколько минут ко мне, но безо всякой охоты; наоборот, всегда был рад найти какой-нибудь предлог, чтобы отделаться от этого и остаться у себя, среди своих обычных ребяческих забав, о которых я уже говорила. Через несколько времени после приезда императрицы и великого князя в Петербург у матери случилось большое огорчение, которого она не могла скрыть. Вот в чем дело. Принц Август, брат матери, написал ей в Киев, чтобы выразить ей свое желание приехать в Россию; мать знала, что эта поездка имела единственную для него цель: получить при совершеннолетии великого князя, которое хотели ускорить, управление Голштинией; иначе говоря, желание отнять опеку у старшего брата, ставшего Шведским наследным принцем, чтобы вручить управление Голштинской страной от имени совершеннолетнего великого князя принцу Августу, младшему брату матери и Шведского наследного принца. Эта интрига была затеяна враждебной Шведскому наследному принцу голштинской партией, в союзе с датчанами, которые не могли простить этому принцу того, что он одержал в Швеции верх над Датским наследным принцем, которого далекарлийцы хотели избрать наследником Шведского престола.

Мать ответила принцу Августу, ее брату, из Козельца, что, вместо того чтобы поддаваться интригам, заставлявшим его действовать против брата, он лучше бы сделал, если бы отправился служить в Голландию, где он находился, и там бы дал себя убить с честью в бою, чем затевать заговор против своего брата и присоединяться к врагам своей сестры в России. Под «врагами» мать подразумевала графа Бестужева, который поддерживал эту интригу, чтобы вредить Брюммеру и всем остальным друзьям Шведского наследного принца, опекуна великого князя по Голштинии. Это письмо было вскрыто и прочтено графом Бестужевым и императрицей, которая вовсе не была довольна матерью и уже очень раздражена против Шведского наследного принца, который под влиянием жены, сестры Прусского короля, дал себя вовлечь французской партии во все ее виды, совершенно противоположные русским. Его

упрекали в неблагодарности и обвиняли мать в недостатке нежности к младшему брату за то, что она ему написала о том, чтобы он дал себя убить, – выражение, которое считали жестоким и бесчеловечным, между тем как мать, в глазах друзей, хвасталась, что употребила выражение твердое и звонкое. Результатом этого всего было то, что, не обращая внимания на намерения матери, или, вернее, чтобы ее уколоть и насолить всей голштино-шведской партии, граф Бестужев получил без ведома матери позволение для принца Августа Голштинского приехать в Петербург.

Мать, узнав, что он в дороге, очень рассердилась, огорчилась и очень дурно его приняла, но он, подстрекаемый Бестужевым, держал свою линию. Убедили императрицу хорошо его принять, что она и сделала для виду; впрочем, это не продолжалось и не могло продолжаться долго, потому что принц Август сам по себе не был человеком порядочным. Одна его внешность уже не располагала к нему: он был мал ростом и очень нескладен, недалек и крайне вспыльчив, к тому же руководим своими приближенными, которые сами ничего собой не представляли. Глупость – раз уже пошло на чистоту – ее брата очень сердила мать; словом, она была почти в отчаянии от его приезда.

Граф Бестужев, овладев посредством приближенных умом этого принца, убил разом несколько зайцев. Он не мог не знать, что великий князь так же ненавидел Брюммера, как и он; принц Август тоже его не любил, потому что он был предан Шведскому принцу. Под предлогом родства и как голштинец этот принц так подобрался к великому князю, разговаривая с ним постоянно о Голштинии и беседуя об его будущем совершеннолетии, что тот стал сам просить тетку и графа Бестужева, чтобы постарались ускорить его совершеннолетие. Для этого нужно было согласие императора Римского, которым тогда был Карл VII[35] из Баварского дома; но тут он умер, и это дело тянулось до избрания Франца I[36].

Так как принц Август был еще довольно плохо принят моею матерью и выражал ей мало почтения, то он тем самым уменьшил и то немногое уважение, которое великий князь еще сохранял к ней; с другой стороны, как принц Август, так и старые камердинеры, любимцы великого князя, боясь, вероятно, моего будущего влияния, часто говорили ему о том, как надо обходиться со своею женою; Румберг, старый шведский драгун, говорил ему, что его жена не смеет дыхнуть при нем, ни вмешиваться в его дела, и что, если она только захочет открыть рот, он приказывает ей замолчать, что он хозяин в доме, и что стыдно мужу позволять жене руководить собою, как дурачком.

Великий князь по природе умел скрывать свои тайны, как пушка свой выстрел, и, когда у него бывало что-нибудь на уме или на сердце, он прежде всего спешил рассказать это тем, с кем привык говорить, не разбирая, кому это говорит, а потому Его Императорское Высочество сам рассказал мне с места все эти разговоры при первом случае, когда меня увидел; он всегда простодушно воображал, что все согласны с его мнением и что нет ничего более естественного. Я отнюдь не доверила этого кому бы то ни было, но не переставала серьезно задумываться над ожидавшей меня судьбой. Я решила очень бережно относиться к доверию великого князя, чтобы он мог, по крайней мере, считать меня надежным для него человеком, которому он мог все говорить, безо всяких для себя последствий; это мне долго удавалось.

Впрочем, я обходилась со всеми как могла лучше и прилагала старание приобретать дружбу или, по крайней мере, уменьшать недружелюбие тех, которых могла только заподозрить в недоброжелательном ко мне отношении; я не выказывала склонности ни к одной из сторон, ни во что не вмешивалась, имела всегда спокойный вид, была очень предупредительна, внимательна и вежлива со всеми, и так как я от природы была очень весела, то замечала с удовольствием, что с каждым днем я все больше приобретала расположение общества, которое считало меня ребенком интересным и не лишенным ума. Я выказывала большое почтение матери, безграничную покорность императрице, отменное уважение великому князю и изыскивала со всем старанием средства приобрести расположение общества.

Императрица в Москве дала мне фрейлин и кавалеров, составлявших мой двор; немного времени спустя после ее приезда в Петербург она дала мне русских горничных, чтобы, как она говорила, облегчить мне усвоение русского языка; этим я была очень довольна, все это были молодые девушки, из которых самой старшей было около двадцати лет. Все эти девушки были очень веселые, так что с этой минуты я то и дело пела, танцевала и резвилась в моей комнате с минуты пробуждения и до самого сна. Вечером, после ужина, я впускала к себе своих трех фрейлин: двух княжон Гагариных[37] и девицу Кошелеву [38], – и мы играли в жмурки и в разные другие соответствующие нашему возрасту игры.

Все эти девушки смертельно боялись графини Румянцевой, но так как она играла в карты с утра до вечера в передней или у себя, вставая со стула только за своею надобностью, то она редко входила ко мне. Среди всех наших забав мне вздумалось распределить уход за моими вещами между моими женщинами:

я оставила мои деньги, расход и белье на руках девицы Шенк[39], горничной, привезенной из Германии. Это была глупая и ворчливая старая дева, которой очень не нравилась наша веселость; кроме того, она ревновала меня ко всем своим молодым товаркам, которым приходилось разделять ее обязанности и мою привязанность.

Я отдала ключи от моих брильянтов Марии Петровне Жуковой[40]; эта последняя, будучи умнее, веселее и откровеннее остальных, начинала уже входить ко мне в доверие. Платья я поручила моему камердинеру Тимофею Евреинову; кружева – девице Балк[41], которая потом вышла за поэта Сумарокова[42]. Ленты мои были сданы девице Скороходовой-старшей, вышедшей потом замуж за Аристарха Кашкина[43]; младшая ее сестра, Анна, ничего не получила, потому что ей было всего лет тринадцать или четырнадцать. На другой день после установления этого чудного порядка, при котором я проявила мою полную власть в своей комнате, не испрашивая совета ни единой души, вечером было представление; чтобы туда пойти, надо было проходить через покои матери.

Императрица, великий князь и весь двор пришли туда; в манеже, служившем во времена императрицы Анны для герцога Курляндского[44], покои которого я занимала, был устроен маленький театр. После представления, когда императрица вернулась к себе, графиня Румянцева пришла в мою комнату и сказала, что императрица не одобряет того, что я распределила уход за моими вещами между моими женщинами, и что ей приказано отнять ключи от моих брильянтов из рук Жуковой и отдать Шенк, что она и сделала в моем присутствии, после чего ушла и оставила нас, Жукову и меня, с немного вытянутыми лицами, а Шенк – торжествующею от доверия, оказанного ей императрицею. Шенк стала принимать со мной вызывающий вид, что делало ее еще глупее и менее приятной, чем когда-либо.

На первой неделе Великого поста у меня была очень странная сцена с великим князем. Утром, когда я была в своей комнате со своими женщинами, которые все были очень набожны, и слушала утреню, которую служили у меня в передней, ко мне явилось посольство от великого князя; он прислал мне своего карлу с поручением спросить у меня, как мое здоровье, и сказать, что ввиду Поста он не придет в этот день ко мне.

Карла застал нас всех слушающими молитвы и точно исполняющими предписания Поста, по нашему обряду. Я ответила великому князю через карлу обычным приветствием, и он ушел. Карла, вернувшись в комнату своего хозяина, – потому ли, что он действительно проникся уважением к тому, что он

видел, или потому, что он хотел посоветовать своему дорогому владыке и хозяину, который был менее всего набожен, делать то же, или просто по легкомыслию, – стал расхваливать набожность, царившую у меня в комнатах, и этим вызвал в нем дурное против меня расположение духа.

В первый раз, как я увидела великого князя, он начал с того, что надулся на меня; когда я спросила, какая тому причина, он стал очень меня бранить за излишнюю набожность, в которую, по его мнению, я впала. Я спросила, кто это ему сказал. Тогда он мне назвал своего карлу как свидетеля-очевидца. Я сказала ему, что не делала больше того, что требовалось и чему все подчинялись и от чего нельзя было уклониться без скандала; но он был противного мнения. Этот спор кончился, как и большинство споров кончаются, то есть тем, что каждый остался при своем мнении, и Его Императорское Высочество, не имея за обедней никого другого, с кем бы поговорить, кроме меня, понемногу перестал на меня дуться.

Два дня спустя случилась другая тревога. Утром, в то время как у меня служили заутреню, девица Шенк, растерянная, вошла ко мне и сказала, что с матерью нехорошо, что она в обмороке; я тотчас же побежала туда и нашла ее лежащей на полу, на матраце, но уже очнувшейся. Я позволила себе спросить, что с нею; она мне сказала, что хотела пустить себе кровь, но что хирург был настолько неловок, что промахнулся четыре раза и на обеих руках, и на обеих ногах, и что она упала в обморок. Я знала, что она, впрочем, боится кровопускания, но я не знала, что она имела намерение пустить себе кровь, ни того даже, что это ей было нужно; однако она стала меня упрекать, что я не принимаю участия в ее состоянии, и наговорила мне кучу неприятных вещей по этому поводу. Я извинялась, как могла, сознаваясь в своем неведении, но, видя, что она очень сердится, я замолчала и старалась удержать слезы и ушла только тогда, когда она мне это приказала с явной досадой.

Когда я вернулась в слезах к себе в комнату, женщины мои хотели узнать тому причину, которую я им попросту и объяснила. Я ходила несколько раз в день в покои матери и оставалась там сколько нужно, чтобы не быть ей в тягость; в отношении к ней это было весьма существенно, и к этому я так привыкла, что нет ничего, чего бы я так избегала в моей жизни, как быть в тягость, и всегда удалялась в ту минуту, когда у меня в уме зарождалось подозрение, что я могу быть в тягость и, следовательно, нагонять тоску. Но знаю по опыту, что не все держатся этого правила, потому что мое терпение часто подвергали испытанию те, кто не умеет уйти прежде, чем сделаться в тягость или нагнать тоску.

Потом мать испытала очень существенное огорчение. Она получила известие в минуту, когда всего менее его ожидала, что ее дочь, моя младшая сестра Елисавета, умерла внезапно, когда ей было года три-четыре. Она этим была очень опечалена, я тоже ее оплакивала.

Несколько дней спустя, в одно прекрасное утро, императрица вошла ко мне в комнату. Она послала за матерью и вошла с нею в мою уборную, где они обе наедине имели длинный разговор, после которого они возвратились в мою спальню, и я увидела, что у матери глаза очень красные и в слезах вследствие разговора. Я поняла, что у них был поднят вопрос о последовавшей кончине Карла VII, императора из Баварского дома, о чем императрица только что получила известие.

Императрица еще не была тогда в союзе, и она колебалась между союзом с королем Прусским и Австрийским домом, из коих каждый имел своих сторонников; императрица имела одинаковые поводы к неудовольствию против Австрийского дома и против Франции, к которой тяготел Прусский король, и если маркиз Ботта, посланник Венского двора, был отослан из России за дурные разговоры насчет императрицы, что в свое время постарались свести на заговор, то и маркиз де ла Шетарди был изгнан на тех же основаниях. Не знаю цели этого разговора; но мать, казалось, возложила на него большие надежды и вышла очень довольная; она вовсе не склонялась тогда на сторону Австрийского дома; что меня касается, во всем этом я была зрителем очень безучастным, очень осторожным и почти равнодушным. После Пасхи, когда весна установилась, я выразила графине Румянцевой желание учиться ездить верхом; она получила на это для меня разрешение императрицы; к концу года у меня начались боли в груди после плеврита, который у меня был по приезде в Москву, и я продолжала быть очень худой; доктора посоветовали мне пить каждое утро молоко с сельтерской водой.

Я взяла мой первый урок верховой езды на даче графини Румянцевой, в казармах Измайловского полка; я уже несколько раз ездила верхом в Москве, но очень плохо. В мае месяце императрица с великим князем переехала на жительство в Летний дворец; нам с матерью отвели для житья каменное строение, находившееся тогда вдоль Фонтанки и прилегавшее к дому Петра I. Мать жила в одной стороне этого здания, я – в другой. Тут кончились частые посещения великого князя. Он велел одному слуге прямо сказать мне, что живет слишком далеко от меня, чтобы часто приходить ко мне; я отлично почувствовала, как он мало занят мною и как мало я любима; мое

самолюбие и тщеславие страдали от этого втайне, но я была слишком горда, чтобы жаловаться; я считала бы себя униженной, если бы мне выразили участие, которое я могла бы принять за жалость. Однако, когда я была одна, я заливалась слезами, отирала их потихоньку и шла потом резвиться с моими женщинами. Мать тоже обращалась со мной очень холодно и церемонно; но я не упускала случая ходить к ней несколько раз в день; в душе я очень тосковала, но остерегалась говорить об этом. Однако Жукова заметила как-то мои слезы и сказала мне об этом; я привела наилучшие основания, не высказывая ей истинных. Я больше чем когда-либо старалась приобрести привязанность всех вообще, от мала до велика; я никем не пренебрегала со своей стороны и поставила себе за правило считать, что мне все нужны, и поступать сообразно с этим, чтобы снискать себе всеобщее благорасположение, в чем и успела.

После нескольких недель пребывания в Летнем дворце, где стали говорить о приготовлениях к моей свадьбе, двор переехал на житье в Петергоф, где он больше был в сборе, нежели в городе. Императрица и великий князь жили наверху в доме, который выстроил Петр I; мы с матерью – внизу, под комнатами великого князя; мы обедали с ним каждый день под парусным навесом на открытой галерее, прилегающей к его комнате; он ужинал у нас. Императрица была часто в отъезде, разъезжая то туда, то сюда по разным принадлежавшим ей дачам.

Мы делали частые прогулки пешком, верхом и в карете. Мне тут стало ясно как день, что все приближенные великого князя, а именно его воспитатели, утратили над ним всякое влияние и авторитет; свои военные игры, которые он раньше скрывал, теперь он производил чуть ли не в их присутствии. Граф Брюммер и старший воспитатель видели его почти только на публике, находясь в его свите. Остальное время он буквально проводил в обществе своих слуг, в ребячествах, неслыханных в его возрасте, так как он играл в куклы. Мать пользовалась отсутствием императрицы, чтобы ездить ужинать на окрестные дачи, а именно к принцу и принцессе Гессен-Гомбургским.

Однажды вечером, когда она отправилась туда верхом, а я сидела после ужина в своей комнате, которая была вровень с садом и одна из дверей которой туда выходила, я соблазнилась чудной погодой и предложила своим женщинам и трем фрейлинам пойти прогуляться по саду. Мне нетрудно было их убедить; нас было восьмеро, мой камердинер – девятый и двое других лакеев, которые следовали за нами; мы прогуляли до полуночи самым невинным образом; когда мать вернулась, Шенк, которая отказалась идти гулять с нами, ворча против

придуманной нами прогулки, поспешила пойти сказать матери, что я пошла гулять, несмотря на ее доводы. Мать легла, и, когда я вернулась со всей своей компанией, Шенк сказала мне с торжествующим видом, что мать два раза посылала узнавать, вернулась ли я, потому что ей надо было со мной поговорить, и так как было очень поздно и она очень устала дожидаться меня, то она легла; я хотела тотчас же бежать к матери, но дверь ее оказалась запертой. Я сказала Шенк, что она могла бы велеть позвать меня; она уверяла, что не нашла бы нас, но все это были только ее штуки, чтобы поссориться со мной, дабы меня побранить; я это отлично чувствовала и легла спать с большим беспокойством относительно завтрашнего дня. Как только я проснулась, я пошла к матери, которую нашла в постели; я хотела подойти, чтоб поцеловать ей руку, но она отдернула ее с большим гневом и страшно стала меня бранить за то, что я посмела гулять вечером без ее позволения.

Я ей сказала, что ее не было дома. Она назвала час неурочным, и, не знаю, чего только она не выдумывала, чтобы огорчить меня, – вероятно, с целью отбить у меня охоту к ночным прогулкам; но что было верного, так это то, что прогулка эта могла быть неосторожностью, но что она была невиннейшей на свете. Что меня больше всего огорчило, так это обвинение в том, что мы поднимались в покои великого князя. Я сказала ей, что это гнусная клевета, на что она так рассердилась, что казалась вне себя. Хоть я и встала на колени, чтобы смягчить ее гнев, но она назвала мою покорность комедией и выгнала меня вон из комнаты. Я вернулась к себе в слезах; в час обеда я поднялась с матерью, все еще очень сердитой, наверх, в покои великого князя, который спросил, что со мною, потому что у меня красные глаза. Я ему правдиво рассказала, что произошло; он взял на этот раз мою сторону и стал обвинять мою мать в капризах и вспышках; я просила его не говорить ей об этом, что он и сделал, и мало-помалу гнев ее прошел, но она со мной все так же холодно обходилась.

Из Петергофа к концу июля мы вернулись в город, где все приготовлялось к празднованию нашей свадьбы. Наконец 21 августа было назначено императрицей для этой церемонии. По мере того как этот день приближался, моя грусть становилась все более и более глубокой, сердце не предвещало мне большого счастья, одно честолюбие меня поддерживало; в глубине души у меня было что-то, что не позволяло мне сомневаться ни минуты в том, что рано или поздно мне самой по себе удастся стать самодержавной русской императрицей.

Свадьба была отпразднована с большой пышностью и

великолепием. Вечером я нашла в своих покоях Крузе, сестру старшей камер-фрау императрицы, которая поместила ее ко мне в качестве старшей камер-фрау. На следующий же день я заметила, что эта женщина приводила в ужас всех остальных моих женщин, потому что, когда я хотела приблизиться к одной из них, чтобы по обыкновению поговорить с ней, она мне сказала: «Бога ради, не подходите ко мне, нам запрещено говорить с вами вполголоса». С другой стороны, мой милый супруг вовсе не занимался мною, но постоянно играл со своими слугами в солдаты, делая им в своей комнате ученья и меняя по двадцати раз на дню свой мундир. Я зевала, скучала, потому что не с кем было говорить или же я была на выходах.

На третий день моей свадьбы, который должен был быть днем отдыха, графиня Румянцева прислала мне сказать, что императрица уволила ее от должности при мне и что она возвратится жить к себе домой с мужем и детьми. Об этом ни я, да и никто другой не очень сожалели, потому что она подавала повод ко многим пересудам. Свадебные торжества продолжались десять дней, по истечении коих мы с великим князем переехали на житье в Летний дворец, где жила императрица, и начали поговаривать об отъезде матери, которую я со своей свадьбы не каждый день видела, но которая очень смягчилась по отношению ко мне в это время.

К концу сентября она уехала, мы с великим князем проводили ее до Красного Села; ее отъездом я очень искренне огорчилась, я много плакала; когда она уехала, мы вернулись в город. Возвратившись в Летний дворец, я велела позвать свою девушку Жукову; мне сказали, что она пошла к своей матери, которая захворала; на следующий день утром тот же вопрос с моей стороны – тот же ответ со стороны моих женщин. Около полудня императрица переехала с большою пышностью из летнего жилища в зимнее; мы последовали за ней в ее покои. Прибыв в свою парадную опочивальню, она там остановилась и после нескольких незначительных слов стала говорить об отъезде моей матери; казалось, ласково сказала мне по этому поводу, чтобы я умерила свое огорчение, но каково было мое изумление, когда она мне сказала громко, в присутствии человек тридцати, что по просьбе моей матери она удалила от меня Жукову, потому что мать боялась, чтобы я не привязалась слишком к особе, которая этого так мало заслуживает, и после этого стала поносить бедную Жукову с заметной злобой.

По правде говоря, я ничего не поняла из этой сцены и не была убеждена в том, что утверждала императрица, но была глубоко огорчена несчастьем Жуковой, удаленной от дворца единственно

за то, что она за свой общительный характер нравилась мне больше, чем другие мои женщины; ибо, говорила я про себя, зачем же ее поместили ко мне, если она не была того достойна; мать не могла ее знать, так как не могла с ней даже говорить, не зная по-русски, а Жукова не знала другого языка. Мать могла только полагаться на вздорные россказни Шенк, у которой даже не было здравого смысла; эта девушка страдает из-за меня, следовательно, не надо покидать ее в ее несчастии, коего единственная причина – моя привязанность к ней. Я никогда не могла выяснить, действительно ли мать просила императрицу удалить от меня эту особу; если это так, то мать предпочла насильственные пути мирным, потому что никогда рта не открывала относительно этой девушки; а между тем одного слова с ее стороны было бы достаточно, чтоб остеречь меня против привязанности, в конце концов, очень невинной; с другой стороны, императрица могла тоже приняться за это дело не столь круто: эта девушка была молода, стоило только подыскать ей подходящую партию, что было бы очень легко, а вместо того поступила, как я только что рассказала.

Когда императрица нас отпустила, мы с великим князем прошли в наши покои. По дороге я увидала, что то, что императрица сказала, расположило ее племянника в пользу того, что только что было сделано; я высказала ему свои возражения по этому поводу и дала почувствовать, что эта девушка несчастна исключительно потому, что предполагали, что я имела к ней пристрастие, и что, так как она страдала ради меня, то я считала себя вправе не покидать ее. Насколько это будет, по крайней мере, от меня зависеть. Действительно, я послала ей тотчас же со своим камердинером денег, но он мне сказал, что она уже уехала со своей матерью в Москву; я приказала послать ей то, что я ей назначила, через ее брата, сержанта гвардии; пришли мне сказать, что этот человек с женою получили приказание также уехать и что его перевели офицером в один из полевых полков.

В настоящее время мне трудно найти всему этому сколько-нибудь уважительную причину, и мне кажется, что это значило зря делать зло из прихоти, без малейшего основания и даже без повода. Но дело на этом не стало: через своего камердинера и через других своих людей я старалась отыскать для Жуковой какую-нибудь приличную партию; мне предложили одного, гвардии сержанта, дворянина, имевшего некоторое состояние, по имени Травин; он поехал в Москву, чтоб на ней жениться, если ей понравится; она приняла его предложение, его сделали поручиком в одном полевом полку; как только императрица это узнала, она сослала их в Астрахань. Этому преследованию еще

труднее найти основания.

В Зимнем дворце мы помещались, великий князь и я, в покоях, которые послужили для моей свадьбы; покои великого князя были отделены от моих громадной лестницей, которая также вела в покои императрицы; чтобы идти к нему, нужно было проходить через крыльцо этой лестницы, что не было очень-то удобно, особенно зимою; однако и он, и я делали этот путь много раз на дню; вечером я ходила играть на бильярде в передней с обер-камергером Бергхольцем, между тем как великий князь резвился в другой комнате со своими кавалерами. Мои партии на бильярде были прерваны удалением Брюммера и Бергхольца, уволенных императрицею от великого князя к концу зимы, которая прошла в маскарадах в главных домах города, кои тогда были очень малы. На них обыкновенно присутствовали весь двор и весь город.

Последний маскарад был дан обер-полицмейстером Татищевым[45] в доме, принадлежавшем императрице и называвшемся Смольным дворцом; середина этого деревянного дома была уничтожена пожаром, оставались одни флигеля, которые были в два этажа; в одном танцевали, но, чтобы идти ужинать, нас заставили пройти, в январе месяце, через двор по снегу; после ужина надо было опять проделать тот же путь. Великий князь, вернувшись домой, лег, но на следующий день проснулся с сильной головной болью, из-за которой не мог встать. Я послала за докторами, которые объявили, что это была жесточайшая горячка; его перенесли с моей постели в мою приемную и, пустив ему кровь, уложили в кровать, которую для этого тут же поставили.

Ему было очень худо; ему не раз пускали кровь; императрица навещала его несколько раз на дню и, видя у меня на глазах слезы, была мне за них признательна. Однажды, когда я читала вечерние молитвы в маленькой молельне, находившейся возле моей уборной, вошла ко мне госпожа Измайлова [46], которую императрица очень любила. Она мне сказала, что императрица, зная, как я опечалена болезнью великого князя, прислала ее сказать мне, чтобы я надеялась на Бога, не огорчалась, и что она ни в коем случае меня не оставит. Измайлова спросила, что я читаю, я ей сказала: вечерние молитвы; она взяла мою книгу и сказала, что я испорчу себе глаза, читая при свечке такой мелкий шрифт.

После этого я попросила ее поблагодарить Ее Императорское Величество за ее милости ко мне, и мы расстались очень дружелюбно; она пошла передать императрице мое поручение, а я

– ложиться спать. На следующий день императрица прислала мне молитвенник, напечатанный крупными буквами, чтобы сберечь мне глаза, как она говорила.

В комнату великого князя, в ту, куда его поместили, хоть и смежную с моей, я входила только тогда, когда не считала себя лишней, ибо я заметила, что ему не слишком-то много дела до того, чтобы я была тут, и что он предпочитал оставаться со своими приближенными, которых я, по правде, тоже не любила; впрочем, я еще не привыкла проводить время совсем одна среди мужчин. Между тем наступил Великий пост, я говела на первой неделе; вообще у меня было тогда расположение к набожности. Я очень хорошо видела, что великий князь меня совсем не любит; через две недели после свадьбы он мне сказал, что влюблен в девицу Карр, фрейлину императрицы, вышедшую потом замуж за одного из князей Голицыных, шталмейстера императрицы. Он сказал графу Дивьеру, своему камергеру, что не было и сравнения между этой девицей и мною. Дивьер утверждал обратное, и он на него рассердился; эта сцена происходила почти в моем присутствии, и я видела эту ссору. Правду сказать, я говорила самой себе, что с этим человеком я непременно буду очень несчастной, если и поддамся чувству любви к нему, за которое так плохо платили, и что будет с чего умереть от ревности безо всякой для кого бы то ни было пользы.

Итак, я старалась из самолюбия заставить себя не ревновать к человеку, который меня не любит, но, чтобы не ревновать его, не было иного средства, как не любить его. Если бы он хотел быть любимым, это было бы для меня нетрудно: я от природы была склонна и привычна исполнять свои обязанности, но для этого мне нужно было бы иметь мужа со здравым смыслом, а у моего этого не было. Я постилась первую неделю Великого поста; императрица велела мне сказать в субботу, что я доставлю ей удовольствие, если буду поститься и вторую неделю; я велела ответить Ее Императорскому Величеству, что прошу ее разрешить мне поститься весь Пост.

Гофмаршал императрицы Сивере, зять Крузе, который передавал эти слова, сказал мне, что императрица получила от этой просьбы истинное удовольствие и что она мне это разрешает.

Когда великий князь узнал, что я все постничаю, он стал меня бранить; я сказала ему, что не могу поступать иначе; когда ему стало лучше, он еще долго разыгрывал больного, чтобы не выходить из комнаты, где ему больше нравилось быть, чем на придворных выходах. Он вышел только в последнюю неделю Поста, когда и говел. После Пасхи он устроил театр марионеток в

своей комнате и приглашал туда гостей и даже дам. Эти спектакли были глупейшею вещью на свете.

В комнате, где находился театр, одна дверь была заколочена, потому что эта дверь выходила в комнату, составлявшую часть покоев императрицы, где был стол с подъемной машиной, который можно было поднимать и опускать, чтобы обедать без прислуги. Однажды великий князь, находясь в своей комнате за приготовлениями к своему так называемому спектаклю, услышал разговор в соседней комнате и, так как он обладал легкомысленной живостью, взял от своего театра плотничий инструмент, которым обыкновенно просверливают дыры в досках, и понаделал дыр в заколоченной двери, так что увидел все, что там происходило, а именно, как обедала императрица, как обедал с нею обер-егермейстер Разумовский в парчовом шлафроке, – он в этот день принимал лекарство, – и еще человек двенадцать из наиболее доверенных императрицы. Его Императорское Высочество, не довольствуясь тем, что сам наслаждается плодом своих искусных трудов, позвал всех, кто был вокруг него, чтобы и им дать насладиться удовольствием посмотреть в дырки, которые он так искусно проделал. Он сделал еще больше: когда он сам и все те, которые были возле него, насытили свои глаза этим нескромным удовольствием, он явился пригласить Крузе, меня и моих женщин зайти к нему, дабы посмотреть нечто, что мы никогда не видели. Он нам не сказал, что это было такое, вероятно, чтобы сделать нам приятный сюрприз. Так как я не так спешила, как ему того хотелось, то он увел Крузе и моих женщин; я пришла последней и увидела их расположившимися у этой двери, где он наставил скамеек, стульев, скамеечек, – для удобства зрителей, как он говорил.

Войдя, я спросила, что это было такое, он побежал ко мне навстречу и сказал мне, в чем дело; меня так испугала и возмутила его дерзость, и я сказала ему, что я не хочу ни смотреть, ни участвовать в таком скандале, который, конечно, причинит ему большие неприятности, если тетка узнает, и что трудно, чтобы она этого не узнала, потому что он посвятил по крайней мере двадцать человек в свой секрет; все, кто соблазнился посмотреть через дверь, видя, что я не хочу делать того же, стали друг за дружкой выходить из комнаты; великому князю самому стало немного неловко от того, что он наделал, и он снова принялся за работу для своего кукольного театра, а я пошла к себе.

До воскресенья мы не слышали никаких разговоров, но в этот день, не знаю, как это случилось, я пришла к обедне позже обыкновенного; вернувшись в свою комнату, я собиралась снять

свое придворное платье, когда увидела, что идет императрица с очень разгневанным видом и немного красная; так как она не была за обедней в придворной церкви, а присутствовала при богослужении в своей малой домашней церкви, то я, как только ее увидела, пошла по обыкновению к ней навстречу, не видав ее еще в этот день, поцеловать ей руку; она меня поцеловала, приказала позвать великого князя, а пока побранила за то, что я опаздываю к обедне и оказываю предпочтение нарядам перед Господом Богом; она прибавила, что во времена императрицы Анны, хоть она и не жила при дворе, но в своем доме, довольно отдаленном от дворца, никогда не нарушала своих обязанностей, что часто для этого вставала при свечах; потом она велела позвать моего камердинера-парикмахера и сказала ему, что если он впредь будет причесывать меня с такою медлительностью, то она его прогонит; когда она с ним покончила, великий князь, который разделся в своей комнате, пришел в шлафроке и с ночным колпаком в руке, с веселым и развязным видом, и подбежал к руке императрицы, которая поцеловала его и начала тем, что спросила, откуда у него хватило смелости сделать то, что он сделал; затем сказала, что она вошла в комнату, где была машина, и увидела дверь, всю просверленную; что все эти дырки были направлены к тому месту, где она сидит обыкновенно; что, верно, делая это, он позабыл все, чем ей обязан; что она не может смотреть на него иначе, как на неблагодарного; что отец ее, Петр I, имел тоже неблагодарного сына; что он наказал его, лишив его наследства; что во времена императрицы Анны она всегда выказывала ей уважение, подобающее венчанной главе и помазаннице Божией; что эта императрица не любила шутить и сажала в крепость тех, кто не оказывал ей уважения; что он мальчишка, которого она сумеет проучить.

Тут он начал сердиться и хотел ей возражать, для чего и пробормотал несколько слов, но она приказала ему молчать и так разъярилась, что не знала уже меры своему гневу, что с ней обыкновенно случалось, когда она сердилась, и наговорила ему обидных и оскорбительных вещей, выказывая ему столько же презрения, сколько гнева. Мы остолбенели и были смущены оба, и, хотя эта сцена не относилась прямо ко мне, у меня слезы выступили на глаза; она заметила это и сказала мне: «То, что я говорю, к вам не относится; я знаю, что вы не принимали участия в том, что он сделал, и что вы не подсматривали и не хотели подсматривать через дверь». Это справедливо выведенное ею заключение успокоило ее немного, и она замолчала; правда, трудно было прибавить еще что-нибудь к тому, что она только что сказала; после чего она нам поклонилась и ушла к себе очень

раскрасневшаяся и со сверкающими глазами.

Великий князь пошел к себе, а я стала молча снимать платье, раздумывая обо всем, только что слышанном. Когда я разделась, великий князь пришел ко мне и сказал тоном, наполовину смущенным, наполовину насмешливым: «Она была, точно фурия, и не знала, что говорит». Я ему ответила: «Она была в чрезвычайном гневе». Мы перебрали с ним только что слышанное, затем отобедали лишь вдвоем у меня в комнате.

Когда великий князь ушел к себе, Крузе вошла ко мне и сказала: «Надо признаться, что императрица поступила сегодня как истинная мать!» Я видела, что ей хотелось вызвать меня на разговор, и потому молчала. Она сказала: «Мать сердится и бранит детей, а потом это проходит; вы должны были бы сказать ей оба: «Виноваты, матушка», и вы бы ее обезоружили». Я ей сказала, что была смущена и изумлена гневом Ее Величества, и что все, что я могла сделать в ту минуту, так это лишь слушать и молчать. Она ушла от меня, вероятно, чтобы сделать свой доклад. Что касается меня, то слова «виноваты, матушка» как средство, чтобы обезоружить гнев императрицы, запали мне в голову, и с тех пор я пользовалась ими при случае с успехом, как будет видно дальше.

За несколько времени перед тем, как императрица отставила графа Брюммера и обер-камергера Бергхольца от занимаемых ими при великом князе должностей, однажды, когда я вышла утром ранее обыкновенного в переднюю, первый из них, находясь там как бы наедине, воспользовался случаем поговорить со мною и стал просить и заклинать, чтобы я ходила каждое утро в уборную императрицы, так как мать моя перед отъездом добыла на то для меня разрешение – преимущество, которым я очень мало пользовалась до сих пор, потому что это преимущество мне надоедало; я ходила туда раз или два, заставала там женщин императрицы, которые мало-помалу удалялись, так что я оставалась одна; я ему сказала это; он мне ответил, что это ничего не значит, что надо продолжать.

По правде говоря, я ничего не понимала в этой настойчивости царедворца; это могло служить для его целей, но ни к чему не могло послужить мне, если бы я торчала в уборной императрицы, да еще была бы ей в тягость. Я высказала графу Брюммеру свое отвращение, но он сделал все, что мог, чтобы меня убедить, но безуспешно. Мне больше нравилось быть в своих покоях, и особенно, когда Крузе там не было. Я открыла в ней нынешней зимою очень определенную слабость к вину, и так как она вскоре выдала свою дочь за гофмаршала Сиверса, то или она постоянно уходила, или мои люди находили способы ее

напаивать, затем она шла спать, что освобождало мою комнату от этого сварливого Аргуса [47].

Так как граф Брюммер и обер-камергер Бергхольц были отставлены от должностей при великом князе, то императрица назначила состоять при великом князе генерала Василия Репнина[48]. Это назначение было, конечно, наилучшим, что только могла сделать императрица, потому что князь Репнин не только был человек порядочный и честный, но также очень умный и благородный, с душой чистой и искренней. Лично в глубине души я могла быть лишь очень довольна обхождением князя Репнина; что касается графа Брюммера, то я о нем не очень-то жалела; он мне надоедал своими вечными разговорами о политике, которые отзывались интригой, тогда как открытый и военный характер князя Репнина внушал мне доверие.

Что касается великого князя, то он был в восторге, что отделался от своих педагогов, которых ненавидел; однако последние, покидая его, порядком напугали его тем, что оставляли его на произвол интриг графа Бестужева, который был главной пружиной всех тех перемен, какие под благовидным предлогом совершеннолетия Его Императорского Высочества производились в его Голштинском герцогстве; принц Август, мой дядя, все еще был в Петербурге и подкарауливал управление наследственным владением великого князя.

В мае месяце мы перешли в Летний дворец; в конце мая императрица приставила ко мне главной надзирательницей Чоглокову[49], одну из своих статс-дам и свою родственницу; это меня как громом поразило; эта дама была совершенно преданна графу Бестужеву, очень грубая, злая, капризная и очень корыстная. Ее муж[50], камергер императрицы, уехал тогда, не знаю с каким-то поручением, в Вену; я много плакала, видя, как она переезжает, и также во весь остальной день; на следующий день мне должны были пустить кровь. Утром, до кровопускания, императрица вошла в мою комнату, и, видя, что у меня красные глаза, она мне сказала, что молодые жены, которые не любят своих мужей, всегда плачут, что мать моя, однако, уверяла ее, что мне не был противен брак с великим князем, что, впрочем, она меня к тому бы не принуждала, а раз я замужем, то не надо больше плакать.

Я вспомнила наставление Крузе и сказала: «Виновата, матушка», и она успокоилась. Тем временем пришел великий князь, с которым она на этот раз ласково поздоровалась, затем она ушла. Мне пустили кровь, в чем я в ту пору очень нуждалась. На следующий день великий князь отвел меня днем в сторону, и я ясно увидала, что ему дали понять, что Чоглокова приставлена ко

мне, потому что я не люблю его, великого князя; но я не понимаю, как могли думать об усилении моей нежности к нему тем, что дали мне эту женщину; я ему это и сказала.

Чтобы служить мне Аргусом, – это другое дело; впрочем, для этой цели надо было бы выбрать менее глупую, и, конечно, для этой должности недостаточно было быть злой и неблагожелательной; Чоглокову считали чрезвычайно добродетельной, потому что тогда она любила своего мужа до обожания; она вышла за него замуж по любви; такой прекрасный пример, какой мне выставляли напоказ, должен был, вероятно, убедить меня делать то же самое. Увидим, как это удалось. Вот что, по-видимому, ускорило это событие, я говорю «ускорило», потому что, думаю, с самого начала граф Бестужев имел всегда в виду окружать нас своими приверженцами; он очень бы хотел сделать то же и с приближенными Ее Императорского Величества, но там дело было труднее.

Великий князь имел при моем приезде в Москву в своих покоях троих лакеев, по имени Чернышевых[51], все трое были сыновьями гренадеров лейб-компании императрицы; эти последние были поручиками, в чине, который императрица пожаловала им в награду за то, что они возвели ее на престол. Старший из Чернышевых приходился двоюродным братом остальным двоим, которые были братьями родными.

Великий князь очень любил их всех троих; они были самые близкие ему люди, и действительно они были очень услужливы, все трое рослые и стройные, особенно старший. Великий князь пользовался последним для всех своих поручений и несколько раз в день посылал его ко мне. Ему же он доверялся, когда не хотелось идти ко мне. Этот человек был очень дружен и близок с моим камердинером Евреиновым, и часто я знала этим путем, что иначе оставалось бы мне неизвестным. Оба были мне действительно преданы сердцем и душою, и часто я добывала через них сведения, которые мне было бы трудно приобрести иначе, о множестве вещей. Не знаю, по какому поводу старший Чернышев сказал однажды великому князю, говоря обо мне: «Ведь она не моя невеста, а ваша». Эти слова насмешили великого князя, который мне это рассказал, и с той минуты Его Императорскому Высочеству угодно было называть меня «его невеста», а Андрея Чернышева, говоря о нем со мною, он называл «ваш жених».

Андрей Чернышев, чтобы прекратить эти шутки, предложил Его Императорскому Высочеству после нашей свадьбы называть меня «матушка», а я стала называть его «сынок», но так как и между мною, и великим князем постоянно шла речь об этом

«сынке», ибо великий князь дорожил им как зеницей ока, и так как и я тоже очень его любила, то мои люди забеспокоились: одни из ревности, другие – из страха за последствия, которые могут из этого выйти и для них, и для нас.

Однажды, когда был маскарад при дворе, а я вошла к себе, чтобы переодеться, мой камердинер Тимофей Евреинов отозвал меня и сказал, что он и все мои люди испуганы опасностью, к которой я, видимо для них, стремлюсь. Я его спросила, что бы это могло быть; он мне сказал: «Вы только и говорите про Андрея Чернышева и заняты им». – «Ну так что же, – сказала я в невинности сердца, – какая в том беда; это мой сынок; великий князь любит его так же, и больше, чем я, и он к нам привязан и нам верен». – «Да, – отвечал он мне, – это правда; великий князь может поступать, как ему угодно, но вы не имеете того же права; что вы называете добротой и привязанностью, ибо этот человек вам верен и вам служит, ваши люди называют любовью». Когда он произнес это слово, которое мне и в голову не приходило, я была как громом поражена – и мнением моих людей, которое я считала дерзким, и состоянием, в котором я находилась, сама того не подозревая. Он сказал мне, что посоветовал своему другу Андрею Чернышеву сказаться больным, чтобы прекратить эти разговоры; Чернышев последовал совету Евреинова, и болезнь его продолжалась приблизительно до апреля месяца. Великий князь очень был занят болезнью этого человека и продолжал говорить мне о нем, не зная ничего об этом.

В Летнем дворце Андрей Чернышев снова появился; я не могла больше видеть его без смущения. Между тем императрица нашла нужным по-новому распределить камер-лакеев: они служили во всех комнатах по очереди, и, следовательно, Андрей Чернышев, как и другие.

Великий князь часто тогда давал концерты днем; в них он сам играл на скрипке. На одном из этих концертов, на которых я обыкновенно скучала, я пошла к себе в комнату; эта комната выходила в большую залу Летнего дворца, в которой тогда раскрашивали потолок и которая была вся в лесах. Императрица была в отсутствии, Крузе уехала к дочери, к Сивере; я не нашла ни души в моей комнате. От скуки я открыла дверь залы и увидала на противоположном конце Андрея Чернышева; я сделала ему знак, чтобы он подошел; он приблизился к двери; по правде говоря, с большим страхом, я его спросила:

«Скоро ли вернется императрица?» Он мне сказал: «Я не могу с вами говорить, слишком шумят в зале, впустите меня к себе в комнату». Я ему ответила: «Этого-то я и не сделаю». Он был тогда снаружи перед дверью, а я за дверью, держа ее полуоткрытой и

так с ним разговаривая. Невольное движение заставило меня повернуть голову в сторону, противоположную двери, возле которой я стояла. Я увидела позади себя, у другой двери моей уборной, камергера графа Дивьера, который мне сказал: «Великий князь просит Ваше Высочество». Я закрыла дверь залы и вернулась с Дивьером в комнату, где у великого князя шел концерт. Я узнала впоследствии, что граф Дивьер был своего рода доносчиком, на которого была возложена эта обязанность, как на многих вокруг нас.

На следующий день затем, в воскресенье, мы с великим князем узнали, что все трое Чернышевых были сделаны поручиками в полках, находившихся возле Оренбурга, а днем Чоглокова была приставлена ко мне.

Немного дней спустя нам было приказано готовиться сопутствовать императрице в Ревель. В то же время Чоглокова пришла мне сказать от имени Ее Императорского Величества, что она меня освобождает впредь от посещения ее уборной и что когда мне нужно будет сказать ей что-нибудь, то делать это не иначе, как через Чоглокову. В сущности, я была в восторге от этого приказания, которое освобождало меня от необходимости торчать среди женщин императрицы; впрочем, я не часто туда ходила и видела Ее Величество очень редко: с тех пор как я имела к ней вход, она показывалась мне всего три-четыре раза, и обыкновенно все женщины понемногу, одна за другой, выходили из комнаты, когда я туда входила; чтобы не быть там одной, я тоже недолго оставалась. В июне императрица поехала в Ревель, и мы ей сопутствовали.

Мы с великим князем ехали в четырехместной карете, принц Август и Чоглокова ехали вместе с нами. Способ нашего путешествия был и неприятен, и неудобен. Почтовые дома, или станции, занимала императрица; что же нас касается, то давали нам палатки или помещали нас в службах. Помню, что однажды, во время этого путешествия, я одевалась возле печи, где только что испекли хлебы, и что другой раз – в палатке, где поставили мою кровать, было на полфута воды, когда я туда вошла.

Кроме того, так как у императрицы не было никакого определенного часа ни для еды, ни для отдыха, то все мы были измучены, как господа, так и слуги. Наконец после десяти или двенадцати дней езды мы приехали в имение графа Стенбока, в сорока верстах от Ревеля, откуда императрица выехала с большою торжественностью, желая прибыть днем в Екатериненталь[52]; но не знаю, как случилось, что ехали до половины второго ночи. Во время всего путешествия из Петербурга в Ревель Чоглокова надоедала нам и была отчаянием нашей кареты; на малейший

пустяк, какой высказывали, она возражала словами: «Такой разговор не был бы угоден Ее Величеству» или: «Это не было бы одобрено императрицей», иногда и самым невинным и безразличным вещам она навязывала подобный этикет. Что меня касается, я покорилась этому и всю дорогу лишь спала в карете.

На следующий день нашего приезда в Екатериненталь возобновился наш обычный образ жизни; это значит, что с утра до вечера и до очень поздней ночи играли в довольно крупную игру в передней императрицы, в той зале, которая разделяла дом и оба этажа этого здания пополам. Чоглокова была игроком – она посоветовала мне играть, подобно всем, в фараон; обыкновенно все любимицы императрицы находились там, когда не были в покоях Ее Императорского Величества или, вернее, в ее ставке, потому что она велела разбить большую и великолепную ставку рядом со своими комнатами, которые были на первом этаже и были очень маленькие, как их обыкновенно строил Петр I; он велел выстроить этот дом и развести сад. Князь и княгиня Репнины, которые участвовали в поездке и уже знали заносчивое и лишенное здравого смысла поведение Чоглоковой в дороге, посоветовали мне поговорить об этом с графиней Шуваловой и Измайловой, самыми любимыми дамами императрицы. Эти дамы не любили Чоглокову, и они уже были осведомлены о том, что происходило; маленькая графиня Шувалова, которая была воплощением болтливости, не стала ждать, когда я с ней об этом заговорю, но, сидя за игрою рядом со мной, сама начала этот разговор, и так как у нее был очень насмешливый тон, то она выставила все поведение Чоглоковой в столь смешном виде, что та стала всеобщим посмешищем. Она сделала больше того: рассказала императрице все, что было; вероятно, Чоглоковой досталось, потому что она значительно понизила со мною тон.

По правде сказать, я очень в этом нуждалась, так как начинала чувствовать большое расположение к грусти. Я чувствовала себя совершенно одинокой. Великий князь увлекся ненадолго в Ревеле некоей Цедерспарр; он не преминул, по принятому им обычаю, поверить мне это тотчас же. Я чувствовала частые боли в груди, и у меня в Екатеринентале однажды пошла кровь горлом, вследствие чего мне сделали кровопускание.

Днем Чоглокова вошла ко мне в комнату и застала меня в слезах; обходясь гораздо мягче, она спросила меня, что со мною, и предложила, от имени императрицы, чтобы развеять мою ипохондрию, как она говорила, пройтись по саду; в этот день великий князь был на охоте с обер-егермейстером графом Разумовским. Кроме того, она мне передала от Ее Императорского Величества три тысячи рублей для игры в

фараон. Дамы заметили, что мне не хватало денег, и сказали это императрице. Я попросила Чоглокову поблагодарить Ее Императорское Величество за ее милость ко мне и пошла с Чоглоковой прогуляться по саду, чтобы подышать воздухом. Через несколько дней после нашего приезда в Екатериненталь приехал великий канцлер граф Бестужев в сопровождении имперского посла барона Бретлаха[53], и мы узнали из его приветствия, что оба имперских двора вступили в союз, заключив договор. Затем императрица отправилась смотреть маневры флота, но, кроме пушечного дыма, мы ничего не видали; день был чрезвычайно жаркий и тишина полная.

По возвращении с этих маневров был бал в палатках императрицы, раскинутых на террасе, ужин был подан на открытом воздухе вокруг бассейна, где должен был быть пущен фонтан, но, как только императрица села за стол, полил дождь, промочивший всю компанию, которая бросилась, как попало, в дом и палатки. Так кончился этот праздник.

Через несколько дней императрица поехала в Рогервик[54]. Флот снова там маневрировал, и опять мы видели только один дым. От этого путешествия мы все необычайно натрудили себе ноги. Почва этого местечка каменистая, покрытая густым слоем мелкого булыжника такого свойства, что если постоишь немного на одном месте, то ноги начинают увязать, и мелкий булыжник покроет ноги. Мы стояли здесь лагерем и должны были ходить из палатки в палатку и к себе по такому грунту в течение нескольких дней; у меня ноги болели потом целых четыре месяца. Каторжники, работавшие на моле, носили деревянные башмаки, и те не выдерживали больше восьмидесяти дней. Имперский посол последовал за императрицей в этот порт Рогервик; он обедал и ужинал с Ее Императорским Величеством. На полпути между Рогервиком и Ревелем, во время ужина, к императрице привели старуху ста тридцати лет, которая походила на ходячий скелет. Императрица велела дать ей кушанья со своего стола и денег, и мы продолжали наш путь. По возвращении в Екатериненталь Чоглокова имела удовольствие встретиться с мужем, вернувшимся из своей командировки в Вену.

Многие придворные экипажи уже направились в Ригу, куда императрица хотела ехать, но, вернувшись из Рогервика, она внезапно переменила намерение. Многие ломали себе голову, чтобы отгадать причину этой перемены; несколько лет спустя основание тому раскрылось. При проезде Чоглокова через Ригу один лютеранский священник, сумасшедший или фанатик, передал ему письмо или записку для императрицы, в которой он ее увещевал не предпринимать этого путешествия, говоря, что она подвергнется там величайшей опасности, что соседними врагами империи расставлены люди, подосланные ее убить, и тому подобная чепуха. Это писание было передано Ее Императорскому Величеству и отбило у нее охоту ехать дальше; что касается священника, то он был признан сумасшедшим, но поездка не состоялась. Мы вернулись, помалу передвигаясь за день из Ревеля в Петербург; у меня в эту поездку очень разболелось горло, вследствие чего я пролежала несколько дней; после этого мы отправились в Петергоф и оттуда ездили через каждую неделю в Ораниенбаум[55].

В начале августа императрица велела сказать великому князю

и мне, что мы должны говеть; мы подчинились ее воле и тотчас же велели служить у себя утрени и всенощные и стали каждый день ходить к обедне. В пятницу, когда дело дошло до исповеди, выяснилась причина данного нам приказания говеть. Симеон Теодорский, епископ Псковский, очень много расспрашивал нас обоих, каждого порознь, относительно того, что произошло у нас с Чернышевыми; но так как совсем ничего не произошло, то ему стало немножко неловко, когда ему с невинным простодушием сказали, что даже не было и тени того, что осмелились предполагать. В беседе со мною у него вырвалось: «Так откуда же это происходит, что императрицу предостерегали в противном?» На это я ему сказала, что ничего не знаю. Полагаю, наш духовник сообщил нашу исповедь духовнику императрицы, а этот последний передал Ее Императорскому Величеству в чем дело, что, конечно, не могло нам повредить. Мы причащались в субботу, а в понедельник поехали на неделю в Ораниенбаум, между тем как императрица ездила в Царское Село. Прибыв в Ораниенбаум, великий князь завербовал всю свою свиту; камергерам, камер-юнкерам, чинам его двора, адъютантам, князю Репнину и даже его сыну, камер-лакеям, садовникам – всем было дано по мушкету на плечо; Его Императорское Высочество делал им каждый день ученья, назначал караулы; коридор дома служил им кордегардией, и они проводили там день; обедать и ужинать кавалеры подымались наверх, а вечером в штиблетах приходили в зал танцевать; из дам были только я, Чоглокова, княгиня Репнина, трое моих фрейлин да мои горничные, – следовательно, такой бал был очень жидок и плохо налаживался: мужчины бывали измученные и не в духе от этих постоянных военных учений, которые приходились не слишком по вкусу придворным.

После бала им разрешалось идти спать к себе. Вообще, мне и всем нам опротивела скучная жизнь, которую мы вели в Ораниенбауме, где нас было пять или шесть женщин, которые оставались одни с глазу на глаз с утра до вечера, между тем как мужчины, со своей стороны, скрепя сердце упражнялись в военном искусстве. Я прибегла к книгам, которые привезла с собою.

С тех пор как я была замужем, я только и делала, что читала; первая книга, которую я прочла после замужества, был роман под заглавием «Tiran le blanc», и целый год я читала одни романы; но, когда они стали мне надоедать, я случайно напала на письма г-жи де Севинье[56]: это чтение очень меня заинтересовало. Когда я их проглотила, мне попались под руку произведения Вольтера; после этого чтения я искала книг с большим разбором.

Мы вернулись в Петергоф, и после двух или трех поездок из

Петергофа в Ораниенбаум и обратно, где время проводили все так же однообразно, мы возвратились в Петербург, в Летний дворец. К концу осени императрица перешла в Зимний дворец, где заняла покои, в которых мы помещались прошлую зиму, а нас поместили в те, где великий князь жил до женитьбы. Эти покои нам очень понравились, и действительно они были очень удобны; это были комнаты императрицы Анны.

Каждый вечер весь наш двор собирался у нас; тут играли в разные игры или бывали концерты; два раза в неделю бывало представление в Большом театре, который был тогда напротив Казанской церкви. Одним словом, эта зима была одною из самых веселых и наиболее удачных в моей жизни. Мы буквально целый день смеялись и резвились. Приблизительно среди зимы императрица приказала нам сказать, чтобы мы следовали за ней в Тихвин, куда она собиралась. Это была поездка на богомолье; но в ту минуту, как мы собирались садиться в сани, мы узнали, что поездка отложена: нам пришли сказать потихоньку, что у обер-егермейстера Разумовского подагра и что императрица не хочет ехать без него.

В этот промежуток времени мой камердинер Евреинов, причесывая меня однажды утром, сказал мне, что по очень странной случайности он открыл, что Андрей Чернышев и его братья находятся в Рыбачьей Слободе, под арестом на собственной даче императрицы, унаследованной ею от своей матери. Вот как это открылось. На Масленой мой камердинер катался в санях с женою и свояченицей; свояки стояли на запятках. Муж свояченицы был канцеляристом петербургского магистрата; у этого человека была сестра, замужем за подканцеляристом Тайной канцелярии. Они отправились как-то кататься в Рыбачью Слободу и вошли к управляющему этим имением императрицы; заспорили о празднике Пасхи, в какой день он приходится. Хозяин дома сказал им, что он сейчас решит спор, что стоит только послать к заключенным за святцами, в которых можно найти все праздники и календарь на несколько лет. Через несколько минут принесли книгу; свояк Евреинова схватил ее и первое, что он нашел, открыв ее, это имя Андрея Чернышева, написанное им самим вместе с числом того дня, в который великий князь подарил ему книгу; затем он стал искать праздник Пасхи. Спор кончился, книга была возвращена, и они вернулись в Петербург, где свояк Евреинова сообщил ему по секрету о своем открытии. Евреинов убедительно просил меня не говорить об этом великому князю, потому что вовсе нельзя было полагаться на его скромность. Я обещала и сдержала слово.

Две или три недели спустя мы действительно поехали в

Тихвин. Эта поездка продолжалась всего пять дней; мы проезжали по пути туда и обратно через Рыбачью Слободу и мимо дома, где, как я знала, находились Чернышевы; я старалась увидеть их в окне, но ничего не видела. Князь Репнин не участвовал в поездке; нам сказали, что у него каменная болезнь; муж Чоглоковой исполнял обязанности князя Репнина во время этой поездки, что никому не доставляло большого удовольствия; это был дурак заносчивый и грубый, все ужасно боялись этого человека и его жены, и, говоря правду, они были действительно зловредные люди. Однако были средства, как это оказалось впоследствии, не только усыплять этих Аргусов, но даже их задабривать, но тогда еще эти средства только изыскивались. Одно из самых надежных – было играть с ними в фараон: оба они были игроки, и очень жадные; эта слабость была открыта прежде всего, остальные – после.

В эту зиму умерла моя фрейлина, княжна Гагарина, от горячки, перед своей свадьбой с камергером князем Голицыным, который женился потом на ее младшей сестре. Я очень ее жалела и во время болезни часто навещала, несмотря на возражения Чоглоковой. Императрица вызвала из Москвы на ее место ее старшую сестру, вышедшую потом за графа Матюшкина[57].

Незадолго до Поста мы ездили с императрицей в Гостилицы на праздник к обер-егермейстеру графу Разумовскому. Там танцевали и порядком веселились, после чего вернулись в город. Немного дней спустя мне объявили о смерти моего отца, которая меня очень огорчила. Мне дали досыта выплакаться в течение недели; но по прошествии недели Чоглокова пришла мне сказать, что довольно плакать, что императрица приказывает мне перестать, что мой отец не был королем. Я ей ответила, что это правда, что он не король, но что ведь он мне отец; на это она возразила, что великой княгине не подобает долее оплакивать отца, который не был королем. Наконец постановили, что я выйду в следующее воскресенье и буду носить траур в течение шести недель.

Первый раз, как я вышла из комнаты, я встретила графа Санти[58], обер-церемониймейстера императрицы, в передней Ее Императорского Величества. Я сказала ему несколько незначительных слов и прошла своей дорогой. Несколько дней спустя Чоглокова пришла мне сказать, что императрица узнала от графа Бестужева, которому Санти передал это письменно, будто я ему сказала, что нахожу очень странным, что послы не выразили мне соболезнования по поводу смерти отца; что императрица находит этот разговор с графом Санти очень неуместным, что я слишком горда, что я должна помнить, что мой отец не был

королем и что по этой причине я не могла и не должна была претендовать на выражение соболезнования со стороны иностранных посланников. Я была страшно поражена, услыхав слова Чоглоковой. Я ей сказала, что если граф Санти сказал или написал, что я ему сказала хоть что-нибудь похожее на подобный разговор, то он недостойный лжец, что мне ничего подобного и в голову не приходило и что, следовательно, я не говорила ни ему, ни кому другому ничего относящегося к этому вопросу. Это была сущая правда, потому что я взяла себе за непоколебимое правило ни на что и ни в каком случае не претендовать и во всем сообразоваться с волей императрицы и делать, что мне прикажут. По-видимому, простодушие, с которым я ответила Чоглоковой, ее убедило; она мне сказала, что не преминет передать императрице, что я формально отрицаю слова графа Санти. И действительно, она пошла к Ее Императорскому Величеству и вернулась сказать мне, что императрица очень сердита на графа Санти за такую ложь и что она приказала сделать ему выговор.

Через несколько дней граф Санти подослал ко мне кряду нескольких лиц, между прочими камергера Никиту Панина и вице-канцлера Воронцова, чтобы сказать мне, что граф Бестужев принудил его солгать и что он очень жалеет, что через это находится у меня в немилости. Я сказала этим господам, что лжец лжецом и останется, какие бы ни имел причины для лжи, и что из опасения, чтобы этот господин не приплетал меня к своему вранью, я с ним больше не стану говорить; я сдержала слово и не говорила с ним больше. Вот что я думаю об этой истории.

Санти был итальянец; он любил вести переговоры и очень был занят своими обязанностями обер-церемониймейстера; я с ним всегда говорила, как и со всеми; он, может быть, думал, что выражения соболезнования дипломатического корпуса могли бы быть уместны, и надо полагать по складу его ума, что он думал сделать мне этим приятное; он и пошел к графу Бестужеву, великому канцлеру, своему начальнику, и сказал ему, что я вышла в первый раз, показалась ему очень опечаленной смертью отца, и, может быть, прибавил, что не соблюденные по этому случаю изъявления соболезнования могли еще увеличить мое огорчение. Граф Бестужев, всегда злобствующий, обрадовался случаю меня унизить: он велел Санти тотчас же изложить письменно, что тот ему сказал или намекнул и подтвердил моим именем, и велел ему подписать этот протокол; Санти, боясь своего начальника, как огня, и особенно страшась потерять свое место, не замедлил подписать эту ложь, вместо того чтобы пожертвовать своей карьерой. Великий канцлер послал эту записку императрице, которая рассердилась, предполагая такие

претензии с моей стороны, и послала ко мне Чоглокову, как выше сказано. Но когда императрица услышала мой ответ, основанный на сущей правде, то из всего этого вышло, что господин обер-церемониймейстер остался с носом.

Весною мы переехали на житье в Летний дворец, а оттуда – на дачу. Князь Репнин под предлогом слабого здоровья получил позволение удалиться в свой дом, и Чоглоков продолжал временно исполнять обязанности князя Репнина. Эта перемена сначала же сказалась на отставке от нашего двора камергера графа Дивьера, которого послали бригадиром в армию, и камер-юнкера Вильбуа[59], который был туда же отправлен полковником по представлению Чоглокова, косившегося на них за то, что великий князь и я к ним благоволили. Подобные увольнения случались уже раньше, например в лице графа Захара Чернышева в 1745 г. по просьбе его матери; но все же на эти увольнения смотрели при дворе как на немилость, и они тем самым были очень чувствительны для этих лиц. Мы с великим князем очень огорчились этой отставкой. Так как принц Август получил все, чего желал, то ему велено было сказать от имени императрицы, чтобы он уезжал. Это тоже было дело рук Чоглоковых, которые во что бы то ни стало хотели уединить великого князя и меня, в чем следовали инструкциям графа Бестужева, которому все были подозрительны и который любил сеять и поддерживать разлад всюду, из боязни, чтобы не сплотились против него. Несмотря на это, все взгляды сходились на ненависти к нему, но это ему было безразлично, лишь бы его боялись. В течение этого лета, за неимением лучшего и потому, что скука у нас и при нашем дворе все росла, я больше всего пристрастилась к верховой езде; остальное время я читала у себя все, что попадалось под руку. Что касается великого князя, так как от него отняли людей, которых он больше всего любил, то он выбрал новых среди камер-лакеев.

На даче он составил себе свору собак и начал сам их дрессировать; когда он уставал их мучить, он принимался пилить на скрипке; он не знал ни одной ноты, но имел отличный слух, и для него красота в музыке заключалась в силе и страстности, с которою он извлекал звуки из своего инструмента. Те, кому приходилось его слушать, часто с охотой заткнули бы себе уши, если бы посмели, потому что он их терзал ужасно. Этот образ жизни продолжался как на даче, так и в городе. Когда мы вернулись в Летний дворец, Крузе, которая продолжала быть всеми признанным Аргусом, настолько стала добрее, что очень часто соглашалась обманывать Чоглоковых, которые стали всем ненавистны. Она делала больше того, а именно доставляла

великому князю игрушки, куклы и другие детские забавы, которые он любил до страсти; днем их прятали в мою кровать и под нее.

Великий князь ложился первый после ужина, и, как только мы были в постели, Крузе запирала дверь на ключ, и тогда великий князь играл до часу или двух ночи; волей-неволей я должна была принимать участие в этом прекрасном развлечении, так же, как и Крузе. Часто я над этим смеялась, но еще чаще это меня изводило и беспокоило, так как вся кровать была покрыта и полна куклами и игрушками, иногда очень тяжелыми. Не знаю, проведала ли Чоглокова об этих ночных забавах, но однажды, около полуночи, она постучалась к нам в дверь спальной; ей не сразу открыли, потому что великий князь, Крузе и я спешили спрятать и снять с постели игрушки, чему помогло одеяло, под которое мы игрушки сунули.

Когда это было сделано, открыли дверь, но Чоглокова стала нам ужасно выговаривать за то, что мы заставили ее ждать, и сказала нам, что императрица очень рассердится, когда узнает, что мы еще не спим в такой час, и ушла ворча, но не сделав другого открытия. Когда она ушла, великий князь продолжал свое, пока не захотел спать. При наступлении осени мы снова перешли в покои, которые занимали раньше, после нашей свадьбы, в Зимнем дворце. Здесь вышло очень строгое запрещение от императрицы через Чоглокову, чтобы никто не смел входить в покои великого князя и мои без особого разрешения господина или госпожи Чоглоковых, и также приказание дамам и кавалерам нашего двора находиться в передней, не переступать порога комнаты и говорить с нами только громко; то же приказание вышло и слугам под страхом увольнения. Мы с великим князем, оставаясь, таким образом, всегда наедине друг с другом, оба роптали и обменивались мыслями об этой своего рода тюрьме, которой никто из нас не заслуживал.

Чтобы доставить себе больше развлечения зимой, великий князь выписал из деревни восемь или десять охотничьих собак и поместил их за деревянной перегородкой, которая отделяла альков моей спальной от огромной прихожей, находившейся сзади наших покоев. Так как альков был только из досок, то запах псарни проникал к нам, и мы должны были оба спать в этой вони.

Когда я жаловалась на это, он мне говорил, что нет возможности сделать иначе; так как псарня была большим секретом, то я переносила это неудобство, не выдавая тайны Его Императорского Высочества. Шестого января 1748 года я схватила сильную лихорадку с сыпью. Когда лихорадка прошла, и

так как не было никаких развлечений в течение этой Масленой при дворе, то великий князь придумал устраивать маскарады в моей комнате; он заставлял рядиться своих и моих слуг и моих женщин, и заставлял их плясать в моей спальной; он сам играл на скрипке и тоже подплясывал. Это продолжалось до поздней ночи; что меня касается, то под предлогами головной боли или усталости я ложилась на канапе, но всегда ряженая, и до смерти скучала от нелепости этих маскарадов, которые его чрезвычайно потешали.

С наступлением Поста от него удалили еще четверых лиц; в числе их было трое пажей, которых он больше любил, нежели других. Эти увольнения его огорчали, но он не делал ни шагу, чтобы их прекратить, или же делал такие неудачные шаги, что только увеличивал беду. В эту зиму мы узнали, что князь Репнин, как ни был болен, должен был командовать корпусом, который посылали в Богемию, на помощь императрице-королеве Марии Терезии. Это была форменная немилость для князя Репнина; он туда отправился и уже не возвратился, потому что умер с горя в Богемии. Княжна Гагарина, моя фрейлина, первая передала мне известие, несмотря на все запрещения доводить до нас малейшее слово о том, что происходило в городе или при дворе. Отсюда видно, что значат подобные запрещения, которые никогда во всей строгости не исполняются, потому что слишком много лиц занято тем, чтобы их нарушать. Все окружавшие нас, до ближайших родственников Чоглоковых, старались уменьшить суровость такого рода политической тюрьмы, в которой пытались нас держать. Даже собственный брат Чоглоковой, граф Гендриков[60], и тот часто вскользь давал мне полезные и необходимые сведения, и другие пользовались им же, чтобы мне их доставлять, чему он всегда поддавался с простодушием честного и благородного человека; он смеялся над глупостями и грубостями своей сестры и своего зятя, и все с ним чувствовали себя хорошо и уверенно, потому что он никогда не выдавал и не обманывал; это был прямолинейный человек, но ограниченный, дурно воспитанный и невежественный, впрочем, твердый и бесхитростный.

Во время того же Поста, однажды около полудня я вышла в комнату, где были наши кавалеры и дамы; Чоглоковы еще не приходили; разговаривая с теми и другими, я подошла к двери, где стоял камергер Овцын[61]. Он, понизив голос, заговорил о скучной жизни, какую мы ведем, и сказал, что притом нас чернят в глазах императрицы; так, несколько дней тому назад Ее Императорское Величество сказала за столом, что я чересчур обременяю себя долгами, что все, что я ни делаю, глупо, что при этом я воображаю, что я очень умна, но что я одна так думаю о

себе, что я никого не обману и что моя совершенная глупость всеми признана, и что поэтому меньше надо обращать внимания на то, что делает великий князь, нежели на то, что я делаю, и Овцын прибавил со слезами на глазах, что он получил приказание императрицы передать мне это, но он меня просил не подавать вида, что он мне сказал, что именно таково было ее приказание. Я ему ответила относительно моей глупости, что нельзя меня за это винить, потому что каждый таков, каким его Бог создал; что же касается долгов, то неудивительно, если они у меня есть, потому что при тридцати тысячах содержания мать оставила мне, уезжая, шестьдесят тысяч рублей долгу, чтобы заплатить за нее; что сверх того графиня Румянцева вовлекала меня в тысячу расходов, которые она считала необходимыми; что Чоглокова одна стоит мне в этом году семнадцать тысяч рублей и что он сам знает, какую адскую игру надо вести с ними каждый день; что он может ответ передать тем, от кого получил это поручение; что, впрочем, мне очень неприятно знать, что против меня возбуждают императрицу, по отношению к которой я никогда не была неуважительной, непокорной и непочтительной, и что чем больше будут за мною наблюдать, тем больше в этом убедятся.

Я обещала ему сохранить тайну и сдержала слово – не знаю, передал ли он, что я сказала, но думаю это, хотя никогда больше не слышала разговоров об этом и остерегалась сама возобновлять беседу, столь мало приятную. В последнюю неделю Поста у меня сделалась корь, я не могла явиться на Пасху и причащалась в своей комнате в субботу. Во время этой болезни Чоглокова, хоть и беременная на последнем месяце, почти не покидала меня и делала все, что могла, чтобы развлекать меня. При мне была тогда маленькая калмычка, которую я очень любила; этот ребенок получил от меня корь. После Пасхи мы переехали в Летний дворец и оттуда в конце мая на Вознесенье ездили к графу Разумовскому в Гостилицы; императрица выписала туда двадцать третьего того же месяца посла императорского двора барона Бретлаха, который ехал в Вену; он провел в Гостилицах вечер и ужинал с императрицей. Этот ужин кончился поздней ночью, и мы вернулись после восхода солнца в домик, где жили. Этот деревянный домик был расположен на маленькой возвышенности и примыкал к катальной горе. Расположение этого домика нам понравилось зимою, когда мы были в Гостилицах на именинах обер-егермейстера, и, чтобы доставить нам удовольствие, он и на этот раз поселил нас в этом домике; он был двухэтажный; верхний этаж состоял из лестницы, зала и трех маленьких комнат; мы спали в одной, великий князь одевался в другой, а

Крузе занимала третью, внизу помещались Чоглокова, мои фрейлины и горничные.

Вернувшись с ужина, все улеглись. Около шести часов утра сержант гвардии Левашов приехал из Ораниенбаума к Чоглокову поговорить насчет построек, которые тогда там производились; найдя всех спящими, он сел возле часового и услышал треск, показавшийся ему подозрительным; часовой сказал ему, что этот треск повторяется уже несколько раз с тех пор, как он на часах. Левашов встал и обежал дом снаружи; он увидел, что из-под дома вываливаются большие каменные плиты; он побежал разбудить Чоглокова и сказал ему, что фундамент дома опускается и что надо поскорее постараться вывести из дома всех, кто в нем находится. Чоглоков надел шлафрок и побежал наверх; стеклянные двери были заперты; он взломал замки и дошел до комнаты, где мы спали; отдернув занавес, он нас разбудил и велел поскорее выходить, потому что фундамент дома рушился. Великий князь соскочил с постели, взял свой шлафрок и убежал. Я сказала Чоглокову, что иду за ним, и он ушел; я оделась наскоро; одеваясь, я вспомнила, что Крузе спала в соседней комнате; я пошла ее разбудить, она спала очень крепко, мне удалось с некоторым трудом разбудить ее и объяснить ей, что надо выходить из дому.

Я помогла ей одеться, и, когда она была готова, мы переступили порог комнаты и вошли в зал, но едва мы там очутились, как все затряслось, с шумом, подобным тому, с каким корабль спускается с верфи. Крузе и я упали на пол; в эту минуту Левашов вошел через дверь лестницы, находившейся против нас. Он меня поднял с полу и вышел из комнаты; я взглянула случайно на гору; она была в уровень со вторым этажом, теперь же, по крайней мере на аршин, выше уровня этого второго этажа. Левашов, дойдя со мною до лестницы, по которой пришел, не нашел ее больше: она обрушилась, но так как несколько лиц влезли на развалины, то Левашов передал меня ближайшему, этот – другому, и так, переходя с рук на руки, я очутилась внизу лестницы, в прихожей, а оттуда меня вынесли из дому на лужайку. Там был и великий князь в шлафроке.

Выбравшись, я стала смотреть, что делалось в стороне дома, и увидела, что некоторые лица выходили оттуда окровавленные, а других выносили; между наиболее тяжело раненными была моя фрейлина княжна Гагарина: она хотела спастись из дому, как и другие, и, когда проходила по комнате, смежной с ее комнатой, обрушившаяся печь упала на ширмы, которые опрокинули ее на находившуюся в комнате кровать; несколько кирпичей упали ей на голову и тяжело ее ранили, так же, как и горничную,

спасавшуюся вместе с ней. В этом самом нижнем этаже была маленькая кухня, где спало несколько лакеев, трое из них были убиты обрушившейся печью. Но это были еще пустяки в сравнении с тем, что произошло между фундаментом этого дома и первыми этажами.

Шестнадцать работников, служивших при катальной горе, спали там, и все были раздавлены этим осевшим строением. Причиной всего этого было то, что домик этот был построен осенью, наспех. Фундамент был заложен в четыре ряда известняковых плит; архитектор велел поставить в первом этаже двенадцать балок на манер столбов в прихожей. Он должен был отправиться в Украину; уезжая, он приказал управляющему Гостилиц запретить до своего возвращения прикасаться к этим двенадцати балкам.

Когда управляющий узнал, что мы должны жить в этом домике, то, несмотря на распоряжение архитектора, принял самые спешные меры к тому, чтобы выломать эти двенадцать балок, так как они портили сени. Когда наступила оттепель, все здание осело на четыре ряда известняковых плит, которые стали сползать в разные стороны, и само здание поползло до бугра, который его задержал.

Я отделалась несколькими синяками и большим страхом, вследствие которого мне пустили кровь. Этот общий испуг был так велик, что в течение четырех с лишком месяцев всякая дверь, закрывавшаяся с некоторой силой, заставляла нас всех вздрагивать. Когда первый страх прошел, в этот день императрица, жившая в другом доме, позвала нас к себе, и, так как ей хотелось уменьшить опасность, все старались находить в этом очень мало опасного, и некоторые даже не находили ничего опасного; мой страх ей очень не понравился, и она рассердилась на меня за него; обер-егермейстер плакал и приходил в отчаяние; он говорил, что застрелится из пистолета; вероятно, ему в этом помешали, потому что он ничего подобного не сделал, и на следующий день мы возвратились в Петербург после нескольких недель нашего пребывания в Летнем дворце…

Не помню точно, но мне кажется, что приблизительно около этого времени приехал в Россию [мальтийский] кавалер Сакрамоза. Уже давно не приезжало в Россию мальтийских кавалеров, и, вообще, тогда очень мало видно было иностранцев, навещающих Петербург; следовательно, его приезд был своего рода событием. С ним обошлись как можно лучше и показали ему все достопримечательности Петербурга, а в Кронштадте один из лучших флотских офицеров был назначен на этот случай, чтобы сопровождать его; это был Полянский, капитан линейного

корабля, впоследствии адмирал. Он был нам представлен; целуя мою руку, Сакрамоза сунул мне в руку очень маленькую записку и сказал очень тихо: «Это от вашей матери».

Я почти что остолбенела от страху перед тем, что он только что сделал. Я замирала от боязни, как бы кто-нибудь этого не заметил, особенно Чоглоковы, которые были совсем близко. Однако я взяла записку и сунула ее в перчатку; никто этого не заметил. Вернувшись к себе в комнату, в этой свернутой записке, в которой он говорил мне, что ждет ответа через одного итальянского музыканта, приходившего на концерты великого князя, я действительно нашла записку от матери, которая, будучи встревожена моим невольным молчанием, спрашивала меня об его причине и хотела знать, в каком положении я нахожусь. Я ответила матери и уведомила ее о том, что она хотела знать; я сказала ей, что мне было запрещено писать ей и кому бы то ни было под предлогом, что русской великой княгине не подобает писать никаких других писем, кроме тех, которые составлялись в Коллегии иностранных дел и под которыми я должна была только ставить свою подпись, и никогда не говорить, о чем надо писать, ибо Коллегия знала лучше меня, что следовало в них сказать; что Олсуфьеву[62] чуть не вменили в преступление то, что я послала ему несколько строк, которые просила включить в письмо к матери. Я сообщила ей еще несколько сведений, о которых она меня просила.

Я свернула свою записку, как была свернута та, которую я получила, и выждала с тревогой и нетерпением минуту, чтобы от нее отделаться. На первом концерте, который был у великого князя, я обошла оркестр и стала за стулом виолончелиста д'Ололио, того человека, на которого мне указали. Когда он увидел, что я остановилась за его стулом, он сделал вид, что вынимает из кармана свой носовой платок, и таким образом широко открыл карман; я сунула туда, как ни в чем не бывало, свою записку и отправилась в другую сторону, и никто ни о чем не догадался. Сакрамоза во время своего пребывания в Петербурге сунул мне еще две или три записки, касавшиеся одного и того же, и ответы мои были ему так же переданы, и никто никогда об этом ничего не узнал. Из Летнего дворца мы поехали в Петергоф, который тогда перестраивали.

Нас поместили наверху, в старой постройке Петра I, тогда существовавшей. Здесь от скуки великий князь стал играть со мною вдвоем каждый день после обеда в ломбер; когда я выигрывала, он сердился, а когда проигрывала – требовал, чтобы ему было уплачено немедленно; у меня не было ни гроша, за неимением денег, он принимался играть со мною вдвоем в

азартные игры.

Помню, что однажды его ночной колпак служил нам маркой в десять тысяч рублей; но когда в конце игры он проигрывал, то приходил в ярость и был способен дуться в течение нескольких дней; эта игра ни с какой стороны не была мне по душе. Во время этого пребывания в Петергофе мы увидели в окна, которые выходили в сад у моря, что муж и жена Чоглоковы постоянно ходят взад и вперед из верхнего дворца во дворец в Монплезире, на берегу моря, где жила тогда императрица. Это заинтересовало нас так же, как и Крузе. Чтобы узнать причину этих частых хождений туда и обратно, Крузе пошла к своей сестре, которая была старшей камер-фрау императрицы. Она вернулась оттуда вся сияющая, узнав, что все эти хождения происходили оттого, что до императрицы дошло, что у Чоглокова была любовная интрига с одной из моих фрейлин, Кошелевой, и что она была беременна. Императрица велела позвать Чоглокову и сказала ей, что муж ее обманывает, тогда как она любит его до безумия; что она была слепа до того, что эта девица, любовница ее мужа, чуть не жила у нее; что если она пожелает теперь разойтись с мужем, то сделает угодное императрице, которая без удовольствия смотрела на брак Чоглоковой с ее мужем. Она прямо объявила ей, что не желает, чтобы ее муж оставался при нас, что она уволит его, а ей оставит ее должность. Жена в первую минуту стала отрицать перед императрицей страсть своего мужа, утверждала, что это клевета, но Ее Императорское Величество в то время, как говорила с женой, послала расспросить девицу. Эта последняя во всем совершенно чистосердечно призналась, что вызвало в жене ярость против мужа. Она вернулась к себе и стала ругать мужа; он упал перед ней на колени и стал просить прощения, и пустил в ход все влияние, какое имел на нее, чтоб ее смягчить. Куча детей, какую они имели, послужила к тому, чтобы восстановить их согласие, которое между тем не стало с тех пор более искренним; разъединенные по любви, они были связаны по интересу; жена простила мужу, она пошла к императрице и сказала ей, что все простила мужу и хочет оставаться с ним из любви к своим детям; она на коленях умоляла императрицу не удалять ее мужа с позором от двора – это значило бы обесчестить ее и довершить ее горе; наконец, она вела себя в этом случае с такою твердостью и великодушием, и ее горе, кроме того, было так действительно, что она обезоружила гнев императрицы. Она сделала больше того: она привела мужа к Ее Императорскому Величеству, высказала ему всю правду, а потом бросилась вместе с ним на колени к ногам императрицы и просила ее простить ее мужа ради ее и ее шестерых детей, отцом которых он был.

Все эти различные сцены продолжались пять или шесть дней, и мы узнавали почти с часу на час, что происходило, потому что нас меньше караулили в этот промежуток времени и потому что все надеялись увидеть отставку этих людей. Но исход вовсе не соответствовал ожиданию, какое у всех сложилось, ибо удалили только девицу к ее дяде, обер-гофмаршалу Шепелеву[63], а Чоглоковы остались, впрочем, в меньшем почете, сравнительно с тем, каким они пользовались до тех пор. Выбрали день, в который мы должны были ехать в Ораниенбаум, и в то время, как мы ехали в одну сторону, девицу отправили в другую.

В Ораниенбауме мы занимали в этом году флигеля направо и налево от малого дворцового корпуса; приключение в Гостилицах так напугало, что во всех придворных домах велено было осмотреть потолки и полы, после чего починили все, какие в том нуждались. Вот образ жизни, какой я тогда вела в Ораниенбауме. Я вставала в три часа утра, сама одевалась с головы до ног в мужское платье; старый егерь, который у меня был, ждал уже меня с ружьями; на берегу моря у него был совсем наготове рыбачий челнок. Мы пересекали сад пешком, с ружьем на плече, и мы садились – он, я, легавая собака и рыбак, который нас вез, – в этот челнок, и я отправлялась стрелять уток в тростниках, окаймляющих море с обеих сторон Ораниенбаумского канала, который на две версты уходит в море. Мы огибали часто этот канал и, следовательно, находились иногда в довольно бурную погоду в открытом море на этом челноке.

Великий князь приезжал через час или два после нас, потому что ему надо было всегда тащить с собою завтрак и еще невесть что такое. Если он нас встречал, мы отправлялись вместе; если же нет, то каждый из нас ездил и охотился порознь. В десять часов, а иногда и позже, я возвращалась и одевалась к обеду; после обеда отдыхала, а вечером или у великого князя была музыка, или мы катались верхом. Приблизительно через неделю такой жизни я почувствовала сильный жар и голова была тяжелая; я поняла, что мне нужен отдых и диета. В течение суток я ничего не ела, пила только холодную воду и спала две ночи столько, сколько могла, после чего стала вести тот же образ жизни и чувствовала себя очень хорошо. Помню, что я читала тогда «Записки» Брантома[64], которые меня очень забавляли; перед этим я прочла «Жизнь Генриха IV» Перефикса[65].

К осени мы вернулись в город, и нам сказали, что зимою мы поедем в Москву. Крузе пришла мне сказать, что мне нужно прибавить белья для этой поездки; я подробно занялась этим бельем; Крузе предполагала развлечь меня, распорядившись кроить белье в моей комнате, чтобы, как она говорила, показать

мне, сколько может выйти рубашек из куска полотна. Это ученье или это развлечение не понравилось, верно, Чоглоковой, которая была в самом дурном расположении духа с тех пор, как открыла измену своего мужа. Не знаю, что она пошла сказать императрице, но только она пришла как-то днем сказать мне, что императрица увольняет Крузе от ее должности при мне, что Крузе удалится к своему зятю, камергеру Сиверсу, и на следующий день привела мне Владиславову[66], чтоб она заняла при мне ее место. Это была женщина высокого роста, с хорошими, по-видимому, манерами; ее умное лицо на первых порах мне довольно понравилось.

Я спросила об этом выборе моего оракула Тимофея Евреинова, который сказал, что эта женщина, которую я никогда раньше не видала, была тещей старшего чиновника при графе Бестужеве, советника Пуговишникова, что у нее не было недостатка ни в уме, ни в живости, что она слыла за очень хитрую, что надо посмотреть, как она будет себя вести, и особенно не надо слишком выказывать ей доверие. Ее звали Прасковья Никитична. Она начала очень удачно; она была общительна, любила говорить, говорила и рассказывала с умом, знала основательно все анекдоты прошлого и настоящего, знала все семьи до четвертого и пятого колена, очень отчетливо помнила родословные отцов, матерей, дедов, бабок, прадедов и предков с отцовской и материнской стороны всех на свете, и никто не познакомил меня с тем, что происходило в России в течение ста лет, более обстоятельно, чем она. Ум и манеры этой женщины мне достаточно нравились, и, когда я скучала, я заставляла ее болтать, чему она всегда охотно поддавалась. Я без труда открыла, что она очень часто не одобряет слов и поступков Чоглоковых, но так как она очень часто ходила также в покои императрицы и совсем не знали, зачем, то были с ней до известной степени осторожны, не зная, как могут быть перетолкованы самые невинные поступки и слова.

Из Летнего дворца мы перешли в Зимний. Здесь нам представили г-жу Латур Лонуа[67], которая была при императрице в ее ранней молодости и последовала за цесаревной Анной Петровной, старшей дочерью Петра I, когда эта последняя покинула Россию со своим мужем, герцогом Голштинским, во время царствования императора Петра II. По смерти этой герцогини г-жа Лонуа возвратилась во Францию и в настоящее время вернулась в Россию, чтоб или поселиться здесь, или снова уехать, получив от императрицы некоторые милости. Г-жа Лонуа надеялась, что в качестве старой знакомой она снова войдет в милость и близкое расположение императрицы, но она очень

ошиблась; все соединились, чтобы оттеснить ее. С первых дней ее приезда я предвидела, что произойдет, и вот как. Однажды вечером, когда была карточная игра в покоях императрицы, Ее Императорское Величество ходила из комнаты в комнату и нигде не усаживалась, как она обыкновенно делала. Г-жа Лонуа, думая, вероятно, выразить ей свою угодливость, следовала за ней повсюду, куда она ни шла. Чоглокова, видя это, сказала мне: «Смотрите, как эта женщина следует всюду за императрицей; но это недолго будет длиться; ее скоро отучат так за ней бегать». Я запомнила это, и, действительно, ее стали отстранять, а потом отправили во Францию с подарками.

В течение этой зимы состоялся брак графа Лестока с девицей Менгден[68], фрейлиной императрицы. Ее Императорское Величество и весь двор присутствовали на свадьбе, и государыня оказала молодым честь посетить их. Можно было сказать, что они пользуются величайшим фавором, но месяц или два спустя счастье им изменило.

Однажды вечером, во время карточной игры в покоях императрицы, я увидала там графа Лестока; я подошла к нему, чтобы поговорить; он мне сказал вполголоса: «Не подходите ко мне, я в подозрении». Я думала, что он шутит, и спросила, что это значит; он возразил: «Повторяю вам очень серьезно – не подходите ко мне, потому что я человек заподозренный, которого надо избегать». Я видела, что он изменился в лице и был очень красный; я думала, что он пьян, и повернулась в другую сторону. Это происходило в пятницу.

В воскресенье утром, причесывая меня, Тимофей Евреинов сказал мне: «Знаете ли вы, что сегодня ночью граф Лесток и его жена арестованы и отвезены в крепость как государственные преступники?» Никто не знал, из-за чего, знали только, что генерал Степан Апраксин[69] и Александр Шувалов[70] были назначены следователями по этому делу. Отъезд двора в Москву был назначен на 16 декабря. Чернышевы были переведены из крепости в дом, принадлежавший императрице и называвшийся Смольный двор. Старший из троих братьев напаивал иногда своих сторожей и ходил гулять в город к своим приятелям.

Однажды моя гардеробная девушка-финка, которая была невестой одного камер-лакея, родственника Евреинова, принесла мне письмо от Андрея Чернышева, в котором он меня просил о разных вещах. Эта девушка видала его у своего жениха, где они провели вместе вечер. Я не знала, куда сунуть это письмо, когда его получила; я не хотела его сжечь, чтобы не забыть того, о чем он меня просил. Уже очень давно мне было запрещено писать даже матери; через эту девушку я купила серебряное перо с

чернильницей. Днем письмо было у меня в кармане; раздеваясь, я засовывала его в чулок, за подвязку, и, прежде чем ложиться спать, я его оттуда вынимала и клала в рукав; наконец я ответила, послала ему, чего он желал, тем же путем, которому он доверил свое письмо, и выбрала удобную минуту, чтобы сжечь это письмо, причинявшее мне столь большие хлопоты.

В половине декабря мы уехали в Москву. Мы с великим князем были в большом возке, дежурные кавалеры – на передке. Великий князь днем садился в городские сани с Чоглоковыми, а я оставалась в большом возке, которого мы никогда не закрывали, и разговаривала с теми, кто сидел на передке. Помню, что камергер князь Александр Юрьевич Трубецкой[71] рассказал мне в это время, будто граф Лесток, будучи заключен в крепость, в течение первых одиннадцати дней своего заключения хотел уморить себя голодом, но его заставили принять пищу. Его обвиняли в том, что он взял десять тысяч рублей от Прусского короля, чтобы поддерживать его интересы, и в том, что он отравил некоего Этингера, который мог свидетельствовать против него. Его пытали, после чего сослали в Сибирь. В этом путешествии императрица обогнала нас в Твери, и так как для ее свиты взяли лошадей и провизию, какие были заготовлены для нас, то мы остались в течение суток в Твери без лошадей и без пищи.

Мы были очень голодны; к вечеру Чоглоков достал нам жареную стерлядь, которая показалась нам превкусной. Мы поехали ночью и приехали в Москву за два или за три дня до Рождества. Первое известие, которое мы там получили, было то, что камергер нашего двора, князь Александр Михайлович Голицын[72], в минуту нашего отъезда из Петербурга получил приказание отправиться в Гамбург русским посланником, с четырьмя тысячами жалованья. На это опять посмотрели как на новое изгнание; его свояченица, княжна Гагарина, которая была при мне, очень об этом плакала, и мы все его жалели.

Мы заняли в Москве помещение, которое было отведено мне с матерью в 1744 году. Чтобы отправиться в главную придворную церковь, надо было объехать в карете вокруг всего дома; в самый день Рождества, в час обедни, мы собирались сесть в карету и уже были для этого на крыльце, при двадцати восьми – двадцати девятиградусном морозе, когда нам пришли сказать от имени императрицы, что она освобождала нас от поездки к обедне в этот день, по случаю чрезвычайного холода, какой стоял; действительно, мороз щипал за нос.

Я была принуждена оставаться в своей комнате в первое время моего пребывания в Москве из-за необыкновенного

количества прыщей, высыпавших у меня на лице; я смертельно боялась остаться угреватой; я послала за доктором Бургавом, который дал мне успокоительные средства и разные разности, чтобы согнать прыщи с лица; наконец, когда ничто не помогло, он мне сказал однажды: «Я вам дам средство, которое их сгонит». Он вытащил из кармана маленький пузырек талькового масла и велел мне капнуть одну каплю в чашку воды и мочить этим лицо от времени до времени, например еженедельно. Действительно, тальковое масло очистило мне лицо, и дней через десять я могла показываться. Немного времени спустя после нашего приезда в Москву Владиславова пришла передать мне, что императрица приказала поскорее сыграть свадьбу моей гардеробной девушки-финки. Единственная причина, по которой, вероятно, спешили с этой свадьбой, заключалась, по-видимому, в том, что я выказывала некоторое предпочтение этой девушке, которая была веселой толстушкой, смешившей меня иногда тем, что передразнивала всех, и особенно забавно Чоглокову. Итак, ее выдали замуж и больше и речи о ней не было.

Среди Масленой, в течение которой не было никакого веселья, ни развлечения, императрица почувствовала себя нездоровой; у нее сделались сильные колики, которые, казалось, становились очень серьезными. Владиславова и Тимофей Евреинов шепнули мне это на ухо, убедительно прося меня никому не говорить о том, что они мне сказали. Не называя их, я предупредила великого князя, что его сильно встревожило.

Однажды утром Евреинов пришел мне сказать, что канцлер Бестужев и генерал Апраксин провели эту ночь в комнате Чоглоковых, что давало основание думать, что императрица очень плоха. Чоглоков и его жена были нахмурены более чем когда-либо, приходили к нам, обедали и ужинали у нас, но ни слова не проронили об этой болезни, и мы тоже не говорили о ней, а следовательно, и не смели послать узнать, как здоровье императрицы, потому что прежде всего спросили бы, как и откуда и через кого вы знаете, что она больна, а те, которые были бы названы или даже заподозрены, наверное, были бы уволены, сосланы или даже отправлены в Тайную канцелярию, государственную инквизицию, которой все боялись пуще огня.

Наконец, когда через десять дней императрице стало лучше, при дворе праздновали свадьбу одной из ее фрейлин. За столом я сидела рядом с графиней Шуваловой[73], любимицей императрицы. Она мне рассказала, что императрица была еще так слаба от ужасной болезни, которую вынесла, что она убирала голову невесте своими брильянтами (честь, которую она оказывала всем

своим фрейлинам), сидя на постели только со спущенными ногами с постели, и что поэтому она не показалась на свадебном пиру. Так как графиня Шувалова первая заговорила со мной об этой болезни, я выразила ей огорчение, которое мне причиняет ее состояние, и участие, какое я в нем принимаю. Она мне сказала, что императрица с удовольствием узнает о моем образе мыслей по этому поводу.

День спустя Чоглокова пришла утром в мою комнату и сказала мне в присутствии Владиславовой, что императрица очень сердита на великого князя и на меня за недостаток участия к ее болезни, дошедший до того, что мы даже ни разу не послали узнать, как она себя чувствует. Я сказала Чоглоковой, что я ссылаюсь на нее самое в том, что ни она, ни ее муж ни слова не сказали нам о болезни императрицы, что, ничего о ней не зная, мы не могли выказать участия, какое мы в ней принимали. Она мне ответила: «Как вы можете говорить, что вы ничего не знали? Графиня Шувалова сказала императрице, что вы с ней говорили за столом об этой болезни». Я ей ответила: «Это правда, что я с ней говорила об этом, ибо она сказала мне, что Ее Величество еще очень слаба и не может выходить, и тогда я у нее расспросила подробно об этой болезни». Чоглокова ушла ворча, а Владиславова сказала мне, что странно сердиться на людей за то, чего они не знают, что так как Чоглоковы одни были вправе сказать нам об этом, то, если они этого не сделали, это их вина, а не наша, если мы не выказали участия по неведению. Несколько времени спустя на куртаге императрица приблизилась ко мне, и я нашла удобную минуту, чтобы сказать ей, что ни Чоглоков, ни его жена не осведомили нас об ее болезни и что поэтому мы не имели возможности выразить ей участие, которое мы в ней принимали. Она это очень хорошо приняла, и мне показалось, что влияние этих людей уменьшается.

Однажды императрица поехала обедать к генералу Степану Апраксину; мы были в числе приглашенных. После обеда привели к императрице одного старика, князя Долгорукова, который жил напротив дома генерала Апраксина. Это был князь Михаил Владимирович Долгоруков[74], который прежде был сенатором, но не умел ни читать, ни писать ничего, кроме своего имени; однако он считался гораздо умнее своего брата, фельдмаршала князя Василия Долгорукова[75], умершего в 1746 году. На следующий день я узнала, что третья дочь генерала Степана Апраксина, у которого мы накануне обедали, умерла в этот день от оспы; я перепугалась: все дамы, приглашенные с нами на обед к генералу Апраксину, то и дело сновали взад и вперед из комнаты этого больного ребенка в покои, где мы были. Но и на этот раз я

отделалась только страхом. Я увидела в первый раз в этот день двух дочерей генерала Апраксина, из которых старшая становилась очень красивой – ей могло быть тогда около тринадцати лет; это та самая, которая потом вышла замуж за князя Куракина[76]; второй было только шесть лет; она была тогда чахоточной, харкала кровью и была буквально одна кожа да кости; конечно, и не подозревали, что она станет столь большою, столь колоссальною, столь чудовищно толстою, какой все те, кто ее знали, видели Талызину, ибо это именно та самая, которая тогда была лишь очень маленьким ребенком.

На первой неделе Поста Чоглоков хотел говеть. Он исповедался, но духовник императрицы запретил ему причащаться. Весь двор говорил, что это по приказанию Ее Императорского Величества из-за его приключения с Кошелевой. Одно время, когда мы были в Москве, Чоглоков, казалось, был в очень тесной дружбе с канцлером графом Бестужевым-Рюминым и с закадычным его другом генералом Степаном Апраксиным. Он был постоянно у них или с ними, и, если его послушать, можно было сказать, что он ближайший советник графа Бестужева, чего на самом деле не могло быть, потому что у Бестужева было чересчур много ума, чтобы принимать советы от такого заносчивого дурака, каким был Чоглоков. Но почти на половине нашего пребывания в Москве эта чрезвычайная близость вдруг прекратилась, не знаю хорошенько, почему, и Чоглоков стал заклятым врагом тех, с кем перед этим жил в такой близости.

Вскоре после моего приезда в Москву я начала от скуки читать «Историю Германии» отца Барра, каноника собора св. Женевьевы, восемь или девять томов в четвертку[77]. В неделю я прочитывала по книге, после чего я прочла произведения Платона. Мои комнаты выходили на улицу; противоположные им были заняты великим князем; его окна выходили на маленький двор. Я читала у себя в комнате; одна из девушек обыкновенно входила ко мне и стояла, сколько хотела, а потом выходила, и другая занимала ее место, когда находила это кстати. Я дала понять Владиславовой, что это было ни к чему и только меня беспокоило; и без этого мне приходилось страдать от близости комнат великого князя и от того, что в них происходило; что она страдала от этого столько же, сколько и я, потому что занимала маленькую комнату, которая составляла именно конец моих покоев. Она согласилась освободить девушек от этого своего рода этикета. Вот что заставляло нас страдать: утром, днем и очень поздно ночью великий князь с редкой настойчивостью дрессировал свору собак, которую сильными ударами бича и криком, как кричат охотники, заставлял гоняться из одного конца

своих двух комнат (потому что у него больше не было) в другой; тех же собак, которые уставали или отставали, он строго наказывал; это заставляло их визжать еще больше; когда наконец он уставал от этого упражнения, несносного для ушей и покоя соседей, он брал скрипку и пилил на ней очень скверно и с чрезвычайной силой, гуляя по своим комнатам, после чего снова принимался за воспитание своей своры и за наказание собак, что мне, поистине, казалось жестоким.

Слыша раз, как страшно и очень долго визжала какая-то несчастная собака, я открыла дверь спальной, в которой сидела и которая была смежной с тою комнатой, где происходила эта сцена, и увидела, что великий князь держит в воздухе за ошейник одну из своих собак, а бывший у него мальчишка, родом калмык, держит ту же собаку, приподняв за хвост. Это был бедный маленький шарло английской породы, и великий князь бил эту несчастную собачонку изо всей силы толстой ручкой своего кнута; я вступилась за бедное животное, но это только удвоило удары; не будучи в состоянии выносить это зрелище, которое показалось мне жестоким, я удалилась со слезами на глазах к себе в комнату. Вообще, слезы и крики вместо того, чтобы внушать жалость великому князю, только сердили его; жалость была чувством тяжелым и даже невыносимым для его души.

Около этого времени мой камердинер Тимофей Евреинов передал мне письмо своего прежнего товарища, Андрея Чернышева, которого наконец освободили и который проезжал поблизости от Москвы в свой полк, куда он был назначен поручиком. Я поступила с этим письмом, как с предыдущим, и послала ему все, что он у меня просил, и ни слова не сказала ни великому князю, и ни одной живой душе. Весною императрица вызвала нас в Перово, где мы провели несколько дней с нею у графа Разумовского. Великий князь и Чоглоков таскались почти весь день по лесам с хозяином дома; я читала у себя в комнате, или же Чоглокова, когда не играла в карты, приходила посидеть со мною от скуки. Она очень жаловалась на скуку, царившую в этом месте, и на постоянные охоты своего мужа, который стал страстным охотником с тех пор, как ему в Москве подарили прекрасную английскую борзую. Я узнала от других, а не от нее, что муж ее служил посмешищем для всех других охотников и что он воображал и его уверяли, будто его Цирцея (так звали его суку) брала всех зайцев, которых ловили. Вообще, Чоглоков воображал, что все, что ему принадлежало, было редкой красоты или редкой доброты: его жена, дети, слуги, дом, стол, лошади, собаки – все, что ему принадлежало, возбуждало его самолюбие; хотя бы все это было весьма посредственно, но раз это

принадлежало ему, то становилось в его глазах несравненным. В Перове со мной случилась такая головная боль, какой я не запомню в своей жизни. Чрезвычайная боль вызвала у меня ужасную тошноту, меня вырвало несколько раз, и каждый шаг, какой делали в комнате, увеличивал мою боль. Я провела почти сутки в таком состоянии и наконец заснула.

На следующий день я чувствовала только слабость; Чоглокова всячески позаботилась обо мне во время этого сильного приступа; вообще, все люди, которых ставило вокруг меня самое отъявленное недоброжелательство, в очень короткое время становились ко мне невольно благосклонными, и, когда их не настраивали и не возбуждали их снова, они действовали вопреки расчетам тех, кто ими пользовался, и часто поддавались склонности, которая влекла их ко мне, или, по крайней мере, интересу, который я им внушала; они никогда не видели меня надутой или нахмуренной, но всегда готовой пойти навстречу малейшему шагу с их стороны. Во всем этом помогал мне мой веселый нрав, потому что все эти Аргусы часто забавлялись речами, с которыми я к ним обращалась, и мало-помалу невольно переставали хмуриться.

В Перове у императрицы случился новый приступ колик. Она велела перевезти себя в Москву, и мы поехали шагом во дворец, который находился всего в четырех верстах оттуда. Этот приступ не имел никаких последствий, и вскоре затем императрица поехала на богомолье в Троицкий монастырь. Ее Императорское Величество хотела пройти эти пятьдесят верст пешком и для этого отправилась в свой дом, в Покровское; нам тоже велели направить путь к Троице, и мы поселились на этом пути, в одиннадцати верстах от Москвы, на очень маленькой даче, принадлежавшей Чоглоковой и называвшейся Раево. Все помещение состояло из маленького зала среди дома с двумя маленькими комнатами по бокам; разбили палатки вокруг дома, где разместилась вся наша свита. У великого князя была одна палатка, я занимала одну маленькую комнату, Владиславова – другую; Чоглоковы были в остальных палатках; обедали мы в зале.

Императрица делала пешком три-четыре версты, потом отдыхала несколько дней. Это путешествие продолжалось почти все лето. Мы ежедневно ходили на охоту после обеда. Когда императрица дошла до Тайнинского, которое находится почти насупротив Раева, по ту сторону большой дороги в Троицкий монастырь, гетман граф Разумовский[78], младший брат фаворита, живший на своей даче в Петровском, на Петербургской дороге, по другую сторону Москвы, вздумал приезжать к нам каждый день в

Раево. Это был человек очень веселый и приблизительно наших лет. Мы очень его любили. Чоглоковы охотно принимали его к себе как брата фаворита; его посещения продолжались все лето, и мы всегда встречали его с радостью; он обедал и ужинал с нами и после ужина уезжал в свое имение; следовательно, он делал от сорока до пятидесяти верст в день.

Лет двадцать спустя мне вздумалось его спросить, что заставляло его тогда приезжать делить скуку и нелепость нашего пребывания в Раеве, тогда как его собственный дом ежедневно кишел лучшим обществом, какое тогда было в Москве. Он мне ответил, не колеблясь: «Любовь». – «Но, боже мой, – сказала я ему, – в кого вы у нас могли быть влюблены?» – «В кого? – сказал он мне. – В вас».

Я громко рассмеялась, ибо никогда в жизни этого не подозревала. Впрочем, он уже был несколько лет женат на богатой наследнице из дома Нарышкиных, на которой императрица женила его, правда, немного против его воли, но с которой он, казалось, хорошо жил; впрочем, хорошо было известно, что все самые хорошенькие придворные и городские дамы разрывали его на части. И действительно, это был красивый мужчина своеобразного нрава, очень приятный и несравненно умнее своего брата, который, в свою очередь, равнялся с ним по красоте, но превосходил его щедростью и благотворительностью. Эти два брата составляли семью фаворитов, самую любимую всеми, какую я когда-либо видела.

Около Петрова дня императрица велела нам сказать, чтобы мы ехали к ней в Братовщину. Мы тотчас же туда отправились. Так как всю весну и часть лета я была или на охоте, или постоянно на воздухе, потому что раевский дом был так мал, что мы проводили большую часть дня в окружавшем его лесу, то я приехала в Братовщину чрезвычайно красной и загоревшей. Императрица, увидев меня, ужаснулась моей красноте и сказала мне, что пришлет умыванье, чтобы снять загар. Действительно, она тотчас же прислала мне пузырек, в котором была жидкость, составленная из лимона, яичных белков и французской водки; она приказала, чтобы мои женщины заучили состав и пропорцию, какую нужно положить; несколько дней спустя мой загар прошел, и с тех пор я стала пользоваться этим средством и давала его многим лицам для употребления в подобных случаях. Когда кожа разгорячена, я не знаю лучшего средства; это хорошо еще и против того, что по-русски называется «лишай», по-немецки Flechten, – французского названия я сейчас не припомню, – это не что иное, как жар, который заставляет трескаться кожу. Мы провели Петров день в Троицком монастыре, и, так как в этот

день после обеда великому князю нечем было заняться, он придумал дать бал у себя в комнате, где, однако, были только он, два его камердинера и две женщины, которые были со мной и одной из которых было за пятьдесят. Из монастыря императрица поехала в Тайнинское, а мы снова в Раево, где вели тот же образ жизни. Мы оставались там до половины августа, когда…

Императрица поехала в Софьино, – эта местность расположена в 60–70 верстах от Москвы. Мы стояли там лагерем. На другой день по приезде в это место мы пошли в ее палатку; там мы увидели, что она бранит управляющего этим имением. Она ездила на охоту и не нашла зайцев. Этот человек был бледен и дрожал, и не было ругательства, какого бы она ему не высказала; поистине она была в бешенстве. Видя, что мы пришли поцеловать ей руку, она поцеловала нас по обыкновению и продолжала бранить своего человека; в своем гневе она проезжалась насчет всех, против кого что-либо имела или на кого была сердита. Она доходила до этого постепенно, и велика была беглость ее речи. Она между прочим стала говорить, что она очень много понимает в управлении имением, что ее научило этому царствование императрицы Анны, что, имея мало денег, она умела беречься от расходов, что если бы она наделала долгов, то боялась бы Страшного суда, что, если бы она умерла тогда с долгами, никто не заплатил бы их и душа ее пошла бы в ад, чего она не хотела; что для этого дома и когда не было особой нужды, она носила очень простые платья, кофту из белой тафты, юбку из серого гризета, чем и делала сбережения, и что она отнюдь не надевала дорогих платьев в деревне или в дороге; это было в мой огород: на мне было лиловое с серебром платье. Я это запомнила твердо. Это поучение – потому что иначе это и нельзя назвать, так как никто не говорил ни слова, видя, как она пылает и сверкает глазами от гнева, – продолжалось добрых три четверти часа. Наконец ее шут Аксаков прекратил это: он вошел и подал ей в своей шапке маленького ежа. Она подошла к нему взглянуть и, как только его увидела, взвизгнула и сказала, что он похож на мышь, и побежала со всех ног внутрь палатки, потому что смертельно боялась мышей. Мы больше ее не видели; она обедала у себя, после обеда поехала на охоту, взяла с собою великого князя, а я получила приказание вернуться с Чоглоковой в Москву, куда великий князь приехал вслед за мной несколько часов спустя, так как охота была короткая из-за очень сильного в тот день ветра.

Как-то в воскресенье императрица вызвала нас в Тайнинское из Раева, куда мы вернулись, и мы удостоились чести обедать с Ее Императорским Величеством. Она была одна в конце стола,

великий князь направо от нее, я – налево, против него; возле великого князя – фельдмаршал Бутурлин[79], возле меня – графиня Шувалова. Стол был очень длинный и узкий; великий князь, сидя между императрицей и фельдмаршалом Бутурлиным, так напился с помощью этого фельдмаршала, который не прочь был выпить, что он перешел всякую границу: не помнил, что говорит и делает, заплетался в словах, и на него было так неприятно смотреть, что у меня навернулись слезы на глазах, у меня, скрывавшей тогда или смягчавшей, насколько могла, все, что было в нем предосудительного; императрица была довольна моею чувствительностью и встала ранее обыкновенного из-за стола.

Его Императорское Высочество должен был ехать после обеда на охоту с графом Разумовским. Он остался в Тайнинском, а я вернулась в Раево. Дорогой у меня страшно разболелись зубы; погода становилась холодной и сырой, а в Раеве едва можно было укрыться. Брат Чоглоковой, граф Гендриков, который был дежурным при мне камергером, предложил сестре немедленно меня вылечить; она мне сказала, я согласилась попробовать его средство, которое мне показалось пустячным или, вернее, вполне шарлатанским; он тотчас же пошел в другую комнату и принес оттуда очень маленькую бумажную трубочку, которую велел жевать больным зубом; едва я сделала то, что он мне сказал, как зубная боль моя стала такой сильной, что я должна была лечь в постель; у меня сделалась сильная лихорадка и такой жар, что я стала бредить. Чоглокова, испуганная моим состоянием и приписывая его средству своего брата, побранилась с ним; она не отходила от моей постели всю ночь и послала сказать императрице, что ее дом в Раеве никоим образом не годится ни для кого, кто был так тяжко болен, как ей думалось, я была больна; она так хлопотала, что на следующий день меня совсем больную отвезли в Москву. Я была дней десять – двенадцать в постели, и зубная боль начиналась у меня каждый день после обеда в один и тот же час.

В начале сентября императрица отправилась в Воскресенский монастырь, куда мы получили приказание приехать ко дню ее именин. В этот день она назначила своим камер-юнкером Ивана Ивановича Шувалова. Это было событием при дворе; все шептали друг другу на ухо, что это новый фаворит; я радовалась его возвышению, потому что, когда он еще был пажом, я его заметила как человека, много обещавшего по своему прилежанию; его всегда видели с книгой в руке. У меня по возвращении из этой поездки сделалась острая боль в горле с сильной лихорадкой. Императрица навестила меня во время этой болезни. Едва я начала поправляться и была еще очень слаба, как Ее

Императорское Величество приказала мне через Чоглокову причесать племянницу графини Румянцевой и быть у нее на свадьбе; она выходила за Александра Нарышкина[80], который впоследствии был обер-шенком. Чоглокова, видя, что я едва еще поправляюсь, была немного огорчена, передавая мне это приказание, которое не доставило мне удовольствия, потому что я ясно видела, как мало заботятся о моем здоровье, а может быть, и о самой жизни; я в этом духе говорила с Владиславовой, которая, казалось, как и я, была очень недовольна этим грубым и беспощадным приказанием. Я собралась с силами, и в день, назначенный для свадьбы, ко мне в комнату привели невесту, которой я убрала голову моими брильянтами; когда это было сделано, ее повели в придворную церковь для венчания; мне же велели ехать в обществе Чоглоковой и моего двора в дом к Нарышкиным.

А мы жили в Москве во дворце на краю Немецкой слободы; чтобы попасть к Нарышкиным, надо было проехать через всю Москву и сделать по крайней мере семь верст; это было в октябре месяце, около девяти часов вечера; был трескучий мороз и такая гололедица, что можно было ехать только тихим шагом. Я провела по крайней мере два с половиной часа в дороге туда и столько же оттуда, и не было ни одного человека из моей свиты и ни одной лошади, кто бы не упал один или несколько раз. Наконец, доехав до Казанской церкви, которая возле ворот, называемых Троицкими, мы встретили другое затруднение: в этой церкви венчали в тот самый час сестру Ив [ана] Ив [ановича] Шувалова[81], которую причесывала императрица в то время, как я причесывала Румянцеву, и у этих ворот скопились и спутались кареты; мы останавливались на каждом шагу, потом возобновились падения, так как ни одна лошадь не была подкована на шипы; наконец мы прибыли, нельзя сказать, однако, чтобы в самом лучшем настроении.

Мы очень долго ждали новобрачных, с которыми случились приблизительно те же приключения, что и с нами. Великий князь сопровождал новобрачных, потом ждали еще императрицу, наконец сели за стол; после ужина сделали несколько туров парадных танцев по комнате, потом нам велели вести новобрачных в их спальню. Для этого пришлось пройти по нескольким очень холодным коридорам, подняться по нескольким лестницам, не менее холодным, потом проходить через длинные галереи, сколоченные на скорую руку из сырых досок, по которым вода текла со всех сторон.

Наконец, дойдя до покоев, мы сели за стол, на котором было накрыто угощение; там оставались, чтобы выпить только за

здоровье новобрачных, потом повели молодую в спальню и вернулись, чтобы ехать домой. На следующий день вечером пришлось туда снова поехать. Кто бы подумал, что вся эта суматоха, вместо того чтобы повредить моему здоровью, нисколько не помешала моему выздоровлению; на следующий день я лучше чувствовала себя, чем накануне.

В начале зимы я увидела, что великий князь очень беспокоится. Я не знала, что это значит; он больше не дрессировал своих собак, раз по двадцати на дню приходил в мою комнату, имел очень огорченный вид, был задумчив и рассеян; он накупил себе немецких книг, но каких книг? Часть их состояла из лютеранских молитвенников, а другая – из историй и процессов каких-то разбойников с большой дороги, которых вешали или колесовали. Он читал это поочередно, когда не играл на скрипке. Так как он обыкновенно недолго хранил на сердце то, что его удручало, и так как ему некому было рассказать об этом, кроме меня, то я терпеливо выжидала, что он мне скажет.

Наконец однажды он мне открыл, что его мучило; я нашла, что дело несравненно серьезнее, чем я предполагала. В течение почти всего лета, по крайней мере во время пребывания в Раеве и по дороге в Троицкий монастырь, я видела великого князя почти только за столом и в постели; он ложился после того, как я уже спала, и уходил раньше, чем я просыпалась; остальное время почти все проходило в охоте и в приготовлениях к охоте. Чоглоков получил от обер-егермейстера, под предлогом развлечения великого князя, две своры: одну из русских собак и с егерями, другую из французских или немецких собак; к этой были приставлены старый доезжачий-француз, мальчик-курляндец и один немец. Так как Чоглоков стал заправлять русской сворой, Его Императорское Высочество взял на себя иностранную свору, которой Чоглоков вовсе не интересовался; каждый из них входил во все мелочи, касающиеся его части, следовательно, Его Императорское Высочество ходил сам постоянно на псарню, или же охотники приходили докладывать ему о состоянии своры, об ее приключениях и нуждах, и, наконец, коли пошло начистоту, он связался с этими людьми, закусывал и выпивал с ними; на охоте он был всегда среди них. В Москве стоял тогда Бутырский полк; в этом полку был поручик Асаф Батурин[82], весь в долгу, игрок и всюду известный за большого негодяя, впрочем, человек очень решительный. Не знаю, по какой случайности или каким образом этот человек свел знакомство с охотниками французской своры, но думаю, что те и другие стояли возле села Мытищи или Алексеевского; словом, как бы то ни было, охотники сказали великому князю, что у них был знакомый, поручик Бутырского

полка, который выказывает большую преданность Его Императорскому Высочеству и утверждает, что весь полк с ним заодно.

Великий князь охотно выслушал этот рассказ и захотел узнать подробности о полке через своих охотников; ему передали много дурного о начальниках и много хорошего о подчиненных. Батурин, все через охотников, попросил быть представленным великому князю на охоте; на это великий князь вначале согласился не сразу, но затем он стал поддаваться; мало-помалу случилось то, что, когда великий князь был однажды на охоте, Батурин встретился в укромном местечке; при виде его и пав перед ним на колени, Батурин сказал ему, что он клянется не признавать никакого другого государя, кроме него, и что он сделает все, что великий князь прикажет.

Великий князь сказал мне, что он, великий князь, услышав эту клятву, испугался, пришпорил лошадь, оставив Батурина на коленях в лесу, и что охотники, которые его представили, не слышали, что тот сказал. Великий князь утверждал, что он более не имел никаких сношений с этим человеком и что он даже предупредил охотников, чтобы они остерегались, как бы этот человек не принес им несчастья. Его настоящее беспокойство происходило оттого, что охотники ему только что сказали, что Батурин был арестован и переведен в Преображенское, где была Тайная канцелярия, которая ведала государственные преступления. Его Императорское Высочество дрожал за своих охотников и очень боялся оказаться замешанным. Что касается охотников, его опасения вскоре осуществились, ибо он узнал несколько дней спустя, что они были арестованы и отвезены в Преображенское.

Я старалась уменьшить его тревогу, указывая ему, что если он действительно не входил ни в какие переговоры с этим человеком, кроме тех, о которых мне говорил, то, как бы тот ни был виноват, я не думаю, чтобы его, великого князя, очень стали винить за его поступок, который, по-моему, был не больше, как неосторожностью, какую он сделал, связавшись со столь дурной компанией. Затрудняюсь сказать, говорил ли он мне правду; я имею основание думать, что он убавлял, передавая о переговорах, которые, может быть, вел, ибо со мною даже он говорил об этом деле только отрывочными фразами и как будто поневоле; может быть, чрезвычайный страх, который он испытывал, производил на него такое действие.

Вскоре после того он пришел мне сказать, что охотники выпущены на свободу, но с приказанием выслать их за границу, и что они велели ему сказать, что не назвали его, вследствие чего

он прыгал от радости, успокоился, и больше не было и речи об этом деле. Что же касается Асафа Батурина, то его нашли очень виновным. Я не читала и не видела этого дела; но узнала с тех пор, что он замышлял ни более ни менее, как убить императрицу, поджечь дворец и этим ужасным способом, благодаря сумятице, возвести великого князя на престол. Он был осужден, после пытки, к заключению на всю жизнь в Шлиссельбурге, и во время моего царствования за то, что сделал попытку бежать из тюрьмы, был сослан в Камчатку, откуда убежал с Бениовским и был убит в пути, во время грабежа на острове Формоза, в Тихом океане.

Пятнадцатого декабря мы отправились из Москвы в Петербург. Мы ехали день и ночь в санях, которые были открыты. На полдороги у меня снова сделалась сильная зубная боль; несмотря на это, великий князь не соглашался закрыть сани, с трудом соглашался он, чтобы я задернула немного занавеску в кибитке, дабы защититься от холодного и сырого ветра, который дул мне в лицо. Наконец мы приехали в Царское Село, где уже была императрица, обогнавшая нас по обыкновению в пути. Как только я вышла из саней, я пошла в комнаты, нам назначенные, и послала за лейб-медиком императрицы Бургавом[83], племянником знаменитого Бургава, и просила его, чтобы он велел вырвать мне зуб, который меня мучил уже от четырех до пяти месяцев. Он соглашался на это с трудом; но я этого хотела непременно; наконец он послал за Гюйоном, моим хирургом. Я села на пол, Бургав – с одной стороны, Чоглоков – с другой, а Гюйон[84] рвал мне зуб; но в ту минуту, как он его вырвал, глаза мои, нос и рот превратились в фонтан; изо рта лила кровь, из носу и глаз – вода. Тогда Бургав, у которого было много здравого смысла, воскликнул: «Какой неловкий!» – и, велев подать себе зуб, сказал: «Вот этого-то я и боялся, и вот почему не хотел, чтобы его вырвали».

Гюйон, удаляя зуб, оторвал кусок нижней челюсти, в которой зуб сидел. Императрица подошла к дверям моей комнаты в ту минуту, как это происходило; мне сказали потом, что она растрогалась до слез.

Меня уложили в постель, я очень страдала, больше четырех недель, даже в городе, куда мы, несмотря на то, поехали на следующий день, все в открытых санях.

Я вышла из своей комнаты только в половине января 1750 года, потому что все пять пальцев г. Гюйона были отпечатаны у меня синими и желтыми пятнами на щеке, внизу. В первый день нового года, желая причесаться, я увидела, что мальчик-парикмахер, родом калмычонок, которого я воспитала, был очень красен и с очень отяжелевшими глазами; я спросила, что с ним;

он ответил, что у него жар и очень болит голова. Я его отослала, велев ему идти лечь, потому что действительно он еле держался. Он ушел, и вечером мне доложили, что у него оспа; я отделалась страхом, что схвачу оспу, но не заразилась, хоть он мне и причесывал голову.

Императрица оставалась большую часть Масленой в Царском Селе. Петербург был почти пуст; большая часть оставшихся там лиц жили в Петербурге по обязанности, никто – по своей охоте. Все придворные, как только двор побывал в Москве и возвращался в Петербург, спешили брать отпуска на год, на шесть месяцев или хоть на несколько недель, чтобы остаться в Москве. Чиновники, например сенаторы и другие, делали то же самое и, когда боялись не получить отпуска, пускали в ход настоящие или притворные болезни мужей, жен, отцов, матерей, братьев, сестер или детей или же процессы и другие деловые и неотложные хлопоты, – словом, требовалось шесть месяцев, а иногда и более, прежде чем двор и город становились тем, чем были до отъезда двора, а в отсутствие двора петербургские улицы зарастали травой, потому что в городе почти не было карет. При таком положении вещей в настоящую минуту нельзя было рассчитывать на большое общество, особенно для нас, которых держали все взаперти.

Чоглоков вздумал в это время доставить нам развлечение, или, вернее, не зная, что делать самому и жене от скуки, он приглашал нас с великим князем приходить ежедневно после обеда играть у него в покоях, которые он занимал при дворе и которые состояли из четырех-пяти довольно маленьких комнат. Он звал туда дежурных кавалеров и дам и принцессу Курляндскую, дочь герцога Эрнста Иоганна Бирона, прежнего фаворита императрицы Анны. Императрица Елисавета вернула этого герцога из Сибири, куда во время регентства принцессы Анны он был сослан; местом жительства ему назначили Ярославль, на Волге; там он и жил: с женою, двумя сыновьями и дочерью. Эта дочь не была ни красива, ни мила, ни стройна, ибо она была горбата и довольно мала ростом, но у нее были красивые глаза, ум и необычайная способность к интриге; ее отец и мать не очень ее любили; она уверяла, что они постоянно дурно с ней обращались.

В один прекрасный день она убежала из родительского дома и укрылась у жены ярославского воеводы, Пушкиной. Эта женщина в восторге, что может придать себе значение при дворе, привезла ее в Москву, обратилась к Шуваловой и бегство принцессы Курляндской из родительского дома объяснила как следствие преследований, которые она терпела от родителей за

то, что выразила желание перейти в православие.

В самом деле, первое, что она сделала при дворе, было действительно ее исповедание веры; императрица была ее крестной матерью, после чего ей отвели помещение среди фрейлин. Чоглоков особенно старался выказывать ей внимание, потому что старший брат принцессы положил основание его благополучию, взяв его из Кадетского корпуса, где он воспитывался, в кавалергарды, и держал его при себе для посылок. Принцесса Курляндская, втершаяся таким образом к нам и игравшая каждый день в триссет в течение нескольких часов с великим князем, с Чоглоковым и со мною, вела себя вначале с большою сдержанностью: она была вкрадчива, и ум ее заставлял забывать, что у нее было неприятного в наружности, особенно когда она сидела; она каждому говорила то, что могло ему нравиться.

Все смотрели на нее как на интересную сироту, к ней относились как к особе почти без всякого значения. Она имела в глазах великого князя другое достоинство, которое было немаловажным: это была своего рода иностранная принцесса и тем более немка, следовательно, они говорили вместе только по-немецки. Это придавало ей прелести в его глазах; он начал оказывать ей столько внимания, сколько был способен; когда она обедала у себя, он посылал ей вниз и некоторые любимые блюда со своего стола, и, когда ему попадалась какая-нибудь новая гренадерская шапка или перевязь, он их посылал к ней, чтобы она посмотрела. Это было не единственное приобретение, которое двор сделал в Москве в лице этой Курляндской принцессы, которой могло быть тогда от двадцати четырех до двадцати пяти лет.

Императрица взяла ко двору двух графинь Воронцовых, племянниц вице-канцлера, дочерей графа Романа[85], его младшего брата. Старшей, Марии[86], могло быть около четырнадцати лет, ее сделали фрейлиной императрицы; младшая, Елисавета[87], имела всего одиннадцать лет; ее определили ко мне; это была очень некрасивая девочка, с оливковым цветом лица и неопрятная до крайности. Они обе начали в Петербурге с того, что схватили при дворе оспу, и младшая стала еще некрасивее, потому что черты ее совершенно обезобразились и все лицо покрылось не оспинами, а рубцами.

К концу Масленой императрица вернулась в город. На первой неделе Поста мы начали говеть. В среду вечером я должна была пойти в баню, в доме Чоглоковой; но накануне вечером Чоглокова вошла в мою комнату, где находился и великий князь, и передала ему от императрицы приказание тоже идти в баню. А бани и все

другие русские обычаи и местные привычки не только не были по сердцу великому князю, но он даже смертельно их ненавидел. Он наотрез сказал, что не сделает ничего подобного; Чоглокова, тоже очень упрямая и не знавшая в своем разговоре никакой осторожности, сказала ему, что это значит не повиноваться Ее Императорскому Величеству. Он стал утверждать, что не надо приказывать того, что противно его натуре, что он знает, что баня, где он никогда не был, ему вредна, что он не хочет умереть, что жизнь ему дороже всего и что императрица никогда его к такой вещи не принудит. Чоглокова возразила, что императрица сумеет наказать его за сопротивление. Тут он рассердился и сказал ей вспыльчиво: «Увидим, что она мне сделает, я не ребенок». Тогда Чоглокова стала ему угрожать, что императрица посадит его в крепость. Ввиду этого он принялся горько плакать, и они наговорили друг другу всего, что бешенство могло им внушить самого оскорбительного, и у обоих буквально не было здравого смысла.

В конце концов она ушла и сказала, что передаст слово в слово этот разговор императрице. Не знаю, что она сделала, но она вернулась, и разговор принял другой оборот, ибо она сказала, что императрица говорила и очень сердилась, что у нас еще нет детей и что она хотела знать, кто из нас двоих в том виноват, что мне она пришлет акушерку, а ему – доктора; она прибавила ко всему этому много других обидных и бессмысленных вещей и закончила словами, что императрица освобождает нас от говения на этой неделе, потому что великий князь говорит, что баня повредит его здоровью. Надо знать, что во время этих разговоров я не открывала рта: во-первых, потому, что оба говорили с такою запальчивостью, что я не находила, куда бы вставить слово; во-вторых, потому, что я видела, что с той и другой стороны говорят совершенно безрассудные вещи. Я не знаю, как судила об этом императрица, но, как бы то ни было, больше не поднимался вопрос ни о том, ни о другом предмете после того, что только что я рассказала.

В половине Поста императрица поехала в Гостилицы к графу Разумовскому, чтобы отпраздновать там его именины, и она послала нас со своими фрейлинами и с нашей обычной свитой в Царское Село. Погода была необыкновенно мягкая и даже жаркая, так что 17 марта не было больше снегу, и пыль стояла по дороге. Приехав в Царское Село, великий князь и Чоглоков принялись охотиться; я же и дамы делали как можно больше прогулок то пешком, то в экипажах; вечером играли в различные игры. Здесь великий князь стал выказывать решительное пристрастие к принцессе Курляндской, особенно выпивши вечером за ужином,

что случалось с ним почти каждый день; он не отходил от нее больше ни на шаг, говорил только с нею, – одним словом, дело это быстро шло вперед в моем присутствии и на глазах у всех, что начинало оскорблять мое тщеславие и самолюбие; мне обидно было, что этого маленького урода предпочитают мне.

Однажды вечером, когда я вставала из-за стола, Владиславова сказала мне, что все возмущены тем, что эту горбунью предпочитают мне; я ей ответила: «Что делать!» – у меня навернулись слезы, и я пошла спать. Только что я улеглась, как великий князь пришел спать. Так как он был пьян и не знал, что делает, то стал мне говорить о высоких качествах своей возлюбленной; я сделала вид, что крепко сплю, чтобы заставить его поскорее замолчать; он стал говорить еще громче, чтобы меня разбудить, и, видя, что я не подаю признаков жизни, довольно сильно ткнул меня раза два-три кулаком в бок, ворча на мой крепкий сон, повернулся и заснул. Я очень плакала в эту ночь – и из-за всей этой истории, и из-за положения, столь же неприятного во всех отношениях, как и скучного.

На следующий день, казалось, ему было стыдно за то, что он сделал; он мне об этом не говорил, я сделала вид, что не почувствовала. Мы вернулись два дня спустя в город; на последней неделе Поста мы возобновили наше говение; великому князю не говорили больше о том, чтобы идти в баню. С ним случилось на этой неделе другое приключение, которое немного его озаботило. В своей комнате в то время он был так или иначе целый день в движении; в тот день он щелкал громадным кучерским кнутом, который нарочно себе заказал; он размахивал им по комнате направо и налево и заставлял своих камер-лакеев шибко бегать из угла в угол, так как они боялись, что он их исполосует. Не знаю, как это он сделал, но, как бы то ни было, он сам очень сильно хватил себя по щеке; рубец шел вдоль всей левой части лица и был до крови; он очень встревожился, боясь, что ему даже на Пасхе нельзя будет выходить из-за этого и что императрица из-за его окровавленной щеки снова запретит ему говеть, а когда узнает о причине, то его щелканье кнутом навлечет на него неприятный выговор. В своем несчастии он поспешил прибегнуть ко мне за советом, что всегда делал в таких случаях.

Итак, он прибежал с окровавленной щекой; я воскликнула при виде его: «Боже мой, что с вами случилось?» Он рассказал мне тогда, в чем дело. Подумав немного, я сказала: «Ну, может быть, я вам помогу; прежде всего идите к себе и постарайтесь, чтобы вашу щеку видели как можно меньше; я приду к вам, когда достану то, что мне нужно, и надеюсь, что никто этого не

заметит». Он ушел, а я вспомнила, что несколько лет назад я упала в Петергофском саду, расцарапала щеку до крови и мой хирург Гюйон дал мне мазь из свинцовых белил; я покрыла царапину, не переставала выходить, и никто даже не заметил, что у меня была оцарапана щека. Я сейчас же послала за этой мазью и, когда мне ее принесли, пошла к великому князю и так хорошо замазала ему щеку, что он даже сам ничего не видел в зеркало.

В четверг мы причащались с императрицей в большой придворной церкви, и, когда причастились и вернулись на наши места, свет упал на щеку великому князю; Чоглоков подошел к нам, чтобы сказать что-то, и, взглянув на великого князя, заметил ему: «Вытрите щеку, на ней мазь». На это я сказала великому князю, как бы шутя: «А я, ваша жена, запрещаю вам вытирать ее». Тогда великий князь сказал Чоглокову: «Видите, как эти женщины с нами обращаются, мы не смеем даже вытереться, когда это им не угодно».

Чоглоков засмеялся и сказал: «Вот уж настоящий женский каприз». Дело тем и закончилось, и великий князь был мне очень признателен и за мазь, которая оказала ему услугу, выручив его из неприятности, и за мою находчивость, не оставившую ни малейшего подозрения даже в Чоглокове.

Так как в ночь на Пасху надо было не спать, я легла в Великую субботу около пяти часов дня, чтобы поспать до того часу, как надо будет одеваться. Как только я легла, великий князь прибежал со всех ног сказать мне, чтобы я немедленно вставала и шла есть только что привезенные из Голштинии совсем свежие устрицы. Для него было большим и двойным праздником, когда они приходили; он их любил, и вдобавок они были из Голштинии, его родины, к которой он имел особое пристрастие, но которой он не правил от этого лучше и в которой он делал или его заставляли делать ужасные вещи, как это будет видно впоследствии. Не встать – значило бы разобидеть его и подвергнуться очень большой ссоре; итак, я встала и пошла к нему, хотя и была измучена исполнением всех обрядов говения в течение Страстной недели. Устрицы уже были поданы, когда я пришла к нему; я съела дюжину, после чего он позволил мне вернуться к себе, чтобы снова лечь, а сам остался доканчивать устрицы. Не есть слишком много устриц значило тоже угодить ему, потому что ему оставалось больше, а он был очень жаден до них. В двенадцать часов я встала и оделась, чтобы идти к Пасхальной заутрене и обедне, но не могла оставаться до конца службы из-за сильных колик, которые со мною случились; не помню, чтобы когда-либо в жизни у меня были такие сильные боли; я вернулась к себе в комнату только с княжной Гагариной,

все мои люди были в церкви. Она помогла мне раздеться, лечь, послала за докторами; мне дали лекарство; я провела первые два дня праздника в постели.

Приблизительно около того времени или немного ранее, приехали в Россию граф Берни, посол Венского двора, граф Линар, посланник датский, и генерал Арним, посланник саксонский; последний привез с собою свою жену, рожденную Гойм. Граф Берни был из Пьемонта; ему было тогда за пятьдесят; он был умен, любезен, весел и образован и такого характера, что молодые люди его предпочитали и больше развлекались с ним, нежели со своими сверстниками. Он был вообще любим и уважаем, и я тысячу раз говорила и повторяла, что если бы этот или ему подобный человек был приставлен к великому князю, то это было бы великим благом для этого принца, который так же, как я, оказывал графу Берни привязанность и особый почет и отличие. Великий князь сам говорил, что с таким человеком возле себя стыдно было бы делать глупости. Прекрасные слова, которых и я никогда не забывала. Граф Берни имел при себе кавалером посольства графа Гамильтона, мальтийского кавалера.

Как-то раз, когда я при дворе спросила у него о здоровье посла графа Берни, который был болен, мне вздумалось сказать кавалеру Гамильтону, что я самого высокого мнения о графе Батиани[88], которого императрица-королева Мария Терезия назначила тогда воспитателем двоих старших сыновей своих, эрцгерцогов Иосифа и Карла, потому что его предпочли в этой должности графу Берни. В 1780 году, когда я имела свое первое свидание с императором Иосифом II[89] в Могилеве, Его Императорское Величество сказал мне, что ему известно это мое суждение; я ему возразила, что он знает об этом, вероятно, от графа Гамильтона, который состоял при этом государе после того, как он вернулся из России; он мне сказал тогда, что я верно отгадала и что граф Берни, которого он не знал, оставил по себе репутацию человека, более пригодного для этой должности, чем его прежний воспитатель. Граф Динар, посланник Датского короля, был отправлен в Россию, чтобы вести переговоры об обмене Голштинии, принадлежавшей великому князю, на графство Ольденбург. Это был человек, соединявший в себе, как говорили, большие знания с такими же способностями; внешностью он походил на самого настоящего фата. Он был статен, хорошо сложен, рыжевато-белокурый, с белым, как у женщины, цветом лица; говорят, он так холил свою кожу, что ложился спать не иначе, как намазав лицо и руки помадой, и надевал на ночь перчатки и маску. Он хвастался тем, что имел восемнадцать детей, и уверял, что всех кормилиц своих детей

приводил в положение, в котором они вторично могли кормить.

Этот граф Динар, такой белый, носил датский белый орден, и у него не было другого платья, кроме самых светлых цветов, как, например, голубого, абрикосового, сиреневого, телесного и проч., хотя в то время на мужчинах еще редко можно было видеть такие светлые цвета. Великий канцлер граф Бестужев и его жена принимали у себя графа Динара как родного, очень с ним носились, но это не уберегло его фатоватости от насмешек. Против него было еще одно обстоятельство, состоявшее в том, что еще довольно свежо было в памяти, как брат его был более чем хорошо принят принцессой Анной, регентство которой все осуждали. А с тех пор как этот человек приехал, он не нашел ничего более неотложного, как хвастаться возложенными на него переговорами относительно обмена Голштинии на графство Ольденбург. Великий канцлер граф Бестужев призвал к себе Пехлина, министра Голштинского герцогства при великом князе, и рассказал ему то, с чем Динар приехал.

Пехлин сделал об этом доклад великому князю. Этот страстно любил свою Голштинскую страну. С Москвы уже представляли Его Императорскому Высочеству о ее несостоятельности. Он попросил денег у императрицы. Она дала ему немного; эти деньги не дошли до Голштинии, но ими были уплачены самые неотложные долги Его Императорского Высочества в России. Пехлин представлял дела в Голштинии со стороны финансов безнадежными; это Пехлину было не трудно, потому что великий князь полагался на него в управлении и мало или вовсе не обращал на него внимания, так что однажды Пехлин, выведенный из терпения, сказал ему, медленно отчеканивая слова: «Ваше Высочество, от государя зависит вмешиваться или не вмешиваться в дела его страны; если он не вмешивается, страна управляется сама собою, но управляется плохо». Этот Пехлин был человек очень маленький и очень толстый, носил громадный парик, но он не лишен был ни знаний, ни способностей; в этой короткой и толстой фигуре жил ум тонкий и проницательный; его обвиняли только за неразборчивость в средствах. Великий канцлер граф Бестужев имел к нему большое доверие, и это был один из его ближайших доверенных. Пехлин докладывал великому князю, что слушать – не значит вести переговоры, а от ведения переговоров до принятия условий еще очень далеко, что в его власти будет всегда прервать их, когда он найдет это нужным, – словом, мало-помалу он заставил его разрешить Пехлину выслушать предложения датского посланника и этим переговоры были открыты. В сущности, они огорчали великого князя; он стал мне о

них говорить. Я, которая была воспитана в старинной вражде Голштинского дома против Датского и которой всегда проповедовали, что граф Бестужев всегда имел только вредные великому князю и мне планы, я приняла известие об этих переговорах с большим раздражением и беспокойством и противодействовала им у великого князя, сколько могла; мне, впрочем, кроме него, никто не говорил об этом ни слова, и ему предписывали держать это в величайшей тайне, в особенности, прибавляли, по отношению к дамам. Я думаю, что это предостережение касалось меня больше, нежели других; но в этом ошибались, потому что первым делом великого князя было сказать мне об этом.

Чем больше подвигались переговоры, тем больше старались выставить их великому князю в благоприятном и заманчивом виде; часто я видела его в восхищении от того, что он приобретет; затем он испытывал мучительные колебания и сожаления о том, что ему приходилось потерять. Когда видели, что он колеблется, замедляли переговоры и возобновляли их лишь после того, как изобретали какую-нибудь новую приманку, чтобы заставить его видеть вещи в благоприятном свете.

В начале весны нас перевели на житье в Летний сад, в маленький Петровский домик, где комнаты выходят прямо в сад; ни каменной набережной, ни моста на Фонтанке тогда еще не существовало. В этом домике у меня было одно из самых сильных огорчений, какие я имела в царствование императрицы Елисаветы. Как-то раз утром пришли сказать мне, что императрица уволила от меня моего старинного камердинера Тимофея Евреинова. Предлогом для этого изгнания была ссора Евреинова в моей гардеробной с человеком, подававшим нам кофе; на эту ссору пришел великий князь и услышал часть ругательств, которыми они обменивались. Противник Евреинова пошел жаловаться Чоглокову и сказал, что тот наговорил ему, без всякого уважения к присутствию великого князя, массу грубостей. Чоглоков тотчас же доложил об этом императрице, которая велела обоих уволить от двора, и Евреинова сослали в Казань, где он был впоследствии полицмейстером. Правда в этом деле заключалась в том, что и Евреинов, и другой лакей были к нам очень привязаны, особенно первый, и это было лишь давно желанным предлогом, чтобы удалить его от меня; у него было на руках все, что мне принадлежало.

Императрица приказала, чтобы человек, которого Евреинов взял в помощники и которого звали Шкуриным[90], занял его место; к этому человеку я не имела тогда никакого доверия. Вскоре нас перевели из Петровского домика в Летний деревянный

дворец, где нам приготовили новые покои; одна сторона дворца выходила на Фонтанку, которая была тогда лишь грязным болотом, а другая – на гадкий узкий дворишко.

В Троицын день императрица приказала мне пригласить супругу саксонского посланника г-жу Арним поехать со мною верхом в Екатерингоф. Эта женщина хвасталась, что любит ездить верхом, и уверяла, что справляется с этим отлично; императрица хотела видеть, насколько это правда. Я послала пригласить госпожу Арним ехать со мною. Это была высокая, стройная женщина лет двадцати пяти – двадцати шести, несколько худощавая и очень некрасивая, лицо у нее было слишком длинное и рябоватое, но так как она хорошо одевалась, то издали она производила известный эффект и казалась довольно беленькой. Арним пришла ко мне около пяти часов пополудни, одетая с головы до ног в мужской костюм из красного сукна, обшитого золотым галуном; куртка была зеленая гродетуровая, тоже вышитая золотом. Она не знала, куда девать шляпу и руки, и показалась нам довольно неуклюжей. Так как я знала, что императрица не любит, чтобы я ездила верхом по-мужски, то я велела приготовить себе английское дамское седло и надела английскую амазонку из очень дорогой материи, голубой с серебром, отделанную хрустальными пуговицами, которые до неузнаваемости походили на брильянты, и черная шапочка моя была окружена шнурком из брильянтов. Я спустилась, чтоб садиться на лошадь; в эту минуту императрица пришла к нам в комнаты посмотреть, как мы поедем. Так как я была тогда очень ловка и очень привычна к верховой езде, то, как только я подошла к лошади, так на нее и вскочила; юбку, которая у меня была разрезная, я спустила по бокам лошади.

Мне передали, что императрица, видя, с каким проворством и ловкостью я вскочила на лошадь, изумилась и сказала, что нельзя быть лучше меня на лошади; она спросила, на каком я седле, и, узнав, что на дамском, сказала: «Можно поклясться, что она на мужском седле». Когда очередь дошла до Арним, она не блеснула ловкостью перед Ее Императорским Величеством. Эта дама велела привести свою лошадь из дому; то была старая вороная кляча, очень большая и тяжелая и, как уверяли наши придворные, упряжная из ее кареты. Ей понадобилась лесенка, чтобы влезть. Все это сопровождалось всякими церемониями, и, наконец, с помощью нескольких лиц она уселась на свою клячу, которая пошла довольно неровной рысью, так что порядком трясла даму, которая не была тверда ни в седле, ни в стременах и которая держалась рукой за луку. Видя, что она села, я поехала вперед, а за мной кто мог, тот и поспевал.

Я догнала великого князя, который уехал вперед, а Арним со своей клячей осталась позади. Мне говорили, что императрица очень смеялась и не осталась довольна верховой ездою Арним. На некотором расстоянии от двора, кажется Чоглокова, ехавшая в карете, взяла к себе эту даму, терявшую то шляпу, то стремена; наконец нам ее доставили в Екатерингоф, но приключения этим еще не закончились. В этот день шел дождь до трех часов пополудни, и площадка у лестницы Екатерингофского дома была покрыта лужами; сойдя с лошади и пробыв некоторое время в зале этого дома, где было много народу, я вздумала пройти через открытый подъезд в комнату, где были мои женщины. Арним хотела идти за мною, и так как я шла очень скоро, то она поспевала только бегом, попала в лужу, поскользнулась и растянулась во весь рост, – это вызвало смех многочисленных зрителей, бывших на крыльце. Она поднялась немного сконфуженная, свалила всю вину своего падения на новые сапоги, которые в этот день надела. Мы вернулись с прогулки в карете, и по дороге Арним расхваливала нам доброту своей клячи, а мы кусали губы, чтоб не рассмеяться. Одним словом, в течение нескольких дней она была посмешищем двора и города. Мои женщины уверяли, что она упала потому, что хотела мне подражать, не будучи так ловка, как я. Чоглокова, которая не была смешлива, хохотала до слез, когда ей об этом напоминали, и даже долгое время спустя.

Из Летнего дворца мы отправились в Петергоф, где в этом году жили в Монплезире. Мы проводили постоянно часть дня у Чоглоковой, и так как у нее бывал народ, то там было довольно весело. Оттуда мы отправились в Ораниенбаум, где каждый божий день бывали на охоте и иногда проводили по тринадцати часов на лошади. Лето было, однако, довольно дождливое; помню, что однажды, когда я возвращалась домой вся промокшая, я встретила своего портного, который мне сказал: «Как вы себя отделали; не удивляюсь, что едва поспеваю шить амазонки и что у меня постоянно требуют новых». Я носила их только из шелкового камлота; от дождя они садились, от солнца – выгорали, а следовательно – мне и нужны были все новые.

В это время я придумала себе седла, на которых можно было сидеть как угодно; они были с английским крючком, и можно было перекидывать ногу, чтобы сидеть по-мужски; кроме того, крючок отвинчивался и другое стремя спускалось и поднималось, как угодно и смотря по тому, что я находила нужным. Когда спрашивали у берейторов, как я езжу, они отвечали: «На дамском седле, согласно с волей императрицы»; они не лгали; я перекидывала ногу только тогда, когда была уверена, что меня

не выдадут, и так как я вовсе не хвасталась своей выдумкой и все были рады мне угодить, то я и не имела никаких неприятностей; великому князю было все равно, как я езжу; что касается берейторов, то они находили, что для меня менее риску ездить по-мужски, особенно гоняясь постоянно на охоте, нежели на английском седле, которое они ненавидели, боясь всегда какого-нибудь несчастного случая, за который, может быть, их потом обвинят.

По правде сказать, я была очень равнодушна к охоте, но страстно любила верховую езду; чем это упражнение было вольнее, тем оно было мне милее, так что если какая-нибудь лошадь убегала, то я догоняла ее и приводила назад. В это время у меня также всегда была с собою в кармане книга, и, если я находила свободную минутку, я употребляла ее на чтение. Я заметила на этих охотах, что Чоглоков становится гораздо мягче, особенно со мною; это внушило мне опасение, как бы он не вздумал ухаживать за мною, что мне отнюдь не было на руку; во-первых, сама особа его нисколько мне не нравилась: он был белокурый, хлыщеватый, очень толстый и так же тяжел умом, как и телом; его все ненавидели, как жабу, и он совершенно ничем не был приятен; ревность его жены, ее злость и недоброжелательность были также вещами, которых следовало избегать, особенно мне, не имевшей на свете никакой другой опоры, кроме себя самой и своих достоинств, если они у меня были. А потому я остерегалась и избегала, как мне казалось, очень ловко всех преследований Чоглокова, но таким образом, что ему никогда не приходилось жаловаться на мое обращение. Это было отлично замечено его женою, которая была мне за это благодарна и которая меня впоследствии очень полюбила, отчасти из-за этого, как я потом расскажу.

При нашем дворе было двое камергеров Салтыковых, сыновей генерал-адъютанта Василия Федоровича Салтыкова, жена которого, Мария Алексеевна, рожденная княжна Голицына, мать этих двух молодых людей, была в большой чести у императрицы за отличные услуги, оказанные ей при вступлении ее на престол, когда она проявила ей редкую верность и преданность. Младший из ее сыновей, Сергей[91], недавно женился на одной из фрейлин императрицы, Матрене Павловне Балк. Старшего его брата звали Петром, это был дурак в полном смысле слова, у него была самая глупая физиономия, какую я только видела в моей жизни. Большие неподвижные глаза, вздернутый нос и всегда полуоткрытый рот; при этом он был сплетник первого сорта и, как таковой, был довольно хорошо принят у Чоглоковых, которые, впрочем, считали его незначащим человеком. Я подозреваю, что

это Владиславова, в качестве старинной знакомой матери этого дурака, и внушила Чоглоковым мысль женить его на принцессе Курляндской. Как бы то ни было, но он стал в ряды ее поклонников, сделал предложение, получил ее согласие, а его родители просили согласия императрицы. Великий князь узнал об этом только тогда, когда дело было уже совсем слажено.

По возвращении нашем в город он был этим сильно рассержен и дулся на принцессу Курляндскую. Не знаю, какие привела она ему доводы, но как бы то ни было, хоть он и очень не одобрял ее замужества, но все же она сохранила часть его привязанности и продолжала иметь от него некоторого рода влияние еще очень долгое время. Я была в восторге от этого брака и велела вышить великолепный свадебный костюм для жениха. Тогда свадьбы при дворе по получении согласия императрицы совершались только по истечении нескольких лет ожидания, потому что Ее Императорское Величество сама назначала день, очень часто надолго это забывала, а когда ей напоминали, она откладывала с одного срока на другой. Так было в данном случае и с этой свадьбой. Осенью мы возвратились в город, и я имела удовольствие видеть, как принцесса Курляндская и Петр Салтыков благодарили Ее Императорское Величество за согласие, которое она соизволила дать на их брак. Впрочем, семья Салтыковых была одна из самых древних и знатных в империи. Она даже была в свойстве с императорским домом через мать императрицы Анны, которая была Салтыковой, но от другой ветки, чем эти, между тем как Бирон, сделанный принцем Курляндским по милости императрицы Анны, был только сыном бедного мелкого фермера одного курляндского дворянина. Этого фермера звали Бирен, но фавор, которым пользовался в России сын, сделал то, что семья Биронов во Франции приняла его в свой род, по уговору кардинала Флери[92], который, желая привлечь русский двор, поощрял честолюбие и тщеславие Бирена, герцога Курляндского. Как только мы вернулись в город, нам сказали, что, кроме двух дней в неделю, уже назначенных для французской комедии, будут еще два раза в неделю маскарады. Великий князь прибавил к этому еще один день для концертов у него, а по воскресеньям обыкновенно был куртаг. Итак, мы собирались провести довольно веселую и оживленную зиму.

Один из маскарадных дней был только для двора и для тех, кого императрице угодно было допустить; другой – для всех сановных лиц города, начиная с чина полковника, и для тех, кто служил в гвардии в офицерских чинах; иногда допускалось и на этот бал дворянство и наиболее именитое купечество. Придворные балы не превышали числом человек полтораста –

двести; на тех же, которые назывались публичными, бывало до восьмисот масок. Императрице вздумалось в 1744 году в Москве заставлять всех мужчин являться на придворные маскарады в женском платье, а всех женщин – в мужском, без масок на лице; это был собственный куртаг навыворот.

Мужчины были в больших юбках на китовом усе, в женских платьях и с такими прическами, какие дамы носили на куртагах, а дамы – в таких платьях, в каких мужчины появлялись в этих случаях. Мужчины не очень любили эти дни превращений; большинство были в самом дурном расположении духа, потому что они чувствовали, что они были безобразны в своих нарядах; женщины большею частью казались маленькими, невзрачными мальчишками, а у самых старых были толстые и короткие ноги, что не очень-то их красило. Действительно и безусловно хороша в мужском наряде была только сама императрица, так как она была очень высока и немного полна; мужской костюм ей чудесно шел; вся нога у нее была такая красивая, какой я никогда не видала ни у одного мужчины, и удивительно изящная ножка. Она танцевала в совершенстве и отличалась особой грацией во всем, что делала, одинаково в мужском и в женском наряде. Хотелось бы все смотреть, не сводя с нее глаз, и только с сожалением их можно было оторвать от нее, так как не находилось никакого предмета, который бы с ней сравнялся. Как-то на одном из этих балов я смотрела, как она танцует менуэт; когда она закончила, она подошла ко мне; я позволила себе сказать ей, что счастье женщин, что она не мужчина и что один ее портрет, написанный в таком виде, мог бы вскружить голову многим женщинам. Она очень хорошо приняла то, что я ей сказала от полноты чувств, и ответила мне в том же духе самым милостивым образом, сказав, что если бы она была мужчиной, то я была бы той, которой она дала бы яблоко. Я наклонилась, чтобы поцеловать ей руку за такой неожиданный комплимент; она меня поцеловала, и все общество старалось отгадать, что произошло между императрицей и мною. Я не утаила этого от Чоглоковой, которая пересказала на ухо двум-трем лицам, и из уст в уста через четверть часа почти все это узнали.

Когда двор был в последний раз в Москве, князь Юсупов, сенатор и директор Кадетского корпуса, был главным командиром города Санкт-Петербурга, где он оставался в отсутствие двора. Для собственного развлечения и увеселения главных особ, которые там с ним находились, он заставлял кадетов играть поочередно лучшие трагедии, как русские, которые тогда сочинял Сумароков, так и французские трагедии Вольтера. В этих последних сии молодые люди так же плохо

произносили слова, как играли, и так как женские роли исполнялись тоже кадетами, то эти пьесы вообще были изуродованы. По возвращении своем из Москвы императрица приказала, чтобы пьесы Сумарокова были разыграны при дворе этой труппой молодых людей. Императрица находила удовольствие в этих представлениях, и вскоре заметили, что она смотрела на эту игру с большим, нежели можно было ожидать, интересом.

Театр, который был устроен в одной из зал дворца, был перенесен во внутренние ее покои; она находила удовольствие в том, чтобы наряжать актеров; она заказала им великолепные костюмы, и они сплошь были покрыты драгоценными камнями Ее Императорского Величества. Заметили особенно, что первый любовник, довольно красивый восемнадцати– или двадцатилетний юноша, был, как то и полагалось, самый нарядный; но на нем видели и вне театра брильянтовые пряжки, кольца, часы, кружева и очень изысканное белье.

Наконец, он вышел из Кадетского корпуса, и обер-егермейстер граф Разумовский, прежний фаворит императрицы, тотчас же взял его к себе в адъютанты, что этому последнему дало чин капитана. Тогда царедворцы стали делать заключения на свой лад и вообразили, что так как граф Разумовский взял к себе в адъютанты кадета Бекетова[93], то это не могло иметь другой цели, как подорвать фавор камер-юнкера Шувалова, который не был ни в хороших, ни в дружественных отношениях с семьею Разумовских, и отсюда было выведено наконец заключение, что этот молодой человек начинает пользоваться очень большой милостью императрицы.

Узнали, кроме того, что Разумовский приставил к своему новому адъютанту другого юнца, которого он и назначил, Ивана Перфильевича Елагина[94]. Этот последний был женат на прежней горничной императрицы; она-то и позаботилась снабдить молодого человека бельем и кружевами, о которых выше упомянуто; так как она вовсе не была богата, то можно было легко догадаться, что деньги на эти расходы шли не из кошелька этой женщины. Никто не был более заинтригован начинающимся фавором этого молодого человека, как моя фрейлина княжна Гагарина, которая была уже немолода и искала себе партии по вкусу; у нее было свое состояние, она не была красива, но очень умна и ловка, ей во второй раз довелось остановить свой выбор на том самом лице, которое потом пользовалось фавором императрицы: первым был Шувалов, вторым – тот самый Бекетов, о котором только что шла речь. Множество молодых и красивых женщин дружили с княжной Гагариной, кроме того, у нее была

многочисленная родня; родня эта обвиняла Шувалова в том, что он был скрытой причиной тех постоянных выговоров, которые императрица делала княжне Гагариной относительно ее наряда и запрещала ей, как и многим другим молодым дамам, носить те или другие тряпки; от злости на это княжна Гагарина и все молодые хорошенькие придворные дамы на чем свет бранили Шувалова и принялись его ненавидеть, хотя прежде очень любили; он думал их смягчить, ухаживая за ними и передавая им разные любезности через самых доверенных своих людей, а они смотрели на это как на новые оскорбления. Его всюду отталкивали и дурно принимали; все эти женщины смотрели на него как на чуму, от которой надо было бежать. Между тем великий князь подарил мне маленького английского пуделя, какого я хотела иметь.

У меня в комнате был истопник, Иван Ушаков, и ему поручили ходить за этим пуделем. Не знаю, почему, но другие слуги вздумали звать моего пуделя Иваном Ивановичем, по имени этого человека. Пудель этот сам по себе был забавным животным; он ходил большею частью на задних лапках, словно человек, и был необычайно взбалмошный, так что я и мои женщины причесывали и одевали его каждый день по-разному, и чем больше на него напутывали, тем больше он бесновался; он садился с нами за стол, ему надевали салфетку, и он очень чисто ел со своей тарелки; потом он поворачивал голову и тявкал, прося пить у того, кто стоял за его стулом; иногда он влезал на стол, чтобы взять то, что ему приходилось по вкусу, как, например, пирожок или сухарик или что-нибудь в этом роде, что смешило всю компанию. Так как он был мал, то он никого не беспокоил, и ему все позволяли, потому что он не злоупотреблял свободой, которой пользовался, и был образцовой чистоты. Этот пудель забавлял нас в течение всей зимы; летом мы взяли его с собою в Ораниенбаум; камергер Салтыков-младший приехал к нам с женой, и эта последняя и все наши придворные дамы целыми днями только и делали, что шили моему пуделю разные чепцы и одеяния и друг у друга его отбивали. Наконец Салтыкова так его полюбила, что он особенно к ней привязался, и, когда она уезжала, ни пудель не хотел от нее уходить, ни она от него, и она так просила отпустить его с ней, что я отдала его. Она взяла его под мышку и отправилась вместе с пуделем в деревню к своей свекрови, которая тогда была больна.

Свекровь, при виде ее с собакой, выделывавшей разные штуки, захотела узнать ее кличку; услышав, что ее зовут Иваном Ивановичем, она не преминула выразить свое удивление в присутствии разных придворных особ, которые приехали

навестить ее из Петергофа. Последние вернулись ко двору, и через три-четыре дня весь двор и город были заняты рассказами о том, как все молодые женщины, враги Шувалова, имеют каждая по белому пуделю, с кличкой Иван Иванович, в насмешку над фаворитом императрицы, что они заставляют этих пуделей выделывать разные штуки и носить светлые цвета, в которые он любил рядиться. Дело дошло до того, что императрица велела сказать родителям этих молодых дам, что она находит дерзким позволять такие вещи. Пуделю тотчас же переменили кличку, но с ним по-прежнему носились, и он оставался в доме Салтыковых любимцем своих хозяев до самой смерти, несмотря на императорский из-за него выговор. В сущности, это была клевета; только одну эту собаку так называли, да и то она была черная, и о Шувалове не думали, когда давали ей эту кличку.

Что касается Чоглоковой, не любившей Шуваловых, то она делала вид, что не обратила внимания на кличку собаки, которую она, однако, постоянно слышала, и сама не раз кормила эту собаку пирожками и смеялась над ее шалостями и фокусами. Во время последних зимних месяцев и частых придворных балов и маскарадов при дворе снова появились двое прежних моих камер-юнкеров, назначенных полковниками в армию, Александр Вильбуа и граф Захар Чернышев; так как они искренне были ко мне привязаны, то я была очень рада их видеть и сообразно с этим приняла их; они, со своей стороны, пользовались каждым случаем, когда могли дать доказательства своего искреннего расположения.

Я тогда очень любила танцы; на публичных балах я обыкновенно до трех раз меняла платья; наряд мой был всегда очень изысканный, и если надетый мною маскарадный костюм вызывал всеобщее одобрение, то я, наверное, ни разу больше его не надевала, потому что поставила себе за правило: раз платье произвело однажды большой эффект, то вторично оно может произвести уже меньший.

На придворных балах, где публика не присутствовала, я зато одевалась так просто, как могла, и в этом немало угождала императрице, которая не очень-то любила, чтобы на этих балах появлялись в слишком нарядных туалетах. Однако, когда дамам было приказано являться в мужских платьях, я являлась в роскошных платьях, расшитых по всем швам, или в платьях очень изысканного вкуса, и это сходило без всякой критики; наоборот, это нравилось императрице, но я не знаю хорошенько, почему. Надо сознаться, что ухищрения кокетства были тогда очень велики при дворе и что всякий старался отличиться в наряде.

Помню, что как-то раз, на одном из этих публичных

маскарадов, узнав, что все делают себе новые и прекраснейшие платья, и потеряв надежду превзойти всех женщин, я придумала надеть гродетуровый белый корсаж (у меня тогда была очень тонкая талия) и такую же юбку на очень маленьких фижмах; я велела убрать волосы спереди как можно лучше, а назади сделать локоны из волос, которые были у меня очень длинные, очень густые и очень красивые; я велела их завязать белой лентой сзади в виде лисьего хвоста и приколола к ним одну только розу с бутонами и листьями, которые до неузнаваемости походили на настоящие; другую я приколола к корсажу; я надела на шею брыжи из очень белого газу, рукавчики и маленький передник из того же газу и отправилась на бал. В ту минуту, как я вошла, я легко заметила, что обращаю на себя все взоры. Я прошла, не останавливаясь, через всю галерею и вошла в покои, которые составляли другую половину; я встретила императрицу, которая мне сказала: «Боже мой, какая простота! Как! Даже ни одной мушки?» Я засмеялась и ответила, что это для того, чтобы быть легче одетой.

Она вынула из своего кармана коробочку с мушками и выбрала из них одну средней величины, которую прилепила мне на лицо. Оставив ее, я вскоре вернулась в галерею, где показала мушку самым близким, а также фавориткам императрицы, и так как мне было очень весело, то в этот вечер я танцевала больше обыкновенного. Не помню, чтобы когда-либо в жизни я получала столько от всех похвал, как в тот день. Говорили, что я прекрасна, как день, и поразительно хороша; правду сказать, я никогда не считала себя чрезвычайно красивой, но я нравилась, и полагаю, что в этом и была моя сила. Я вернулась домой очень довольная тем, что придумала такую простоту, в то время как остальные наряды были редкой изысканности. В таких развлечениях окончился 1750 год. Г-жа Арним танцевала не лучше, нежели ездила верхом. Помню, как однажды, когда у меня с ней зашло дело о том, чтоб узнать, кто из нас двоих скорее устанет, оказалось, что это она; усевшись на стул, она призналась, что изнемогает, между тем как я еще танцевала.

Часть вторая

В начале 1751 года великий князь, полюбивший так же, как и я, посланника Венского двора графа Берни, вздумал говорить с ним о своих голштинских делах, о долгах, которыми страна эта тогда была обременена, и о начатых с его разрешения переговорах с Данией. Он мне сказал как-то раз, чтоб и я поговорила с графом Берни; я ответила, что, если он мне это приказывает, я не премину это сделать. Действительно, на первом же маскараде я подошла к графу Берни, остановившемуся у балюстрады, за которой танцевали, и сказала, что великий князь приказал мне поговорить с ним о делах Голштинии. Граф Берни выслушал меня с большим интересом и вниманием. Я ему вполне откровенно сказала, что хотя я молода и мне не с кем посоветоваться, в делах, может быть, плохо смыслю и вовсе не имею опыта, который я могла бы привести в свою пользу, но взгляды у меня свои собственные; пусть не хватает для этого многих знаний, но мне кажется прежде всего, что голштинские дела не в таком отчаянном положении, как хотят их представить.

Далее, что касается обмена самого по себе, то я довольно хорошо понимаю, что он может быть полезнее для России, чем лично для великого князя; конечно, ему как наследнику престола должен быть дорог и важен интерес империи; если для этого интереса необходимо нужно, чтоб великий князь отделался от Голштинии, дабы прекратить нескончаемый разлад с Данией, то и тогда дело лишь в том, чтобы, сохраняя пока Голштинию, выбрать наиболее благоприятный момент, когда бы великий князь согласился на это; настоящее время, как мне кажется, не такой момент ни для интереса империи, ни для личной славы великого князя; между тем могло бы наступить время или обстоятельства, которые сделали бы этот акт и более важным, и более славным для него, и, может быть, более выгодным для самой Российской империи; но теперь все это имеет вид явной интриги, которая при удаче придаст великому князю такой вид слабости, от которого он не оправится, может быть, в общественном мнении во всю свою жизнь; он, так сказать, лишь немного дней управляет делами своей страны, он страстно любит эту страну, и, несмотря на это, удалось убедить его обменять ее, неизвестно зачем, на Ольденбург, которого он совсем не знает и который больше удален от России; сверх того, один только Кильский порт в руках великого князя может быть важен для русского мореплавания. Граф Берни вошел во все мои соображения и сказал мне в заключение: «Как посланник на все это я не имею инструкций, но

как граф Берни я думаю, что вы правы». Великий князь сказал мне после этого, что имперский посланник ему сказал: «Все, что я могу сказать вам об этом деле, так это то, что, по моему мнению, ваша жена права, и что вы очень хорошо сделаете, если ее послушаете». Вследствие этого великий князь очень охладел к этим переговорам, что, очевидно, и заметили и что было причиной, по которой стали с ним реже говорить об этом. После Пасхи мы по обыкновению переехали на некоторое время в Летний дворец, а оттуда – в Петергоф. Пребывание здесь с каждым годом становилось короче.

В этом году случилось событие, которое дало придворным пищу для пересудов. Оно было подстроено интригами Шуваловых. Полковник Бекетов, о котором говорилось выше, со скуки и не зная, что делать во время своего фавора, который дошел до такой степени, что со дня на день ждали, кто из двоих уступит свое место другому, то есть Бекетов ли Ивану Шувалову, или последний первому, – вздумал заставлять малышей певчих императрицы петь у себя. Он особенно полюбил некоторых из них за красоту их голоса, и так как и он сам, и его друг Елагин были стихотворцы, то он сочинял для них песни, которые дети пели. Всему этому дали гнусное толкование; знали, что ничто не было так ненавистно в глазах императрицы, как подобного рода порок. Бекетов, в невинности своего сердца, прогуливался с этими детьми по саду: это было вменено ему в преступление. Императрица уехала в Царское Село дня на два и потом вернулась в Петергоф, а Бекетов получил приказание остаться там под предлогом болезни. Он там остался в самом деле с Елагиным, схватил там горячку, от которой чуть не умер, и в бреду он говорил только об императрице, которой был всецело занят; он поправился, но остался в немилости и удалился, после чего был переведен в армию, где не имел никакого успеха. Он был слишком изнежен для военного ремесла.

В это время мы поехали в Ораниенбаум, где бывали каждый день на охоте; к осени вернулись в город.

В сентябре императрица определила камер-юнкером к нашему двору Льва Нарышкина[95]. Он только что вернулся с матерью, братом, женой этого последнего и с тремя своими сестрами из Москвы. Это была одна из самых странных личностей, каких я когда-либо знала, и никто не заставлял меня так смеяться, как он. Это был врожденный арлекин, и если бы он не был знатного рода, к какому он принадлежал, то он мог бы иметь кусок хлеба и много зарабатывать своим действительно комическим талантом: он был очень неглуп, обо всем наслышан, и все укладывалось в его голове оригинальным образом.

Он был способен создавать целые рассуждения о каком угодно искусстве или науке; употреблял при этом технические термины, говорил по четверти часа и более без перерыву, и в конце концов ни он и никто другой ничего не понимали во всем, что лилось из его рта потоком вместо связанных слов, и все под конец разражались смехом.

Он, между прочим, говорил об истории, что он не любит истории, в которой были только истории, и что, для того чтобы история была хороша, нужно, чтобы в ней не было историй, и что история, впрочем, сводится к набору слов. Еще в вопросах политики он был неподражаем. Когда он начинал о ней говорить, ни один серьезный человек этого не выдерживал без смеха. Он говорил также, что хорошо написанные комедии большею частью скучны. Как только он был назначен ко двору, императрица дала его старшей сестре приказание выйти замуж за некоего Сенявина[96], который для этого был определен камер-юнкером к нашему двору. Это было громовым ударом для девицы, которая вышла за него замуж лишь с величайшим отвращением. Брак этот был очень дурно принят обществом, которое взвалило всю вину на Шувалова, фаворита императрицы; он имел большую склонность к этой девице до своего фавора, и ее так неудачно выдали замуж только для того, чтобы он потерял ее из виду. Это было поистине тираническое преследование; наконец она вышла за него замуж, впала в чахотку и умерла.

В конце сентября мы снова перешли в Зимний дворец. При дворе в это время был такой недостаток в мебели, что те же зеркала, кровати, стулья, столы и комоды, которые нам служили в Зимнем дворце, перевозились за нами в Летний дворец, а оттуда – в Петергоф и даже следовали за нами в Москву. Билось и ломалось в переездах немалое количество этих вещей, и в таком поломанном виде нам их и давали, так что трудно было ими пользоваться; так как нужно было особое приказание императрицы на получение новых вещей и большею частью трудно, а подчас и невозможно было до нее добраться, то я решила мало-помалу покупать себе комоды, столы и самую необходимую мебель на собственные деньги как для Зимнего, так и для Летнего дворца, и, когда мы переезжали из одного в другой, я находила у себя все, что мне было нужно, без хлопот и потерь при перевозке. Такой порядок полюбился великому князю; он завел такой же для своих покоев.

Что касается Ораниенбаума, принадлежавшего великому князю, мы там имели за свой счет все, что нам было нужно. Для своих комнат в этом дворце я все покупала на свои деньги, во избежание всяких споров и затруднений, ибо Его Императорское

Высочество, хотя и очень был мотоват на все свои прихоти, но жалел денег на все, что меня касалось, и, вообще, вовсе не был щедрым; но так как то, что я делала для своих комнат на собственный кошт, служило к украшению дома, то он был очень этим доволен. В течение этого лета Чоглокова особенно меня полюбила, и так искренно, что, вернувшись в город, не могла без меня обойтись и скучала, когда я не бывала с ней. Сущность этой привязанности заключалась в том, что я совсем не отвечала на привязанность, которую ее супругу угодно было ко мне проявить, что придало мне необычайную заслугу в глазах этой женщины.

По возвращении в Зимний дворец Чоглокова каждый день после обеда присылала за мной с приглашением к себе; у нее бывало немного народу, но все же больше, чем у меня, где я была одна за чтением или с великим князем, который появлялся только затем, чтобы ходить большими шагами по моей комнате и говорить о вещах, которые его интересовали, но для меня не имели никакой цены. Эти прогулки продолжались часа по два и повторялись несколько раз в день; надо было шагать с ним до изнеможения, слушать со вниманием; надо было ему отвечать, а речи его были большею частью бессвязны, и воображение его часто разыгрывалось. Помню, что как-то раз он был занят почти целую зиму проектом постройки в Ораниенбауме дачи в виде капуцинского монастыря, где он, я и весь двор, который его сопровождал, должны были быть одеты капуцинами; он находил это одеяние прелестным и удобным. Каждый должен был иметь клячу и по очереди ездить на ней за водой или возить провизию в мнимый монастырь; он помирал со смеху и был вне себя от удовольствия ввиду изумительных и забавных эффектов, какие произведет его выдумка. Он заставил меня набросать карандашом план этой чудесной затеи, и каждый день надо было прибавлять или убавлять что-нибудь. Как я ни была полна решимости быть в отношении к нему услужливой и терпеливой, признаюсь откровенно, что очень часто мне было невыносимо скучно от этих посещений, прогулок и разговоров, ни с чем по нелепости не сравнимых. Когда он уходил, самая скучная книга казалась восхитительным развлечением.

К концу осени при дворе возобновились дворцовые и публичные балы, так же, как и погоня за нарядами и изысканностью маскарадных костюмов. Граф Захар Чернышев вернулся в Петербург; как к старинному знакомому я продолжала очень хорошо к нему относиться; от меня зависело на этот раз принимать его ухаживания, как мне угодно. Он начал с того, что сказал мне, что находит меня очень похорошевшей. В первый раз в жизни мне говорили подобные вещи. Мне это понравилось и

даже больше: я простодушно поверила, что он говорит правду.

На каждом балу – новые разговоры в том же духе; как-то раз княжна Гагарина принесла мне от него девиз; разламывая его, я заметила, что он был вскрыт и подклеен; билетик в нем был, как всегда, печатный, но это были два стиха, очень нежных и чувствительных. Я велела принести себе после обеда девизы и стала искать между ними билетик, который мог бы отвечать, не компрометируя меня, на его билетик; нашла подходящий, положила его в девиз, изображавший апельсин, и дала его княжне Гагариной, которая передала его графу Чернышеву.

На следующий день она принесла мне от него еще девиз, но на этот раз я нашла в нем его собственноручную записку в несколько строк. На этот раз и я ответила, и вот мы с ним в правильной, очень чувствительной переписке. На первом маскараде, танцуя со мною, он стал мне говорить, что имеет сказать мне тысячу вещей, которых не смеет доверить бумаге или вложить в девиз, так как княжна Гагарина может раздавить его в кармане или потерять по дороге, а потому он просит назначить ему на минуту свидание у меня в комнате или где это я найду удобным. Я ответила ему, что это совершенно невозможно, что мои комнаты совершенно недоступны и что я также не могу выходить из них. Он мне сказал, что переоденется, если это нужно, лакеем, но я наотрез отказалась, и дело остановилось на переписке, какую прятали в девизы. Наконец княжна Гагарина спохватилась, что из этого может выйти, стала бранить меня за то, что я ей это поручаю, и не захотела больше принимать девизы. Между тем окончился 1751 год и начался 1752 год. В конце Масленой граф Чернышев уехал в свой полк. За несколько дней до его отъезда мне надо было пустить кровь. Это было в субботу; в следующую среду Чоглоков пригласил нас к себе на остров в устье Невы; он имел там дом, состоявший из одного зала посередине и нескольких боковых комнат. Рядом с этим домом он велел устроить катальные горы.

Приехав туда, я застала графа Романа Воронцова, который, увидав меня, сказал: «Я все устроил, я заказал отличные санки для катанья с гор». Так как он и раньше часто меня катал, я охотно приняла его предложение, и тотчас же он велел привезти санки, в которых было своего рода маленькое кресло; я в него уселась, а он стал позади меня, и мы начали спускаться, но на половине ската он не справился с санями: они опрокинулись, я вылетела вон, а граф Воронцов, очень тяжеловесный и неуклюжий, повалился на меня, или, вернее, на мою левую руку, из которой дня за четыре, за пять назад пускали кровь. Я поднялась, и он также, и мы пошли пешком к придворным саням,

поджидавшим всех, кто скатывался, и отвозившим их на место, откуда они спускались, чтобы желающие могли снова кататься.

Сидя в этих санях с княжною Гагариной, которая вместе с графом Иваном Чернышевым поехала со мною, причем Чернышев и Воронцов стояли на запятках, я почувствовала, что левую мою руку обдает теплом от неизвестной мне причины; я засунула правую руку в рукав шубы, чтобы узнать, в чем дело, и, вытащив ее, увидела, что она в крови. Я сказала обоим графам и княжне, что, по-видимому, у меня открылась жила и что из нее течет кровь. Они погнали сани, и вместо гор мы отправились домой; там мы нашли только одного тафельдекера. Я сняла шубу, тафельдекер дал нам уксусу, и граф Чернышев исполнял обязанности хирурга. Мы все согласились и рта не открывать насчет этого происшествия. Как только рука моя была перевязана, я вернулась на горы; весь остальной вечер я танцевала; потом мы поужинали, я вернулась домой, и никто не подозревал, что со мною случилось; однако от этого у меня почти на месяц как бы отнялся большой палец на руке; но понемногу это прошло.

Потом у меня была сильная перебранка с Чоглоковой; вот в чем дело. Мать моя с некоторых пор находилась в Париже; старший сын генерала Ивана Федоровича Глебова[97], вернувшись из этой столицы, передал мне от матери два куска очень богатых и красивых материй. Глядя на них в присутствии Шкурина, который их развертывал у меня в уборной, я невольно сказала, что эти материи так хороши, что мне хотелось бы подарить их императрице. И действительно, я выжидала минуту, чтобы сказать о них Ее Императорскому Величеству; я видела ее очень редко, и то большей частью в публике. Я не говорила об этом с Чоглоковой. Это был подарок, который я хотела сделать лично; я запретила Шкурину говорить кому бы то ни было о том, что у меня сорвалось с языка только при нем; но он первым делом поспешил передать тотчас Чоглоковой то, что у меня сорвалось с языка.

Через несколько дней, в одно прекрасное утро Чоглокова вошла ко мне и сказала, что императрица велела поблагодарить меня за материи, что она оставила одну, а другую возвращает мне. Я была поражена от удивления, услышав это. Я сказала: «Как?» Тогда Чоглокова ответила мне, что она снесла мои материи императрице, услыхав, что я их предназначаю Ее Императорскому Величеству.

Тут я так рассердилась, как и не упомню, чтобы это со мной случалось; я бормотала, почти не могла говорить, но все же сказала Чоглоковой, что я радовалась тому, что подарю сама эти материи императрице, и что она лишила меня этой радости; что

она, Чоглокова, не могла знать моих намерений, потому что я ей не говорила о них, и что если она их знала, то только из уст предателя-лакея, который выдал свою госпожу, ежедневно осыпавшую его благодеяниями. Чоглокова, у которой всегда были свои доводы, сказала мне и стала утверждать, что я никогда не должна ни о чем сама говорить с императрицей, что она мне объявляла этот приказ от имени Ее Императорского Величества, и что мои слуги должны были передавать ей все, что я говорю, что, следовательно, Шкурин исполнил только свой долг, а она – свой, снеся Ее Императорскому Величеству без моего ведома предназначенные мной для императрицы материи, и что все это сделано правильно.

Я не мешала ей говорить, потому что у меня не было слов от гнева; наконец она ушла; я направилась в маленькую переднюю, где Шкурин обыкновенно находился по утрам и где были мои платья; застав его там, я влепила ему изо всех сил здоровую пощечину и сказала, что он предатель и самый неблагодарный из людей, так как посмел передать Чоглоковой, о чем я запретила ему говорить; что я осыпала его благодеяниями, а он выдавал меня даже в таких невинных словах; что с этого дня я больше ничего не стану ему давать, что я его прогоню и велю отодрать.

Я его спросила, на что он рассчитывает при таком поведении; ведь я всегда останусь тем, что я есть, а Чоглоковы, всеми ненавидимые и презираемые, кончат тем, что их выгонит сама императрица, которая, наверное, рано или поздно признает и их непроходимую глупость, и неспособность к своей должности, на которую определил их своими происками дурной человек; что если он хочет, то ему стоит только пойти передать то, что я ему сейчас сказала; что со мной из-за этого, конечно, ничего не случится, но он сам увидит, что с ним будет. Мой Шкурин упал на колени, заливаясь горючими слезами, и просил у меня прощения с искренним, как мне показалось, раскаянием.

Я была тронута и сказала, что дальнейшее его поведение покажет мне путь, какого мне с ним держаться, и что с его поведением я согласую свое обращение. Это был толковый малый, у которого не было недостатка в уме и который никогда больше не поступал против меня; наоборот, он дал мне доказательства самого явного усердия и верности в наиболее трудные времена. На выкинутую Чоглоковой со мною штуку я жаловалась всем, кому могла, дабы это дошло до ушей императрицы. Увидев меня, императрица поблагодарила меня за материи, и я из третьих рук узнала, что она не одобряет поступка Чоглоковой; дело на этом и закончилось.

После Пасхи мы перешли в Летний дворец. Я уже несколько

времени замечала, что камергер Сергей Салтыков бывал чаще обыкновенного при дворе; он всегда приходил со Львом Нарышкиным, который всех забавлял своей оригинальностью, – я уже привела некоторые черты ее. Сергей Салтыков был ненавистен княжне Гагариной, которую я очень любила и к которой питала даже доверие. Льва Нарышкина все терпели и смотрели на него как на личность совсем не значащую и очень оригинальную. Сергей Салтыков заискивал, как только мог, у Чоглоковых; но так как Чоглоковы не были ни приятны, ни умны, ни занимательны, то его частые посещения должны были иметь какие-нибудь скрытые цели.

Чоглокова была тогда беременна и часто нездорова; так как она уверяла, что я ее развлекаю летом так же, как и зимою, то она часто просила, чтобы я к ней приходила. Сергей Салтыков, Лев Нарышкин, княжна Гагарина и некоторые другие бывали обыкновенно у нее, когда не было концерта у великого князя или представления при дворе. Концерты надоедали Чоглоковой, которая или поздно, или совсем на них не появлялась. Чоглоков никогда их не пропускал. Сергей Салтыков нашел необыкновенное средство занимать его. Не знаю, как он выискал в этом человеке, самом тупом и лишенном всякого воображения и ума, страстную наклонность к сочинению песен, не имевших здравого смысла. Как только сделано было это открытие, каждый раз, как хотели отделаться от Чоглокова, просили его сочинить новую песню; он с большою готовностью сейчас же садился в угол комнаты, большею частью к печке, и принимался за свою песню, что заполняло весь вечер. Потом находили песню прелестной, это его поощряло сочинять все новые. Лев Нарышкин клал их на музыку и пел с Чоглоковым, а пока тот их сочинял, разговор шел в комнате без стеснения и говорили что угодно, ибо когда Чоглоков куда-нибудь усаживался, то он уже не вставал со стула во весь вечер; таким образом, от места, где он сидел, зависело, чтобы он был удобен или неудобен, невыносим или очарователен; последним он бывал только тогда, когда находился очень далеко. У меня была толстая книга его песен, не знаю, что с ней сталось.

Во время одного из этих концертов Сергей Салтыков дал мне понять, какая была причина его частых посещений. Я не сразу ему ответила; когда он снова стал говорить со мной о том же, я спросила его: на что же он надеется? Тогда он стал рисовать мне столь же пленительную, сколь полную страсти картину счастья, на какое он рассчитывал; я ему сказала: «А ваша жена, на которой вы женились по страсти два года назад, в которую вы, говорят, влюблены и которая любит вас до безумия, – что она об этом скажет?»

Тогда он стал мне говорить, что не все то золото, что блестит, и что он дорого расплачивается за миг ослепления. Я приняла все меры, чтобы заставить его переменить эти мысли; я простодушно думала, что мне это удастся; мне было его жаль. К несчастью, я продолжала его слушать; он был прекрасен, как день, и, конечно, никто не мог с ним сравняться ни при большом дворе, ни тем более при нашем.

У него не было недостатка ни в уме, ни в том складе познаний, манер и приемов, какой дают большой свет и особенно двор. Ему было 26 лет; вообще, и по рождению, и по многим другим качествам это был кавалер выдающийся; свои недостатки он умел скрывать: самыми большими из них были склонность к интриге и отсутствие строгих правил; но они тогда еще не развернулись на моих глазах.

Я не поддавалась всю весну и часть лета; я видала его почти каждый день; я не меняла вовсе своего обращения с ним, была такая же, как всегда и со всеми: я видела его только в присутствии двора или некоторой его части. Как-то раз я ему сказала, чтобы отделаться, что он не туда обращается, и прибавила: «Почем вы знаете, может быть, мое сердце занято в другом месте?» Эти слова не отбили у него охоту, а наоборот, я заметила, что преследования его стали еще жарче. При всем этом о милом супруге и речи не было, ибо это было дело известное, что он не любезен даже с теми, в кого он влюблен, а влюблен он был постоянно и ухаживал, так сказать, за всеми женщинами; только та, которая носила имя его жены, была исключена из круга его внимания. Между тем Чоглоков пригласил нас на охоту на свой остров, и мы все туда отправились в лодках; наши лошади были высланы вперед. Тотчас по приезде я села на лошадь, и мы поскакали за собаками. Сергей Салтыков улучил минуту, когда все были заняты погоней за зайцами, и подъехал ко мне, чтобы поговорить на свою излюбленную тему; я слушала его терпеливее обыкновенного.

Он нарисовал мне картину придуманного им плана, как покрыть глубокой тайной, говорил он, то счастье, которым некто мог бы наслаждаться в подобном случае. Я не говорила ни слова. Он воспользовался моим молчанием, чтобы убедить меня, что он страстно меня любит, и просил меня позволить ему надеяться, что я, по крайней мере, к нему не равнодушна. Я ему сказала, что не могу помешать игре его воображения.

Наконец, он стал делать сравнения между другими придворными и собою и заставил меня согласиться, что заслуживает предпочтения, откуда он заключил, что и был уже предпочтен. Я смеялась тому, что он мне говорил, но в душе

согласилась, что он мне довольно нравится. Часа через полтора разговора я сказала ему, чтобы он ехал прочь, потому что такой долгий разговор может стать подозрительным. Он возразил, что не уедет, пока я не скажу ему, что я к нему не равнодушна; я ответила: «Да, да, но только убирайтесь», а он: «Я это запомню» – и пришпорил лошадь; я крикнула ему вслед: «Нет, нет!», а он повторил: «Да, да!». Так мы расстались. Вернувшись в дом, находившийся на острове, мы там поужинали; во время ужина поднялся сильный ветер с моря, который вздымал волны так сильно, что они поднялись до ступеней лестницы и весь остров был покрыт водою на несколько футов над уровнем моря. Мы были принуждены оставаться на острове у Чоглокова, пока не утихнет буря и не спадет вода, что продолжалось часов до двух или до трех утра.

В это время Сергей Салтыков сказал мне, что само небо благоприятствует ему в этот день, доставляя ему возможность дольше любоваться мною, и наговорил еще множество подобных вещей; он уже считал себя очень счастливым, а я не совсем была счастлива; тысяча опасений смущали мой ум, и я была, по-моему, очень скучна в этот день и очень недовольна собою; я думала, что могу управлять его головой и своей и направлять их, а тут поняла, что и то, и другое очень трудно, если не невозможно.

Два дня спустя Сергей Салтыков сказал мне, что один из камер-лакеев великого князя, Брессан[98], француз родом, передал ему, что Его Императорское Высочество сказал в своей комнате: «Сергей Салтыков и моя жена обманывают Чоглокова, уверяют его, в чем хотят, а потом смеются над ним». Надо правду сказать, что отчасти оно так и было, и великий князь это заметил. Я ему посоветовала в ответ, чтобы впредь он был более осмотрителен. Несколько времени спустя у меня сильно заболело горло, что продолжалось более трех недель при сильном жаре, во время которого императрица прислала мне княжну Куракину, выходившую замуж за князя Лобанова. Я должна была ее причесывать; ее усадили для этого в придворном платье и в больших фижмах на мою постель; я старалась, как могла; но Чоглокова, видя, что мне не удастся убрать ей голову, велела ей сойти с моей постели и докончила ее прическу. Я не видала этой дамы с тех пор.

Великий князь был тогда влюблен в девицу Марфу Исаевну Шафирову, которую императрица недавно приставила ко мне так же, как и ее старшую сестру, Анну Исаевну[99]. Сергей Салтыков, который по части интриг был настоящий бес, втерся к этим двум девицам, чтобы узнавать, какие могли быть на его счет речи у великого князя с двумя сестрами, и чтоб извлечь из них себе

пользу. Эти девушки были бедные, довольно глупые и очень корыстные, и, действительно, они стали с ним очень откровенны в весьма короткий срок.

Между тем мы отправились в Ораниенбаум, где я снова была целый день на лошади и, за исключением воскресений, не носила другого костюма, кроме мужского. Чоглоков и его жена стали кротки, как овечки. Я приобрела в глазах Чоглоковой новую заслугу: я очень любила и ласкала одного из ее сыновей, бывшего с ней; я заказывала ему платья и Бог знает сколько я надавала ему игрушек и тряпья; мать же с ума сходила об этом ребенке, который потом стал таким негодяем, что за свои проделки был посажен по суду в крепость на пятнадцать лет[100].

Сергей Салтыков стал другом, поверенным и советчиком Чоглоковых; конечно, никакой человек со здравым смыслом не стал бы принуждать себя к столь тяжелому делу, как выслушивание по целым дням бредней двух дураков, гордых, заносчивых и себялюбивых, если бы не имел в том очень большого интереса. Отгадали, предположили тот интерес, какой он мог иметь; это дошло до Петергофа, до ушей императрицы.

А в это время очень часто случалось, что когда Ее Императорскому Величеству хотелось браниться, то она не бранила за то, за что могла бранить, но ухватывалась за предлог бранить за то, за что и в голову не приходило, что она может бранить. Это заметка царедворца; я знаю о ней из собственных уст ее автора, а именно от графа Захара Чернышева.

В Ораниенбауме вся наша свита, как мужчины, так и женщины, согласились сделать себе на лето костюмы одинакового цвета: нижнее платье серое, остальное – синее с черным бархатным воротником, и все безо всякой отделки; это однообразие было нам удобно во многих отношениях. К этим-то костюмам и придрались, и особенно к тому, что я всегда была одета в костюм для верховой езды и что я езжу по-мужски. Когда мы однажды приехали в Петергоф на куртаг, императрица сказала Чоглоковой, что моя манера ездить верхом мешает мне иметь детей и что мой костюм совсем неприличен; что когда она сама ездила верхом в мужском костюме, то, как только сходила с лошади, тотчас же меняла платье. Чоглокова ей ответила, что для того, чтобы иметь детей, тут нет вины, что дети не могут явиться без причины и что хотя Их Императорские Высочества живут в браке с 1745 года, а между тем причины не было.

Тогда Ее Императорское Величество стала бранить Чоглокову и сказала, что она взыщет с нее за то, что она не старается усовестить на этот счет заинтересованные стороны; вообще, она проявила сильный гнев и сказала, что ее муж колпак, который

позволяет водить себя за нос соплякам.

Все это было передано Чоглоковыми в одни сутки доверенным лицам; при слове «сопляки» сопляки утерлись и в очень секретном совещании, устроенном сопляками по этому поводу, было решено и постановлено, что, следуя с большою точностью намерениям Ее Императорского Величества, Сергей Салтыков и Лев Нарышкин притворятся, будто подверглись немилости Чоглокова, о которой он сам, пожалуй, и не будет подозревать, и под предлогом болезни их родителей поедут к себе домой недели на три, на четыре, чтобы прекратить бродившие темные слухи. Это было выполнено буквально, и на следующий день они уехали, чтобы укрыться на месяц в свои семьи.

Что меня касается, то я тотчас переменила одеяние, ставшее к тому же бесполезным. Первая мысль об однообразном костюме явилась у нас от того костюма, который носили на куртагах в Петергофе: снизу он был белый, остальная часть – зеленая, и все обшитое серебряным галуном. Сергей Салтыков, который был брюнет, говорил, что в этом белом с серебром костюме он похож на муху в молоке.

Впрочем, я продолжала посещать Чоглоковых по-прежнему, только побольше у них скучала; и муж и жена жалели об отсутствии двоих главных героев их общества, в чем, конечно, я им не противоречила. Болезнь и смерть матери Сергея Салтыкова еще продлила его отсутствие, во время которого императрица велела приехать нам из Ораниенбаума к ней в Кронштадт, куда она отправилась для открытия канала Петра I, начатого по его приказанию и теперь законченного. Она приехала в Кронштадт раньше нас. Первая ночь по ее приезде была очень бурной. Ее Императорское Величество, пославшая тотчас по своем прибытии сказать нам, чтобы мы ехали к ней в Кронштадт, подумала, что мы во время этой бури находимся на море; она очень беспокоилась всю ночь, и ей казалось, что какое-то судно, которое было ей видно из ее окон и которое билось на море, могло быть той яхтой, на которой мы должны были переехать по морю. Она прибегла к мощам, которые всегда находились рядом с ее постелью. Она поднесла их к окну и делала ими движения, обратные тем, которые делало боровшееся с бурей судно. Она несколько раз вскрикивала, что мы, наверное, погибнем, что это будет ее вина, потому что недавно она посылала нам выговор, и что мы, вероятно, для засвидетельствования большей готовности, поехали тотчас по прибытии яхты. Но на самом деле яхта приехала в Ораниенбаум уже после этой бури, так что мы взошли на нее только на следующий день после полудня. Мы оставались

трое суток в Кронштадте; в это время совершено было с большою торжественностью освящение канала и впущена в него в первый раз вода.

После обеда был большой бал. Императрица хотела остаться в Кронштадте, чтобы видеть, как снова выпустят воду из канала, но она уехала на третий день, а спуск так и не удался: этот канал не был осушен до тех пор, пока в мое царствование я не велела выстроить огненную мельницу, которая удаляет из него воду, – впрочем, это было бы и невозможное тогда дело, так как дно канала ниже моря, но этого не предусмотрели.

Из Кронштадта каждый вернулся к себе. Императрица поехала в Петергоф, а мы – в Ораниенбаум. Чоглоков просил и получил разрешение поехать в одно из своих имений на месяц. В его отсутствие его супруга очень суетилась из-за того, чтобы буквально исполнять приказания императрицы. Сначала она имела несколько совещаний с камер-лакеем великого князя Брессаном; Брессан нашел в Ораниенбауме хорошенькую вдову одного художника, некую Грот; несколько дней ее уговаривали, насулили не знаю чего, потом сообщили ей, чего от нее хотят и на что она должна согласиться; потом Брессан должен был познакомить великого князя с этой молодой и красивой вдовушкой.

Я хорошо замечала, что Чоглокова была очень занята, но я не знала чем, когда наконец Сергей Салтыков вернулся из своего добровольного изгнания и сообщил мне приблизительно в чем дело.

Наконец, благодаря своим трудам, Чоглокова достигла цели, и, когда она была уверена в успехе, она предупредила императрицу, что все шло согласно ее желаниям. Она рассчитывала на большие награды за свои труды, но в этом отношении она ошиблась, потому что ей ничего не дали; между тем она говорила, что империя ей за это обязана. Тотчас после этого мы вернулись в город, и в это время я убедила великого князя прервать переговоры с Данией; я ему напомнила совет графа Берни, который уже уехал в Вену; он меня послушался и приказал прекратить переговоры без всякого решения, что и было сделано. После недолгого пребывания в Летнем дворце мы перешли в Зимний.

Мне показалось, что Сергей Салтыков стал меньше за мною ухаживать, что он становился невнимательным, подчас фатоватым, надменным и рассеянным; меня это сердило; я говорила ему об этом, он приводил плохие доводы и уверял, что я не понимаю всей ловкости его поведения. Он был прав, потому что я находила его поведение довольно странным.

Нам велели готовиться к поездке в Москву, что мы и сделали. Мы отправились из Петербурга 14 декабря 1752 года. Сергей Салтыков остался там и приехал лишь через несколько недель после нас. Я отправилась из Петербурга с кое-какими легкими признаками беременности. Мы ехали очень быстро и днем и ночью; на последней станции эти признаки исчезли при сильных резях.

Приехав в Москву и увидев, какой оборот приняли дела, я догадывалась, что могла легко иметь выкидыш. Чоглокова оставалась в Петербурге, потому что у нее только что родился ее последний ребенок – дочь; это был седьмой по счету. Когда она встала, она приехала к нам в Москву. Здесь нас поместили в деревянном флигеле, только что отстроенном в эту осень, так что вода текла с обшивок и все комнаты были необычайно сыры. В этом флигеле было два ряда комнат, по пяти-шести в каждом; из них выходившие на улицу были моими, а находившиеся на другой стороне – великого князя. В той же комнате, которая должна была быть моей уборной, поместили моих камер-юнгфер и камер-фрау, с их служанками, так что их было семнадцать девушек и женщин в одной комнате, имевшей, правда, три больших окна, но никакого другого выхода, кроме моей спальной, через которую они должны были проходить за всякого рода нуждою, что не было удобно ни им, ни мне.

В течение десяти первых дней по моем прибытии в Москву они со мною принуждены были терпеть это неудобство, которому я ничего подобного не видела. Кроме того, их столовой была одна из моих прихожих; я была больна по приезде; чтобы отстранить это неудобство, я велела наставить в моей спальне больших ширм, с помощью которых разделила ее на три части; но это почти нисколько не помогло, потому что двери постоянно открывались и закрывались, что было неизбежно.

Наконец на десятый день императрица пришла навестить меня, и, видя это постоянное хождение, она вошла в соседнюю комнату и сказала моим женщинам: «Я велю сделать вам другой выход, а не через спальню великой княгини». Но что же она сделала? Она приказала устроить перегородку, которая отняла одно окно у этой комнаты, где и без того с трудом жило семнадцать человек; теперь комнату сузили, чтобы выгадать коридор; окно было пробито на улицу, к нему приделали лестницу, и мои женщины принуждены были выходить на улицу; под их окнами поставили для них отхожие места; когда они шли обедать, им опять приходилось идти по улице. Словом, все это устройство никуда не годилось, и я не знаю, как эти семнадцать женщин, жившие в такой тесноте и подчас болевшие, не схватили

какой-нибудь гнилой горячки в этом жилье, и это рядом с моей комнатой, которая благодаря им была полна всевозможными насекомыми до того, что они мешали спать.

Наконец Чоглокова, оправившись от родов, приехала в Москву, а несколько дней спустя приехал и Сергей Салтыков. Так как Москва очень велика, и все там всегда очень раскидывались, то он воспользовался такой выгодной местностью, чтобы ею прикрыться и притворно или действительно сократить свои частые посещения двора. По правде говоря, я была этим огорчена, однако он мне приводил такие основательные и действительные причины, что, как только я его увижу и поговорю с ним, мое раздумье исчезало. Мы согласились, что для уменьшения числа его врагов я велю сказать графу Бестужеву несколько слов, которые дадут ему надежду на то, что я не так далека от него, как прежде.

Я возложила это поручение на некоего Бремзе, который был чиновником в Голштинской канцелярии у Пехлина. Этот человек, когда не бывал при дворе, часто ходил в дом канцлера графа Бестужева. Он очень усердно взялся за это и сказал мне, что канцлер сердечно этому обрадовался и сказал, что я могу располагать им каждый раз, как я найду это уместным, и что если со своей стороны он может быть мне полезен, то он просит указать мне надежный путь, которым мы можем сообщать друг другу, что найдем нужным. Я поняла его мысль и ответила Бремзе, что подумаю. Я передала это Сергею Салтыкову, и тотчас же было решено, что он поедет к канцлеру под предлогом сделать ему по приезде визит.

Старик отлично его принял, отвел его в сторону, говорил с ним о внутренней жизни нашего двора, о глупости Чоглоковых и сказал ему между прочим: «Я знаю, что хотя вы очень к ним близки, но судите о них так же, как я, потому что вы неглупый молодой человек». Потом он стал говорить с ним обо мне, о моем положении, как будто жил в моей комнате; затем сказал: «В благодарность за благоволение, которое великой княгине угодно было мне оказать, я отплачу ей маленькой услугой, за которую она будет, я думаю, признательна мне; я сделаю Владиславову кроткой, как овечка, и она будет делать из нее что угодно. Она увидит, что я не такой бука, каким меня изображали в ее глазах».

Наконец Сергей Салтыков вернулся в восторге и от этого поручения, и от Бестужева. Он дал лично ему несколько советов, столь же умных, сколь и полезных. Все это очень сблизило его с нами, хотя ни одна живая душа и не знала об этом. Между тем Чоглокова, вечно занятая своими излюбленными заботами о престолонаследии, однажды отвела меня в сторону и сказала:

«Послушайте, я должна поговорить с вами очень серьезно». Я, понятно, вся обратилась в слух; она с обычной своей манерой начала длинным разглагольствованием о привязанности своей к мужу, о своем благоразумии, о том, что нужно и чего не нужно для взаимной любви и для облегчения или отягощения уз супруга или супруги, и затем свернула на заявление, что бывают иногда положения высшего порядка, которые вынуждают делать исключения из правил. Я дала ей высказать все, что она хотела, не прерывая, вовсе не ведая, куда она клонит, несколько изумленная, и не зная, была ли это ловушка, которую она мне ставит, или она говорит искренно.

Пока я внутренне так размышляла, она мне сказала: «Вы увидите, как я люблю свое отечество и насколько я искренна; я не сомневаюсь, чтобы вы кому-нибудь не отдали предпочтения: предоставляю вам выбрать между Сергеем Салтыковым и Львом Нарышкиным. Если не ошибаюсь, то избранник ваш последний». На это я воскликнула: «Нет, нет, отнюдь нет!» Тогда она мне сказала: «Ну, если это не он, так другой наверно». На это я не возразила ни слова, и она продолжала: «Вы увидите, что помехой вам буду не я». Я притворилась наивной настолько, что она меня много раз бранила за это как в городе, так и в деревне, куда мы отправились после Пасхи.

Тогда или приблизительно около этого времени императрица подарила великому князю имение Люберцы и несколько других, верстах в четырнадцати или пятнадцати от Москвы. Но прежде чем переехать на житье в эти новые владения Его Императорского Высочества, императрица праздновала в Москве годовщину своего коронования. Это было 25 апреля.

Нам объявили, что она приказала, чтобы церемониал был в точности соблюден сообразно с тем, как он был установлен в день самой коронации. Нам было очень любопытно посмотреть, что будет. Накануне императрица ночевала в Кремле; мы оставались в слободе, в деревянном дворце, и получили приказание явиться к обедне в собор. В девять часов утра мы выехали из деревянного дворца в парадных экипажах, камер-лакеи шли пешком; мы проехали всю Москву шаг за шагом; проехать надо было семь верст, мы вышли из экипажей у церкви; несколько минут спустя приехала туда императрица со своим кортежем, в малой короне на голове, в императорской мантии, которую, как обыкновенно, несли камергеры. Она встала в церкви на своем обычном месте, и во всем этом не было еще ничего необычного, что не совершалось бы во все большие праздники ее царствования.

В церкви была пронизывающая холодом сырость, какой я никогда в жизни не испытывала; я вся посинела и мерзла от

холода в придворном платье и с открытой шеей. Императрица велела мне сказать, чтобы я надела соболью палатину, но у меня не было ее при себе; она велела принести свои, взяла из них одну и накинула на шею; я увидела в коробке другую и думала, что она пошлет мне ее, чтобы надеть, но ошиблась. Она ее отослала; я сочла это за знак явного недоброжелательства; Чоглокова, видя, что я дрожу от холода, достала мне, не знаю от кого, шелковый платок, который я и надела на шею. Когда обедня и проповеди закончились, императрица вышла из церкви; мы сочли долгом последовать за нею, но она велела нам сказать, что мы можем вернуться домой. Тогда только мы узнали, что она будет обедать одна на троне и что в этом церемониал будет тот же, как и в день коронации, когда она обедала одна. Устраненные от этого обеда, мы вернулись, как и приехали, с большим парадом: наши люди, сделав пешком четырнадцать верст туда и обратно по Москве, а мы – окоченев от холода и умирая с голода. Если императрица показалась нам в очень дурном расположении духа во время обедни, то она отослала нас ничуть не в лучшем настроении от столь неприятного для нас знака, по крайней мере, пренебрежения к нам, чтобы не сказать более.

Во время других празднеств, когда она обедала на троне, мы имели честь обедать с ней; на этот раз она публично нас отослала. Дорогой, находясь в карете одна с великим князем, я ему высказала, что об этом думаю; он мне ответил, что будет жаловаться. Вернувшись домой, окоченевшая от холода и уставшая, я пожаловалась Чоглоковой на то, что простудилась; на следующий день был бал в деревянном дворце; я сказалась больной и не поехала. Великий князь действительно велел что-то сказать Шуваловым по этому поводу, а они также велели ответить ему что-то для него удовлетворительное, не знаю, что именно; больше и речи об этом не было. Около этого времени мы узнали, что Захар Чернышев и полковник Николай Леонтьев[101] поссорились между собою из-за игры в карты у Романа Воронцова, что они дрались на шпагах и что граф Захар Чернышев был настолько тяжело ранен в голову, что его не могли перенести из дома графа Романа Воронцова в его собственный; он там и остался, был очень плох, и говорили о трепанации. Мне это было весьма неприятно, так как я его очень любила. Леонтьев был по приказанию императрицы посажен под арест. Этот поединок занял весь город, благодаря многочисленной родне того и другого из противников. Леонтьев был зятем графини Румянцевой и очень близким родственником Паниных и Куракиных. Граф Чернышев тоже имел родственников, друзей и покровителей. Все случилось в доме графа Романа Воронцова;

больной был у него. Наконец, когда опасность миновала, дело замяли, и тем все и закончилось.

В течение мая месяца у меня появились новые признаки беременности. Мы поехали в Люберцы, имение великого князя, в двенадцати или четырнадцати верстах от Москвы. Бывший там каменный дом, давно выстроенный князем Меншиковым, развалился; мы не могли в нем жить; чтобы этому помочь, разбили во дворе палатки. Я спала в кибитке; утром с трех или четырех часов сон мой прерывался ударами топора и шумом, какой производили на постройке деревянного флигеля, который спешили выстроить, так сказать, в двух шагах от наших палаток, для того чтобы нам было где прожить остаток лета.

Почти все время мы проводили на охоте или в прогулках; я не ездила больше верхом, но в кабриолете. К Петрову дню мы вернулись в Москву, и на меня напал такой сон, что я спала по целым дням до двенадцати часов и с трудом меня будили к обеду. Петров день был отпразднован, как всегда.

На следующий день я почувствовала боль в пояснице. Чоглокова призвала акушерку, и та предсказала выкидыш, который у меня и был в следующую ночь. Я была беременна, вероятно, месяца два-три; в течение тринадцати дней я находилась в большой опасности, потому что предполагали, что часть «места» осталась; от меня скрыли это обстоятельство; наконец на тринадцатый день место вышло само без боли и усилий; меня продержали по этому случаю шесть недель в комнате, при невыносимой жаре.

Императрица пришла ко мне в тот самый день, когда я захворала, и, казалось, была огорчена моим состоянием. В течение шести недель, пока я оставалась в своей комнате, я смертельно скучала. Все мое общество составляли Чоглокова, и то она приходила довольно редко, да маленькая калмычка, которую я любила, потому что она была мила; с тоски я часто плакала. Что касается великого князя, то он был большей частью в своей комнате, где один украинец, его камердинер, по имени Карнович, такой же дурак, как и пьяница, забавлял его, как умел, снабжая его, сколько мог, игрушками, вином и другими крепкими напитками, без ведома Чоглокова, которого, впрочем, все обманывали и надували. Но в этих ночных и тайных попойках великого князя со своими камердинерами, среди которых было несколько калмыков, случалось часто, что великого князя плохо слушались и плохо ему служили, ибо, будучи пьяны, они не знали, что делали, и забывали, что они были со своим господином, что этот господин – великий князь; тогда Его Императорское Высочество прибегал к палочным ударам или

обнажал шпагу, но, несмотря на это, его компания плохо ему повиновалась, и не раз он прибегал ко мне, жалуясь на своих людей и прося сделать им внушение; тогда я шла к нему и выговаривала им всю правду, напоминая им об их обязанностях, и тотчас же они подчинялись, что заставляло великого князя неоднократно говорить мне и повторять также Брессану, что он не знает, как я справляюсь с его людьми; что он их сечет и не может их заставить себе повиноваться, а я одним словом добиваюсь от них всего, чего хочу.

Однажды, когда я вошла с этой целью в покои Его Императорского Высочества, я была поражена при виде здоровой крысы, которую он велел повесить, и всей обстановкой казни среди кабинета, который он велел себе устроить при помощи перегородки.

Я спросила, что это значит; он мне сказал тогда, что эта крыса совершила уголовное преступление и заслуживает строжайшей казни по военным законам, что она перелезла через вал картонной крепости, которая была у него на столе в этом кабинете, и съела двух часовых на карауле, сделанных из крахмала, на одном из бастионов, и что он велел судить преступника по законам военного времени; что его легавая собака поймала крысу и что тотчас же она была повешена, как я ее вижу, и что она останется там, выставленная напоказ публике в течение трех дней, для назидания.

Я не могла удержаться, чтобы не расхохотаться над этим сумасбродством, но это очень ему не понравилось, ввиду той важности, какую он этому придавал; я удалилась и прикрылась моим женским незнанием военных законов, однако он не переставал дуться на меня за мой хохот. Можно было, по крайней мере, сказать в оправдание крысе, что ее повесили, не спросив и не выслушав ее оправдания.

Во время этого пребывания двора в Москве случилось, что один камер-лакей сошел с ума и даже стал буйным. Императрица приказала своему первому лейб-медику Бургаву иметь уход за этим человеком; его поместили в комнату вблизи покоев Бургава, который жил при дворе. Случилось как-то, что в этом году несколько человек лишились рассудка; по мере того, как императрица об этом узнавала, она брала их ко двору, помещала возле Бургава, так что образовалась маленькая больница для умалишенных при дворе. Я припоминаю, что главными из них были: майор гвардии Семеновского полка, по фамилии Чаадаев, подполковник Лейтрум, майор Чоглоков, один монах Воскресенского монастыря, срезавший себе бритвой причинные места, и некоторые другие.

Сумасшествие Чаадаева заключалось в том, что он считал Господом Богом шаха Надира[102], иначе Тахмаса-Кулы-хана, узурпатора Персии и ее тирана. Когда врачи не смогли излечить его от этой мании, его поручили попам; эти последние убедили императрицу, чтобы она велела изгнать из него беса. Она сама присутствовала при этом обряде; но Чаадаев остался таким же безумным, каким, казалось, он был; однако были люди, которые сомневались в его сумасшествии, потому что он здраво судил обо всем прочем, кроме шаха Надира; его прежние друзья приходили даже с ним советоваться о своих делах, и он давал им очень здравые советы; те, кто не считал его сумасшедшим, приводили как причину этой притворной мании, какую он имел, грязное дело у него на руках, от которого он отделался только этой хитростью; с начала царствования императрицы он был назначен в податную ревизию; его обвиняли во взятках, и он подлежал суду; из боязни суда он и забрал себе эту фантазию, которая его и выручила.

В половине августа мы вернулись в деревню; на пятое сентября, день именин императрицы, она уехала в Воскресенский монастырь. Когда она там была, молния ударила в церковь; по счастью, Ее Императорское Величество стояла в приделе рядом с главной церковью. Она узнала об этом только по испугу своих придворных; однако при этом происшествии не было ни раненых, ни убитых.

Немного времени спустя она вернулась в Москву, куда мы также отправились из Люберец. Возвратившись в город, мы видели, как принцесса Курляндская поцеловала при всех руку императрице за позволение, которое она ей дала, выйти замуж за князя Георгия Хованского. Она поссорилась со своим первым женихом Петром Салтыковым, который, со своей стороны, тотчас же женился на княжне Солнцевой.

Первого ноября этого года, в три часа пополудни, я была в покоях у Чоглоковой, когда ее муж, Сергей Салтыков, Лев Нарышкин и многие другие кавалеры нашего двора вышли из комнаты, чтобы пойти в покои камергера Шувалова, дабы поздравить его со днем его рождения, приходившимся в это число.

Мы с Чоглоковой и княжною Гагариной болтали все вместе, как вдруг в небольшой молельной, находившейся поблизости от комнаты, где мы были, послышался какой-то шум и показались двое из этих господ, которые нам сказали, что им нельзя было пройти через зал дворца, так как там загорелось. Тотчас я пошла в свою комнату, и, проходя по одной передней, я увидела, что угловая балюстрада большого зала была в пламени. Это было в

двадцати шагах от нашего флигеля; я вошла в свои комнаты и нашла их уже полными солдат и слуг, которые брали мебель и уносили все, что могли.

Чоглокова шла за мною следом, и так как ничего не оставалось делать в доме, как ждать, пока он загорится, то мы с Чоглоковой вышли, и, найдя у подъезда карету капельмейстера Арайи[103], который явился на концерт к великому князю, – его я сама предупредила, что дом горит, – мы сели с ней в эту карету, так как улица была покрыта грязью от постоянных дождей, шедших уже несколько дней, и мы смотрели оттуда как на пожар, так и на то, каким образом со всех сторон выносили мебель из дому.

Я увидала тогда странную вещь: это – удивительное количество крыс и мышей, которые спускались по лестнице гуськом, не слишком даже торопясь. Нельзя было оказать никакой помощи этому обширному деревянному дому за недостатком инструментов, и потому, что те немногие инструменты, которые имелись, находились как раз под залом, который горел. Этот зал занимал приблизительно середину строений, которые его окружали, что могло составить две-три версты в окружности. Я вышла оттуда ровно в три часа, а в шесть не оставалось никакого следа от дома. Жар от огня стал так велик, что ни я, ни Чоглокова не были в состоянии его выносить, и мы велели карете отъехать в поле, на несколько сот шагов.

Наконец Чоглоков пришел с великим князем и сказал нам, что императрица уезжает в свой дом в Покровское и что она приказала нам ехать в дом Чоглокова, находившийся на первом углу направо на Большой Слободской улице. Тотчас же мы туда отправились; в этом доме был зал посредине и по четыре комнаты с каждой стороны. Хуже нашего едва ли можно было поместиться. Ветер гулял там по всем направлениям, двери и окна там наполовину сгнили, пол был со щелями в три-четыре пальца шириной; кроме того, насекомые там так и кишели; дети и слуги Чоглокова жили в нем в ту минуту, когда мы в него вошли, их оттуда выпроводили и поместили нас в этом ужасном доме, не имевшем почти мебели.

На другой день моего пребывания в этом приюте я узнала, что такое калмыцкий нос: маленькая девочка, которая была при мне, при моем пробуждении сказала мне, показывая на свой нос: «У меня тут орешек»; я пощупала ей нос и ничего там не нашла, но все утро это девочка только и повторяла, что у нее в носу орешек; это был ребенок лет четырех-пяти; никто не знал, что она хочет сказать этим своим орешком в носу; около полудня она, бегая, упала и стукнулась об угол стола, что заставило ее плакать,

и, плача, она вытащила свой платок и высморкалась; когда она сморкалась, орешек выпал у нее из носу, что я видела сама, и тогда я поняла, что орешек, который не мог бы оставаться незамеченным ни в каком европейском носу, мог держаться в углублении калмыцкого носа, который уходит внутрь головы, между двумя толстыми щеками.

Наши пожитки и все, что нам было нужно, осталось в грязи перед сгоревшим дворцом, и нам их привозили, в течение ночи и на следующий день. Чего мне было всего более жалко, так это моих книг. Я заканчивала тогда четвертый том «Словаря» Бейля[104]; я употребила на это чтение два года; каждые шесть месяцев я одолевала один том, поэтому можно представить себе, в каком одиночестве я проводила мою жизнь.

Наконец мне их принесли. Между моими пожитками находились пожитки графини Шуваловой; Владиславова из любопытства показала мне юбки этой дамы, которые все были подбиты сзади кожей, потому что она не могла держать мочи – эта беда случилась с ней после ее первых родов – и запах от нее пропитал все юбки; я поскорее отослала их по принадлежности.

Императрица потеряла в этом пожаре все, что привезла в Москву из ее огромного гардероба. Я имела честь услышать от нее, что она лишилась четырех тысяч пар платьев и что из всех она жалеет только платье, сделанное из материи, которую я ей послала и которую я получила от матери.

Она потеряла тут еще другие ценные вещи, между прочим таз, осыпанный резными каменьями, который граф Румянцев купил в Константинополе и за который он заплатил 8 тысяч дукатов. Все эти вещи помещались в гардеробной, находившейся под залом, где начался пожар. Этот зал служил аванзалом для большого дворцового зала; в десять часов утра истопники пришли топить этот аванзал; положив дрова в печь, они их зажгли, как обыкновенно; как только это было сделано, комната наполнилась дымом; они подумали, что он проходит через какие-нибудь незаметные скважины в печи, и стали замазывать скважины между изразцами глиной. Так как дым увеличивался, они стали искать щелей в печи; не нашедши их, они поняли, что щели находятся между переборками комнаты. Переборки эти были только из дерева. Они пошли за водой и погасили огонь в печи; но дым увеличивался и перешел в переднюю, где был часовой из конногвардейцев; этот, боясь задохнуться и не смея двинуться со своего поста, разбил стекло в окне и стал кричать, но так как никто не шел к нему на помощь и не слышал его, он выстрелил из ружья в окошко.

Этот выстрел был услышан на гауптвахте, находившейся

напротив дворца; к нему прибежали и, войдя, нашли всюду густой дым, из которого вывели часового. Истопников арестовали, – они думали, что, не предупреждая никого, сами потушат огонь или же помешают дыму увеличиться: они добросовестно были заняты этим в течение пяти часов.

Этот пожар натолкнул на открытие, которое сделал Чоглоков. У великого князя в его покоях было много очень больших комодов; когда их вынесли из его комнаты, несколько открытых или плохо закрытых ящиков представили глазам зрителей то, чем они были наполнены.

Кто бы поверил, что эти ящики содержали не что иное, как громадное количество бутылок вина и крепких настоек; они служили погребом Его Императорскому Высочеству. Чоглоков рассказал мне об этом; я ему сказала, что не знала этого обстоятельства, и сказала правду: я ничего об этом не ведала, но видела очень часто и почти ежедневно великого князя пьяным.

После пожара мы оставались в доме Чоглоковых около шести недель, и так как, гуляя, мы проходили часто мимо деревянного дома, расположенного в саду близ Салтыковского моста, принадлежавшего императрице и называвшегося «архиерейским» домом, потому что императрица купила его у одного архиерея, то нам вздумалось просить императрицу, без ведома Чоглоковых, разрешить нам жить в этом доме, который, как нам казалось и как говорили, был более удобен для жилья, нежели тот, в котором мы находились.

Наконец после многих хождений туда и сюда мы получили приказание переехать на житье в «архиерейский» дом. Это был очень старый деревянный дом, из которого не было никакого вида; он был построен на казенных подвалах и вследствие этого выше только что покинутого дома, имевшего всего один этаж. Печи были так стары, что, когда их топили, насквозь был виден огонь, так много было щелей, и дым наполнял комнаты; у нас у всех болели от него голова и глаза. Мы рисковали в этом доме быть сожженными заживо; в нем была всего одна деревянная лестница, а окна были высоко.

И действительно, в нем начинался в это время раза два или три пожар, пока мы в нем оставались, но его тушили. У меня тут очень заболело горло, с сильной лихорадкой. В тот день, как я захворала, Бретлах, который снова вернулся в Россию от Венского двора, должен был у нас ужинать, чтобы откланяться; он застал меня с красными и опухшими глазами; он подумал, что я плакала, и не ошибся. Скука, нездоровье, телесное и душевное беспокойство моего положения нагнали на меня на весь день большую ипохондрию. Я провела его вдвоем с Чоглоковой;

поджидая тех, кто не пришел, она каждую минуту говорила: «Вот как нас покидают». Ее муж обедал не дома и увез с собою всех. Несмотря на все обещания, данные нам Сергеем Салтыковым, улизнуть с этого обеда, он вернулся только с Чоглоковым. От всего этого я была зла, как собака.

Наконец через несколько дней нам позволили ехать в Люберцы. Здесь мы считали себя в раю. Дом был совсем новый и довольно хорошо устроенный; в нем танцевали каждый вечер, и весь наш двор здесь собрался. Во время одного из этих балов мы видели, что великий князь был долго занят разговором на ухо с Чоглоковым, после чего Чоглоков казался опечаленным, задумчивым и более обыкновенного замкнутым и хмурым.

Сергей Салтыков, видя это, а также, что Чоглоков необычайно с ним холоден, подсел к девице Марфе Шафировой и постарался узнать через нее, что это могла быть за непривычная дружба у великого князя с Чоглоковым. Она ему сказала, что не знает, что такое, но она догадывается, что это могло бы быть, так как великий князь несколько раз ей говорил: «Сергей Салтыков с моей женою обманывают Чоглокова неслыханным образом, тот влюблен в великую княгиню, а она его терпеть не может. Сергей Салтыков – наперсник Чоглокова; он его уверяет, что старается для него у моей жены, а вместо того старается у нее для себя самого, а та охотно выносит общество Сергея Салтыкова, который забавен; она пользуется им, чтобы делать с Чоглоковым что хочет, а в душе издевается над обоими; надо разуверить этого беднягу Чоглокова, мне его жаль, надо ему сказать правду, и тогда он увидит, кто из нас двоих ему настоящий друг: жена моя или я».

Как только Сергей Салтыков узнал об этом опасном разговоре и о неприятном положении, которое отсюда вытекало, он мне его передал, подсел к Чоглокову и спросил, что с ним. Чоглоков сначала вовсе не хотел объясняться и только вздыхал; потом стал горько жаловаться на то, как трудно находить верных друзей; наконец Сергей Салтыков столько раз подходил к нему со всех сторон, что вырвал у него признание относительно разговора, который у него только что был с великим князем. Конечно, нельзя было ожидать того, что было между ними сказано, не зная этого заранее.

Его Императорское Высочество начал с того, что стал усиленно убеждать Чоглокова в дружбе, говоря ему, что лишь в крайних житейских обстоятельствах можно отличить истинных друзей от ложных; что для того, чтобы убедить его, Чоглокова, в искренности своей дружбы, он сейчас даст ему явное доказательство своей откровенности; он знает, без всякого сомнения, что Чоглоков влюблен в меня, что он не ставит ему

этого в вину, – что я могу казаться ему достойной любви, что с сердцем не совладаешь, но что он должен его предупредить, что он плохо выбирает своих наперсников, что он простодушно думает, будто Сергей Салтыков его друг и что он у меня старается для него, между тем как тот старается только для самого себя и подозревает в нем своего соперника; что же меня касается, то я смеюсь над ними обоими, но, если он, Чоглоков, желает следовать его, великого князя, советам и довериться ему, тогда он увидит, что он ему единственный и настоящий друг.

Чоглоков очень благодарил великого князя за дружбу и за уверения в дружбе, и, в сущности, он принял все остальное за пустяки и бредни на свой счет. Легко поверить, что ни в каком случае он не придал значения тому наперснику, который и по положению, и по характеру был так же мало надежен, как и полезен. Раз это было высказано, Сергею Салтыкову не стоило ни малейшего труда водворить мир и спокойствие в голове Чоглокова, который привык не дорожить и не придавать большого значения речам человека, не обладавшего никаким рассудком и прослывшего за такового.

Когда я узнала все это, признаюсь, я была сильно возмущена против великого князя; и, чтобы отбить у него охоту к подобным попыткам впредь, я дала ему почувствовать, что мне небезызвестно то, что происходило между ним и Чоглоковым. Он покраснел, не сказал ни слова, ушел, надулся на меня, и дело на том и остановилось. Когда мы вернулись в Москву, нас перевели из «архиерейского» дома в покои того, который назывался Летним домом императрицы и уцелел от пожара. Императрица велела выстроить себе новые покои в течение шести недель; для этой цели брали и привозили бревна из Перовского дома, из дома графа Гендрикова и князей Грузинских. Наконец она въехала в него около Нового года.

Императрица отпраздновала день 1 января 1754 года в этом дворце, и мы с великим князем имели честь обедать с ней публично под балдахином. За столом Ее Императорское Величество казалась очень веселой и разговорчивой. У подножия трона были расставлены столы для нескольких сотен особ первых классов. Во время обеда императрица спросила, что это сидит там за особа (она указала ее место), такая тощая, невзрачная и с журавлиной шеей, как она выразилась. Ей сказали, что это Марфа Шафирова. Она расхохоталась и, обращаясь ко мне, сказала, что это напоминает ей русскую пословицу: шейка долга – на виселицу годна; я не могла удержаться от улыбки над этой императорской колкой насмешкой, которая не пропала даром и которую придворные повторяли из уст в уста, так что, встав из-за стола, я

увидела, что уже несколько лиц о ней знали. Слышал ли это великий князь, я не знаю, но достоверно только то, что он ни словом об этом не заикнулся, я и не подумала с ним об этом заговорить. Ни один год не изобиловал так пожарами, как 1753 и 1754 годы. Мне случалось неоднократно видеть из окон этих покоев Летнего дворца два, три, четыре и даже до пяти пожаров одновременно в различных местах Москвы. Во время Масленой императрица приказала, чтобы в этих новых покоях бывали разные балы и маскарады. Во время одного из них я видела, что императрица имела длинный разговор с генеральшей Матюшкиной[105]. Эта последняя не хотела, чтобы ее сын женился на княжне Гагариной, моей фрейлине, но императрица убедила мать, и княжна Гагарина, которой тогда было уже верных 38 лет, получила разрешение выйти замуж за Дмитрия Матюшкина.

Она была этому очень рада, да и я также; это был брак по склонности; Матюшкин тогда был очень красив. Чоглокова совсем не переезжала к нам в летние покои: она осталась под разными предлогами со своими детьми у себя в доме, который был очень недалеко от двора. В действительности же дело было в том, что эта женщина, такая благонравная и так любившая своего мужа, воспылала страстью к князю Петру Репнину[106] и получила очень заметное отвращение к своему мужу. Она думала, что не может быть счастлива без наперсницы, и я показалась ей самым надежным человеком; она показывала мне все письма, которые получала от своего возлюбленного; я хранила ее секрет очень верно, с мелочной точностью и осторожностью. Она виделась с князем в очень большом секрете; несмотря на то, супруг ее возымел некоторые подозрения; один конногвардейский офицер, Камынин, возбудил их в нем впервые. Этот человек был олицетворением ревности и подозрения; это было у него в характере; он был старым знакомым Чоглокова; этот последний открылся Сергею Салтыкову, который постарался его успокоить; я отнюдь не говорила Сергею Салтыкову того, что об этом знала, боясь невольной иногда нескромности. Под конец и муж стал мне делать кое-какие намеки; я разыграла из себя дурочку и удивленную и промолчала.

В феврале месяце у меня появились признаки беременности. В самую Пасху во время службы Чоглоков захворал сухой коликой; ему давали сильных лекарств, но болезнь его только усиливалась.

На Святой неделе великий князь поехал кататься с кавалерами нашего двора верхом. Сергей Салтыков был в том числе; я оставалась дома, потому что меня боялись выпускать ввиду моего положения и ввиду того, что у меня было уже два

выкидыша; я была одна в своей комнате, когда Чоглоков прислал просить меня пойти к нему; я пошла туда и застала его в постели; он стал сильно жаловаться мне на свою жену, сказал, что у нее свидания с князем Репниным, что он ходит к ней пешком, что на Масленой, в один из дней придворного бала, он пришел к ней одетый арлекином, что Камынин его выследил; словом, Бог знает, каких подробностей он мне не рассказал. В минуту наибольшего возбуждения его пришла его жена; тогда он стал в моем присутствии осыпать ее упреками, говоря, что она покидает его больного. И он и она были люди очень подозрительные и ограниченные; я смертельно боялась, чтобы жена не подумала, что это я выдала ее во множестве подробностей, которые он привел ей относительно ее свиданий.

Жена, в свою очередь, сказала ему, что не было бы странным, если бы она наказала его за его поведение по отношению к ней; что ни он и никто другой не может, по крайней мере, упрекнуть ее в том, что она пренебрегала им до сих пор в чем бы то ни было; и свою речь она закончила словами, что ему не пристало жаловаться; и тот и другой обращались все время ко мне и брали меня судьей и посредником в том, что говорили. Я молчала, боясь оскорбить того или другого, или обоих вместе, или же выдать себя. У меня горело лицо от страха; я была одна с ними. В самый разгар пререканий Владиславова пришла сказать мне, что императрица пожаловала в мои покои; я тотчас же туда побежала, Чоглокова вышла со мною, но вместо того, чтобы следовать за мной, она остановилась в одном коридоре, где была лестница, выходившая в сад; она там и уселась, как мне потом сказали. Что касается меня, то я вошла в мою комнату вся запыхавшаяся, и действительно застала там императрицу. Видя меня впопыхах и немного красной, она меня спросила, где я была. Я ей сказала, что пришла от Чоглокова, который болен, и что я побежала, чтобы вернуться возможно скорее, когда узнала, что она изволила ко мне пожаловать. Она не обратилась ко мне с другими вопросами, но мне показалось, что она задумалась над тем, что я сказала, и что это ей казалось странным; однако она продолжала разговаривать со мною; она не спросила, где великий князь, потому что ей было известно, что он выехал. Ни он, ни я во все царствование императрицы не смели ни выезжать в город, ни выходить из дому, не послав испросить у нее на это позволение.

Владиславова была в моей комнате; императрица несколько раз обращалась к ней, а потом ко мне, говорила о безразличных вещах и затем, пробыв без малого полчаса, ушла, объявив мне, что по случаю моей беременности она позволяет мне не являться 21 и 25 апреля. Я была удивлена, что Чоглокова не последовала

за мною; я спросила у Владиславовой, когда императрица ушла, что с тою приключилось; она мне сказала, что та уселась на лестнице, где плакала. Как только великий князь вернулся, я рассказала Сергею Салтыкову о том, что со мною случилось во время их прогулки: как Чоглоков меня позвал, что было сказано между мужем и женою, о моей боязни и визите, который императрица мне сделала. Тогда он мне сказал: «Если это так, то я думаю, что императрица приходила посмотреть, что вы делаете в отсутствие вашего мужа, и, чтобы видели, что вы были совершенно одни и у себя и у Чоглокова, я пойду и захвачу всех моих товарищей так, как есть, с ног до головы в грязи, к Ивану Шувалову». Действительно, когда великий князь удалился, он ушел со всеми теми, кто ездил верхом с великим князем, к Ивану Шувалову, который имел помещение при дворе. Когда они туда пришли, сей последний стал расспрашивать их подробно о прогулке, и Сергей Салтыков сказал мне потом, что, по его вопросам, ему показалось, что он не ошибся.

С этого дня болезнь Чоглокова стала все ухудшаться; 21 апреля, в день моего рождения, доктора нашли, что нет надежды на выздоровление. Об этом сообщили императрице, которая приказала, по своему обыкновению, перевезти больного в его собственный дом, чтоб он не умер при дворе, потому что она боялась покойников.

Я была очень огорчена, как только узнала о состоянии, в котором Чоглоков находился. Он умирал как раз в то время, когда после многих лет усилий и труда удалось сделать его не только менее злым и зловредным, но когда он стал сговорчивым и с ним даже можно было справляться, изучив его характер. Что касается жены, то она искренне меня любила в то время и из черствого и недоброжелательного Аргуса стала другом надежным и преданным. Чоглоков прожил в своем доме еще до 25 апреля, до дня коронации императрицы, в который он и скончался после полудня. Меня тотчас об этом уведомили: я посылала туда почти каждый час.

Я была поистине огорчена и очень плакала. Его жена тоже лежала в постели в последние дни болезни мужа; он был в одной стороне своего дома, она – в другой. Сергей Салтыков и Лев Нарышкин находились в комнате жены в минуту смерти ее мужа; окна комнаты были открыты, птица влетела в нее и села на карниз потолка, против постели Чоглоковой; тогда она, видя это, сказала: «Я убеждена, что мой муж только что отдал Богу душу; пошлите узнать, так ли это». Пришли сказать, что он действительно умер. Она говорила, что эта птица была душа ее мужа; ей хотели доказать, что эта птица была обыкновенная

птица, но не могли ее отыскать. Ей сказали, что она улетела, но, так как никто ее не видел, она осталась убеждена, что это была душа ее мужа, которая прилетела повидаться с ней.

Как только похороны Чоглокова были кончены, Чоглокова хотела побывать у меня; императрица, видя, что она переправляется через длинный Яузский мост, послала ей навстречу сказать, что она увольняет ее от должности при мне и чтобы она возвращалась домой. Ее Императорское Величество нашла неприличным, что, как вдова, она выехала так рано. В тот же день она назначила Александра Ивановича Шувалова исполнять при великом князе должность покойного Чоглокова. А этот Александр Шувалов, не сам по себе, а по должности, которую он занимал, был грозою всего двора, города и всей империи: он был начальником Государственного инквизиционного суда, который звали тогда Тайной канцелярией. Его занятия, как говорили, вызвали у него род судорожного движения, которое делалось у него на всей правой стороне лица, от глаза до подбородка, каждый раз, как он был взволнован радостью, гневом, страхом или боязнью.

Удивительно, как выбрали этого человека со столь отвратительной гримасой, чтобы держать его постоянно лицом к лицу с молодой беременной женщиной; если бы у меня родился ребенок с таким несчастным тиком, я думаю, что императрица была бы этим очень разгневана; между тем это могло бы случиться, так как я видела его постоянно, всегда неохотно и большею частью с чувством невольного отвращения, причиняемого его личными свойствами, его родными и его должностью, которая, понятно, не могла увеличить удовольствия от его общества. Но это было только слабым началом того блаженства, которое готовили нам и главным образом мне. На следующий день пришли мне сказать, что императрица снова назначит ко мне графиню Румянцеву. Я знала, что это был заклятый враг Сергея Салтыкова, что она недолюбливала также княжну Гагарину и что она очень повредила моей матери в глазах императрицы. На сей раз, узнав это, я потеряла всякое терпение; я принялась горько плакать и сказала графу Александру Шувалову, что если ко мне приставят графиню Румянцеву, то я сочту это за очень большое несчастье для меня; что эта женщина прежде повредила моей матери, что она очернила ее во мнении императрицы и что теперь она сделает то же самое и мне; что ее боялись, как чумы, когда она была у нас, и что много будет несчастных от такого распоряжения, если он не найдет средств отвратить его. Он обещал мне похлопотать об этом и постарался успокоить меня, боясь особенно за мое положение.

Действительно, он отправился к императрице и, когда вернулся, сказал мне, что он надеется, что императрица не назначит ко мне графиню Румянцеву. В самом деле, я не слышала больше разговоров об этом, и все занялись только отъездом в Петербург. Было установлено, что мы проведем 29 дней в дороге, то есть, что мы будем проезжать ежедневно только по одной почтовой станции. Я умирала от страху, как бы Сергея Салтыкова и Льва Нарышкина не оставили в Москве; но не знаю, как это случилось, что соблаговолили записать их в нашу свиту. Наконец мы отправились десятого или одиннадцатого мая из московского дворца. Я была в карете с женою графа Александра Шувалова, с самой скучной кривлякой, какую только можно себе представить, с Владиславовой и с акушеркой, без которой, как полагали, невозможно было обойтись, потому что я была беременна; мне было до тошноты скучно в карете, и я то и дело плакала.

Наконец, княжна Гагарина, которая лично не любила графиню Шувалову из-за того, что ее дочь, бывшая замужем за Головкиным, двоюродным братом княжны, была довольно необходительна с родителями своего мужа, выбрала минуту, когда она могла подойти ко мне, чтобы сказать мне, что она старается расположить в мою пользу Владиславову, потому что и она сама, и все боятся, чтобы ипохондрия, бывшая у меня в моем положении, не повредила и мне, и ребенку, которого я носила.

Что касается Сергея Салтыкова, то он не смел подойти ко мне ни близко, ни даже издали, из-за стеснения и постоянного присутствия Шуваловых, мужа и жены. Действительно, ей удалось уговорить Владиславову, которая согласилась по крайней мере на некоторое снисхождение, чтобы облегчить состояние вечного стеснения и принужденности, которое само и порождало эту ипохондрию, с какой я уже не в силах была справляться. Дело шло ведь о таких пустяках, всего о нескольких минутах разговора; наконец это удалось. После двадцати девяти дней столь скучной езды мы приехали в Петербург, в Летний дворец. Великий князь возобновил там прежде всего свои концерты. Это несколько облегчало мне возможность разговаривать, но ипохондрия моя стала такова, что каждую минуту и по всякому поводу у меня постоянно навертывались слезы на глаза и тысячу опасений приходили мне в голову; одним словом, я не могла избавиться от мысли, что все клонится к удалению Сергея Салтыкова.

Мы поехали в Петергоф; я много там ходила, но, несмотря на это, мои огорчения меня там преследовали. В августе мы вернулись в город и снова заняли Летний дворец. Для меня было почти смертельным ударом, когда я узнала, что к моим родам готовили покои, примыкавшие к апартаментам императрицы и

составлявшие часть этих последних. Александр Шувалов повел меня смотреть их; я увидела две комнаты, такие же, как и все в Летнем дворце, скучные, с единственным выходом, плохо отделанные малиновой камкой, почти без мебели и без всяких удобств. Я увидела, что буду здесь в уединении, без какого бы то ни было общества, и глубоко несчастна. Я сказала об этом Сергею Салтыкову и княжне Гагариной, которые, хоть и не любили друг друга, но сходились в своей дружбе ко мне. Они видели то же, что и я, но помочь этому было невозможно. Я должна была в среду перейти в эти покои, очень отдаленные от покоев великого князя. Во вторник вечером я легла и проснулась ночью с болями. Я разбудила Владиславову, которая послала за акушеркой, утверждавшей, что я скоро разрешусь. Послали разбудить великого князя, спавшего у себя в комнате, и графа Александра Шувалова. Этот послал к императрице, не замедлившей прийти около двух часов ночи.

Я очень страдала; наконец, около полудня следующего дня, 20 сентября, я разрешилась сыном. Как только его спеленали, императрица ввела своего духовника, который дал ребенку имя Павел, после чего тотчас же императрица велела акушерке взять ребенка и следовать за ней.

Я оставалась на родильной постели, а постель эта помещалась против двери, сквозь которую я видела свет; сзади меня было два больших окна, которые плохо затворялись, а направо и налево от этой постели – две двери, из которых одна выходила в мою уборную, а другая – в комнату Владиславовой. Как только удалилась императрица, великий князь тоже пошел к себе, а также и Шуваловы, муж и жена, и я никого не видела ровно до трех часов. Я много потела; я просила Владиславову сменить мне белье, уложить меня в кровать; она мне сказала, что не смеет. Она посылала несколько раз за акушеркой, но та не приходила; я просила пить, но получила тот же ответ.

Наконец после трех часов пришла графиня Шувалова, вся разодетая. Увидев, что я все еще лежу на том же месте, где она меня оставила, она вскрикнула и сказала, что так можно уморить меня. Это было очень утешительно для меня, уже заливавшейся слезами с той минуты, как я разрешилась, и особенно оттого, что я всеми покинута и лежу плохо и неудобно, после тяжелых и мучительных усилий, между плохо затворявшимися дверьми и окнами, причем никто не смел перенести меня на мою постель, которая была в двух шагах, а я сама не в силах была на нее перетащиться.

Шувалова тотчас же ушла, и, вероятно, она послала за акушеркой, потому что последняя явилась полчаса спустя и

сказала нам, что императрица была так занята ребенком, что не отпускала ее ни на минуту. Обо мне и не думали. Это забвение или пренебрежение по меньшей мере не были лестны для меня; я в это время умирала от усталости и жажды; наконец меня положили в мою постель, и я ни души больше не видала во весь день, и даже не посылали осведомиться обо мне.

Его Императорское Высочество со своей стороны только и делал, что пил с теми, кого находил, а императрица занималась ребенком.

В городе и в империи радость по случаю этого события была велика. Со следующего дня я начала чувствовать невыносимую ревматическую боль, начиная с бедра, вдоль ляжки и по всей левой ноге; эта боль мешала мне спать, и притом я схватила сильную лихорадку. Несмотря на это, на следующий день мне оказывали почти столько же внимания; я никого не видела, и никто не справлялся о моем здоровье; великий князь, однако, зашел в мою комнату на минуту и удалился, сказав, что не имеет времени оставаться.

Я то и дело плакала и стонала в своей постели, одна Владиславова была в моей комнате; в сущности, она меня жалела, но не могла этому помочь. Кроме того, я не любила, чтобы меня жалели, и не любила жаловаться; у меня была слишком гордая душа, и одна мысль быть несчастной казалась мне невыносимой. До тех пор я делала все, что могла, чтобы не казаться таковой.

Я могла бы видеть графа Александра Шувалова и его жену, но это были существа такие пошлые и такие скучные, что я всегда была в восторге, когда они отсутствовали.

На третий день пришли от императрицы спросить у Владиславовой от имени государыни, не осталась ли у меня в комнате мантилья из голубого атласа, которая была в тот день, когда я разрешилась, на Ее Императорском Величестве, так как было очень холодно в моей комнате. Владиславова пошла всюду искать эту мантилью и наконец нашла ее в углу моей уборной, где ее не заметили, потому что со времени моих родов редко входили в эту комнату; найдя ее, она тотчас ее отослала.

Эта мантилья, как мы узнали немного времени спустя, дала повод к довольно странному приключению. У императрицы не было определенного часа ни для сна, ни для вставанья, ни для обеда, ни для ужина, ни для одевания; после полудня в один из трех указанных дней она легла на канапе, куда велела положить матрац и подушки; лежа, она спросила эту мантилью, так как ей было холодно; ее стали всюду искать и не нашли, потому что она осталась у меня в комнате.

Тогда императрица приказала искать ее под подушками

изголовья, думая, что ее там найдут; сестра Крузе, эта любимая камер-фрау императрицы, просунула руку под изголовье Ее Императорского Величества и вытащила ее, говоря, что мантильи под этим изголовьем нет, но что там есть пучок волос или что-то вроде этого, но она не знает, что это такое. Императрица тотчас встала с места и велела поднять матрац и подушки, и тогда увидели, не без удивления, бумагу, в которой были волосы, намотанные на какие-то коренья.

Тогда и женщины императрицы, и она сама стали говорить, что это, наверное, какие-нибудь чары или колдовство, и все стали делать догадки о том, кто бы мог иметь смелость положить этот сверток под изголовье императрицы.

Заподозрили одну из женщин, которую Ее Императорское Величество любила больше всех; ее звали Анной Дмитриевной Домашевой; но недавно эта женщина, овдовев, вышла во второй раз замуж за камердинера императрицы. Господа Шуваловы не любили этой женщины, которая была им враждебна, и по своей силе, и по доверию императрицы, которым она пользовалась с молодых лет, была очень способна сыграть с ними какую-нибудь штуку, которая сильно уменьшила бы их фавор. Так как Шуваловы имели сторонников, то последние усмотрели в этом преступление. Императрица и сама по себе была к тому склонна, потому что верила в чары и колдовство. Вследствие этого она велела графу Александру Шувалову арестовать эту женщину, ее мужа и ее двоих сыновей, из которых один был гвардейским офицером, а другой – камер-пажем императрицы.

Муж через два дня после того, как был арестован, спросил бритву, чтобы побриться, и перерезал ею себе горло; а жена с детьми оставались долго под арестом, и она призналась, что, дабы продлить милость императрицы к ней, она употребила эти чары и что положила еще несколько крупинок четверговой соли в рюмку венгерского, которую подавала императрице. Это дело закончили тем, что сослали и женщину, и ее детей в Москву; распустили потом слух, будто обморок, бывший с императрицей за несколько дней до моих родов, был вследствие напитков, которые эта женщина давала императрице; но на самом деле она никогда не давала ей ничего, кроме двух или трех крупинок четверговой соли, которые, конечно, не могли ей повредить; во всем этом могли быть достойны порицания только дерзость этой женщины и ее суеверие.

Наконец великий князь, скучая по вечерам без моих фрейлин, за которыми он ухаживал, пришел предложить мне провести вечер у меня в комнате. Тогда он ухаживал как раз за самой некрасивой: это была графиня Елисавета Воронцова; на шестой

день были крестины моего сына; он уже чуть не умер от молочницы.

Я могла узнавать о нем только украдкой, потому что спрашивать о его здоровье – значило бы сомневаться в заботе, которую имела о нем императрица, и это могло быть принято очень дурно. Она и без того взяла его в свою комнату, и, как только он кричал, она сама к нему подбегала, и заботами его буквально душили.

Его держали в чрезвычайно жаркой комнате, запеленавши во фланель и уложив в колыбель, обитую мехом черно-бурой лисицы; его покрывали стеганным на вате атласным одеялом и сверх этого клали еще другое, бархатное, розового цвета, подбитое мехом черно-бурой лисицы.

Я сама много раз после этого видела его уложенного таким образом: пот лил у него с лица и со всего тела, и это привело к тому, что когда он подрос, то от малейшего ветерка, который его касался, он простужался и хворал.

Кроме того, вокруг него было множество старых мамушек, которые бестолковым уходом, вовсе лишенным здравого смысла, приносили ему несравненно больше телесных и нравственных страданий, нежели пользы.

В самый день крестин императрица после обряда пришла в мою комнату и принесла мне на золотом блюде указ своему Кабинету выдать мне сто тысяч рублей; к этому она прибавила небольшой ларчик, который я открыла только тогда, когда она ушла. Эти деньги пришлись мне очень кстати, потому что у меня не было ни гроша и я была вся в долгу; ларчик же, когда я его открыла, не произвел на меня большого впечатления: там было очень бедное маленькое ожерелье с серьгами и двумя жалкими перстнями, которые мне совестно было бы подарить моим камер-фрау. Во всем этом ларчике не было ни одного камня, который стоил бы сто рублей; ни работой, ни вкусом эти вещи тоже не блистали. Я промолчала и велела убрать императорский ларчик; вероятно, чувствовали явную ничтожность этого подарка, потому что граф Александр Шувалов пришел мне сказать, что ему приказано узнать от меня, как мне понравился ларчик; я ему ответила, что все, что я получала из рук Ее Императорского Величества, я привыкла считать бесценным для себя.

Он ушел с этим комплиментом очень веселый. Он впоследствии снова к этому вернулся, видя, что я никогда не надеваю это прекрасное ожерелье и особенно – жалкие серьги, и сказал, чтобы я их надевала; я ему ответила, что на празднества императрицы я привыкла надевать, что у меня есть лучшего, а это ожерелье и серьги не такого сорта.

Четыре или пять дней спустя после того, как мне принесли деньги, которые императрица мне пожаловала, барон Черкасов, ее кабинет-секретарь, велел попросить меня: чтобы я бога ради одолжила эти деньги Кабинету императрицы, потому что она требовала денег, а их не было ни гроша. Я отослала ему его деньги, и он возвратил мне их в январе месяце.

Великий князь, узнав о подарке, сделанном мне императрицей, пришел в страшную ярость оттого, что она ему ничего не дала. Он с запальчивостью сказал об этом графу Александру Шувалову. Этот последний пошел доложить об этом императрице, которая тотчас же послала великому князю такую же сумму, какую дала и мне; для этого и взяли у меня в долг мои деньги.

Надо правду сказать, Шуваловы были вообще люди крайне трусливые, и этим-то путем можно было ими управлять; но эти прекрасные качества тогда были еще не совсем открыты.

После крестин моего сына были празднества, балы, иллюминация и фейерверк при дворе. Что касается меня, то я все еще была в постели, больная и страдающая от сильной скуки; наконец выбрали семнадцатый день после моих родов, чтобы объявить мне сразу две очень неприятные новости. Первая, что Сергей Салтыков был назначен отвезти известие о рождении моего сына в Швецию. Вторая, что свадьба княжны Гагариной назначена на следующей неделе; это значило попросту сказать, что я буду немедленно разлучена с двумя лицами, которых я любила больше всех из тех, кто меня окружал. Я зарылась больше чем когда-либо в свою постель, где я только и делала, что горевала; чтобы не вставать с постели, я отговорилась усилением боли в ноге, мешавшей мне вставать; но на самом деле я не могла и не хотела никого видеть, потому что была в горе.

Во время моих родов у великого князя была тоже большая неприятность, потому что граф Александр Шувалов пришел ему сказать, что прежний охотник великого князя, Бастиан, которому императрица повелела несколько лет тому назад жениться на Шенк, моей прежней камер-юнгфере, донес ему, что от кого-то слышал, что Брессан хотел чем-то опоить великого князя. А этот Бастиан был большой плут и пьяница, покучивавший время от времени с Его Императорским Высочеством; поссорившись с Брессаном, которого он считал в большей милости у великого князя, нежели был он сам, он вздумал сыграть с ним злую шутку. Великий князь любил их обоих. Бастиан был посажен в крепость; Брессан думал, что тоже туда угодит, но он отделался одним страхом. Охотник был выслан из России и отправлен в Голштинию со своею женою, а Брессан сохранил свое место,

потому что он служил всем шпионом.

Сергей Салтыков после некоторых отсрочек, происшедших оттого, что императрица нечасто и неохотно подписывала бумаги, уехал; княжна Гагарина между тем вышла замуж в назначенный срок. Когда прошло 40 дней со времени моих родов, императрица, когда давали молитву, пришла вторично в мою комнату. Я встала с постели, чтобы ее принять; но она, видя меня такой слабой и такой исхудавшей, велела мне сидеть, пока ее духовник читал молитву. Сына моего принесли в мою комнату: это было в первый раз, что я его увидела после его рождения. Я нашла его очень красивым, и его вид развеселил меня немного; но в ту самую минуту, как молитвы были закончены, императрица велела его унести и ушла. Первого ноября было назначено Ее Императорским Величеством для того, чтобы я принимала обычные поздравления после шести недель, прошедших со времени моих родов. Для этого случая поставили очень богатую мебель в комнату рядом с моей, и там я сидела на бархатной розовой постели, вышитой серебром, и все подходили целовать мне руку. Императрица тоже пришла туда и от меня переехала в Зимний дворец, куда мы получили приказание последовать за нею дня два или три спустя.

Нас поместили в комнатах, которые занимала моя мать и которые, собственно говоря, принадлежали наполовину к дому Ягужинского и наполовину к дому Рагузинского; другая половина этого последнего дома была занята Коллегией иностранных дел. В то время строили Зимний дворец со стороны большой площади. Я переехала из Летнего дворца в зимнее помещение с твердым намерением не выходить из комнаты до тех пор, пока не буду чувствовать себя в силах победить свою ипохондрию. Я читала тогда «Историю Германии» и «Всеобщую историю» Вольтера. Затем я прочла в эту зиму столько русских книг, сколько могла достать, между прочим два огромных тома Барониуса[107] в русском переводе; потом я напала на «Дух законов» Монтескье, после чего прочла «Анналы» Тацита, сделавшие необыкновенный переворот в моей голове, чему, может быть, немало способствовало печальное расположение моего духа в это время. Я стала видеть многие вещи в черном свете и искать в предметах, представлявшихся моему взору, причин глубоких и более основанных на интересах. Я собралась с силами, чтобы выйти на Рождество. Действительно, я присутствовала при богослужении, но в самой церкви меня охватила дрожь, и я почувствовала боли во всем теле, так что, вернувшись к себе, я разделась и улеглась в мою кровать, а это было не что иное, как кушетка, поставленная мной у заделанной двери, через которую, как мне казалось, не

дуло, потому что, кроме подбитой сукном портьеры, перед ней стояли еще большие ширмы, но эта дверь, вероятно, наградила меня всеми флюсами, какие одолевали меня в эту зиму.

На второй день Рождества жар от лихорадки был так велик, что я бредила; когда я закрывала глаза, я видела перед собою лишь плохо нарисованные фигуры на изразцах печи, в которую упиралась моя кушетка, так как комната была маленькая и узкая.

Что касается моей спальной, то я почти вовсе туда не входила, потому что она была очень холодная от окон, выходивших с двух сторон на Неву, на восток и на север; вторая причина, прогонявшая меня оттуда, была близость покоев великого князя, где днем и отчасти ночью был всегда шум, приблизительно такой же, как в кордегардии; кроме того, так как он и все его окружающие много курили, то неприятные испарения и запах табаку давали себя здесь знать. Итак, я находилась всю зиму в этой несчастной узкой комнатке, в которой было два окна и один простенок, что в общем могло составлять пространство от семи до восьми аршин в длину и аршина четыре в ширину, между тремя дверьми. Так начался 1755 год.

С Рождества до Поста были только празднества при дворе и в городе: это было все еще по случаю рождения моего сына. Все наперерыв друг перед другом спешили задавать возможно лучшие пиршества, балы, маскарады, иллюминации и фейерверки; я ни на одном не присутствовала под предлогом болезни.

К концу Масленой Сергей Салтыков вернулся из Швеции. Во время его отсутствия великий канцлер граф Бестужев все известия, какие он получал от него, и депеши графа Панина, в то время русского посланника в Швеции, посылал мне через Владиславову, которой передавал их ее зять, старший чиновник при великом канцлере, а я их отсылала тем же путем. Таким же образом я узнала еще, что, как только Сергей Салтыков вернется, решено послать его жить в Гамбург в качестве русского посланника на место князя Александра Голицына, которого назначили в армию. Это новое распоряжение не уменьшило моего горя. Когда Сергей Салтыков вернулся, он послал мне сказать через Льва Нарышкина, чтобы я указала ему, если могу, средство меня видеть; я поговорила об этом с Владиславовой, которая согласилась на это свидание. Он должен был пройти к ней, а оттуда ко мне; я ждала его до трех часов утра, но он совсем не пришел; я смертельно волновалась по поводу того, что могло помешать ему прийти. Я узнала на следующий день, что его увлек граф Роман Воронцов в ложу франкмасонов. Он уверял, что не мог выбраться оттуда, не возбудив подозрений. Но я так расспрашивала и выведывала у Льва Нарышкина, что мне стало

ясно как день, что он не явился по недостатку рвения и внимания ко мне, без всякого уважения к тому, что я так долго страдала исключительно из-за моей привязанности к нему. Сам Лев Нарышкин, хоть и друг его, не очень-то или даже совсем не оправдывал его. Правду сказать, я этим была очень оскорблена; я написала ему письмо, в котором горько жаловалась на его поступок. Он мне ответил и пришел ко мне; ему не трудно было меня успокоить, потому что я была к тому очень расположена. Он меня убедил показаться в обществе.

Я последовала его совету и появилась 10 февраля, в день рождения великого князя и накануне Поста. Я заказала себе для этого дня великолепное платье из голубого бархата, вышитое золотом. Так как в своем одиночестве я много и много размышляла, то я решила дать почувствовать тем, которые мне причинили столько различных огорчений, что от меня зависело, чтобы меня не оскорбляли безнаказанно, и что дурными поступками не приобретешь ни моей привязанности, ни моего одобрения. Вследствие этого я не пренебрегала никаким случаем, когда могла бы выразить Шуваловым, насколько они расположили меня в свою пользу; я выказывала им глубокое презрение, я заставляла других замечать их злость, глупости, я высмеивала их всюду, где могла, всегда имела для них наготове какую-нибудь язвительную насмешку, которая затем облетала город и тешила злобу на их счет; словом, я им мстила всякими способами, какие могла придумать; в их присутствии я не упускала случая отличать тех, кого они не любили. Так как было немало людей, которые их ненавидели, то у меня не было недостатка в поддержке. Графов Разумовских, которых я всегда любила, я больше чем когда-либо ласкала.

Я удвоила внимательность и вежливость по отношению ко всем, исключая Шуваловых. Одним словом, я держалась очень прямо, высоко несла голову, скорее как глава очень большой партии, нежели как человек униженный и угнетенный. Шуваловы сначала не знали, на какой ноге плясать. Они держали совет и прибегли к придворным хитростям и интригам. В это время появился в России некий Брокдорф[108], голштинский дворянин, которого раньше прогнали с границы России, куда он было ехал, тогдашние приближенные великого князя Брюммер и Бергхольц, потому что они знали его как человека с очень дурным характером и способного к интриге. Этот человек явился очень кстати для господ Шуваловых. Так как он имел ключ камергера великого князя как герцога Голштинского, то сей ключ дал ему право входа к Его Императорскому Высочеству, который, кроме

того, был милостиво расположен ко всякому болвану, приезжавшему из этой страны. Этот человек нашел доступ к графу Петру Шувалову[109] вот каким образом. Он познакомился в гостинице, где он стоял, с одним человеком, который не выходил из петербургских гостиниц, разве только для того, чтобы пойти к трем девицам-немкам, довольно пригожим, по имени Рейфенштейн; одна из этих девиц была на содержании у графа Петра Шувалова.

Человека, о котором идет речь, звали Браун; это был своего рода сводник по всяким делам, он ввел Брокдорфа к этим девицам; здесь он познакомился с графом Петром Шуваловым; тот начал усиленно заверять его в своей привязанности к великому князю и мало-помалу стал жаловаться на меня. Брокдорф при первом случае донес все это великому князю, и его настроили на то, чтобы, как он говорил, образумить его жену. С этой целью Его Императорское Высочество однажды после обеда пришел ко мне в комнату и сказал мне, что я начинаю становиться невыносимо горда и что он сумеет меня образумить. Я его спросила, в чем состоит эта гордость? Он мне ответил, что я держусь очень прямо. Я его спросила: разве для того, чтобы ему понравиться, нужно гнуть спину как рабы турецкого султана? Он рассердился и сказал мне, что он сумеет меня образумить. Я спросила у него: «Каким образом?» Тогда он прислонился спиною к стене, вытащил наполовину свою шпагу и показал мне ее. Я его спросила, что это значит, не рассчитывает ли он драться со мною; что тогда и мне нужна шпага. Он вложил свою наполовину вынутую шпагу в ножны и сказал мне, что я стала ужасно зла. Я спросила его: «В чем?» Тогда он мне пробормотал: «Да по отношению к Шуваловым». На это я отвечала, что это лишь в отместку и что он хорошо сделает, если не станет говорить о том, чего не знает и в чем ничего не смыслит. Он стал говорить: «Вот что значит не доверяться своим истинным друзьям, и выходит плохо. Если бы вы мне доверялись, то это пошло бы вам на пользу». Я сказала ему: «Да в чем доверяться?»

Тогда он стал говорить мне такие несуразные вещи, столь лишенные самого обыкновенного здравого смысла, что я, видя, что он просто-напросто заврался, дала ему говорить, не возражая ему, и воспользовалась перерывом, удобным, как мне показалось, чтобы посоветовать ему идти спать, ибо я видела ясно, что вино помутило ему разум и лишило его всякого признака здравого смысла. Он последовал моему совету и пошел спать. От него уже тогда начало почти постоянно нести вином вместе с запахом курительного табаку, так что это бывало буквально невыносимо для тех, кто к нему приближался. В тот же вечер, когда я играла в

карты, граф Александр Шувалов пришел мне объявить от имени императрицы, будто она запретила дамам употреблять в их наряде многие материи, которые были перечислены в объявлении.

Чтобы показать ему, как Его Императорское Высочество меня усмирил, я засмеялась ему в лицо и сказала ему, что он мог бы не утруждать себя сообщением мне этого объявления, потому что я никогда не надеваю ни одной из материй, которые не нравятся Ее Императорскому Величеству; что, впрочем, я не полагаю своего достоинства ни в красоте, ни в наряде, что, когда первая прошла, последний становится смешным, что остается только один характер. Он выслушал это до конца, помаргивая правым глазом, как это было у него в привычке, и ушел со своей гримасой. Я обратила на это внимание тех, кто играл со мною, передразнив его, что заставило смеяться всю компанию.

Несколько дней спустя великий князь сказал мне, что он хочет просить у императрицы денег для своих голштинских дел, которые идут все хуже и хуже, и что советует ему это Брокдорф. Я хорошо поняла, что это была приманка, на которую его хотели поймать, чтобы заставить его надеяться на получение этих денег через посредство господ Шуваловых. Я ему сказала: «Нет ли возможности сделать иначе?» Он мне ответил, что покажет мне, что по этому поводу ему предъявляют голштинцы. Он действительно так и сделал; просмотрев бумаги, которые он мне показал, я ему сказала, что, как мне кажется, он может обойтись без того, чтобы выпрашивать деньги у своей тетушки, которая, может быть, еще откажет, так как не прошло еще и шести месяцев с тех пор, как она дала ему сто тысяч; но он остался при своем мнении, а я при своем. Что несомненно, так это то, что его долго обнадеживали, что у него будут деньги, но он ничего не получил.

После Пасхи мы отправились в Ораниенбаум. Перед отъездом императрица позволила мне повидать моего сына в третий раз с тех пор, как он родился. Надо было пройти через все покои Ее Императорского Величества, чтобы добраться до его комнаты. Я нашла его в удушливой жаре, как я это уже рассказывала. Приехав на дачу в Ораниенбаум, мы увидели там нечто необычайное. Его Императорское Высочество, которому его голштинцы постоянно толковали о дефиците и которому все говорили, чтобы он сократил число этих непутных людей, которых притом он мог видать только тайком и урывками, взял да и решился вдруг выписать их целый отряд. Это было также дело рук злосчастного Брокдорфа, льстившего преобладающей страсти этого князя. Шуваловым он дал понять, что, потворствуя ему этой игрушкой или погремушкой, они навсегда обеспечат

себе его милость, что они займут его этим и могут быть на будущее время уверены в его полном одобрении всего того, что они со временем предпримут.

От императрицы, которая ненавидела Голштинию и все то, что оттуда исходило, и видела, как подобные военные погремушки погубили отца великого князя, герцога Карла Фридриха, во мнении Петра I и всего русского общества, сначала, кажется, это скрыли или сказали ей, что это такой пустяк, что не стоило об этом и говорить, и что притом одно присутствие графа Александра Шувалова является уже достаточной уздой для того, чтобы это дело не имело никаких последствий. Сев на суда в Киле, этот отряд прибыл в Кронштадт, а оттуда перебрался в Ораниенбаум. Великий князь, который при Чоглокове надевал голштинский мундир только в своей комнате и как бы украдкой, теперь уже не стал носить другого, кроме как на куртагах, хотя он был подполковником Преображенского полка и, кроме того, был в России шефом Кирасирского полка. По совету Брокдорфа великий князь держал в большом секрете от меня эту перевозку войск. Признаюсь, когда я это узнала, я ужаснулась тому отвратительному впечатлению, которое этот поступок великого князя должен был произвести на русское общество и даже на ум императрицы, взгляды которой мне были прекрасно известны. Александр Шувалов с обычным подергиванием глаза смотрел, как этот отряд проходил мимо балкона в Ораниенбауме. Я была рядом с ним; в глубине души он не одобрял того, что он и его родня условились терпеть. При Ораниенбаумском дворце стоял караул из Ингерманландского полка, который чередовался с Астраханским. Я узнала, что, видя, как проходят голштинские войска, солдаты сказали: «Эти проклятые немцы все проданы Прусскому королю; это все предателей приводят в Россию». Вообще, общество было возмущено этим появлением; самые преданные пожимали плечами, самые умеренные находили это смешным и странным; в сущности, это было очень неосторожное ребячество.

Что меня касается, то я молчала, а когда мне об этом говорили, я высказывала свое мнение таким образом, чтобы увидели, что я этого ничуть не одобряю; я действительно смотрела на это дело, с какой стороны его ни поверни, как на в высшей степени вредное для блага великого князя, ибо при ближайшем рассмотрении какое же другое мнение можно было по этому поводу иметь? Одно его удовольствие не могло никогда вознаградить за тот вред, который эта затея должна была сделать ему в общественном мнении. Его Императорское Высочество, в восхищении от своего отряда, поместился с ним в лагере,

который для этого устроил, и только и делал, что занимался с ними военными учениями. Надо было их кормить, но об этом совсем не подумали; между тем дело было неотложное, и произошло несколько столкновений с гофмаршалом, который не был готов к такому требованию; наконец он на это согласился, и камер-лакеи вместе с солдатами Ингерманландского полка, имевшими караул при дворце, были употреблены на то, чтобы носить из дворцовой кухни в лагерь пищу для вновь прибывших. Этот лагерь был не особенно близко от дворца; ни тем, ни другим ничего не дали за их труд; можно себе представить, какое прекрасное впечатление должно было произвести столь мудрое и разумное распоряжение.

Солдаты Ингерманландского полка говорили: «Вот мы стали лакеями этих проклятых немцев». Дворцовые лакеи говорили: «Нас заставляют служить этому мужичью». Когда я увидела и узнала, что происходит, я твердо решила держаться как можно дальше от этой опасной ребяческой игры. Камергеры нашего двора, которые были женаты, имели при себе своих жен; это составляло довольно многочисленную компанию, кавалерам нечего было делать в голштинском лагере, из которого Его Императорское Высочество не выходил. Таким образом, среди этой компании придворных и с нею я уходила гулять как можно чаще, но всегда в сторону, противоположную от лагеря, к которому мы не подходили ни издали, ни близко. Мне вздумалось тогда развести себе сад в Ораниенбауме, и так как я знала, что великий князь не даст мне для этого ни клочка земли, то я попросила князей Голицыных продать или уступить мне пространство во сто саженей невозделанной и давно брошенной земли, которая находилась у них совсем рядом с Ораниенбаумом; так как этот кусок земли принадлежал восьми или десяти членам их семьи, то они охотно мне его уступили, не получая от нее, впрочем, никакого дохода. Я начала делать планы, как строить и сажать, и так как это была моя первая затея в смысле посадок и построек, то она приняла довольно обширные размеры. У меня был старый хирург, француз, по имени Гюйон, который, видя это, говорил мне: «К чему это? Помяните мое слово: я вам предсказываю, что в один прекрасный день вы все это бросите». Его предсказание сбылось, но мне нужно было какое-либо развлечение, а это и было развлечением, которое могло развивать воображение.

Для посадки моего сада я сначала пользовалась услугами ораниенбаумского садовника, Ламберти; он находился на службе императрицы, когда она была еще цесаревной, в ее царскосельском имении, откуда она перевела его в Ораниенбаум.

Он занимался предсказаниями, и, между прочим, предсказание, сделанное им императрице, сбылось. Он ей предрек, что она взойдет на престол. Этот же человек сказал мне и повторял это столько раз, сколько мне было угодно его слушать, что я стану Российской самодержавной императрицей, что я увижу детей, внуков и правнуков и умру в глубокой старости, с лишком восьмидесяти лет от роду. Он сделал более того: он определил год моего восшествия на престол за шесть лет до того, как оно действительно произошло. Это был очень странный человек, говоривший с такою уверенностью, с которой невозможно было его сбить. Он уверял, что императрица относится к нему с недоброжелательством за то, что он предсказал ей, что с ней случилось, и что она выслала его из Царского Села в Ораниенбаум, потому что боялась его, так как он не мог больше обещать ей трона. Кажется, в Троицын день нас вытащили из Ораниенбаума и заставили приехать в город. Приблизительно около этого времени прибыл в Россию английский посланник кавалер Уильямс[110]; в его свите находился граф Понятовский[111], поляк, сын того, который примкнул к партии Карла XII, короля Шведского[112].

После краткого пребывания в городе мы вернулись в Ораниенбаум, где императрица приказала праздновать Петров день. Она не приехала туда сама, потому что не хотела праздновать первые именины моего сына Павла, приходившиеся в тот же день. Она осталась в Петергофе; там она села у окна, где, по-видимому, оставалась весь день, потому что все приехавшие в Ораниенбаум говорили, что видели ее у этого окна.

В Ораниенбаум наехало множество народа; танцевали в зале, который находится при входе в мой сад, потом там же ужинали; иностранные послы и посланники также приехали; помню, что английский посланник, кавалер Генбюри Уильямс, был за ужином моим соседом и что у нас с ним был разговор – столь же приятный, сколь и веселый; так как он был очень умен и образован и знал всю Европу, то с ним не трудно было разговаривать. Я узнала потом, что ему так же было весело в этот вечер, как и мне, и что он отзывался обо мне с большой похвалой; в этом отношении я никогда не терпела недостатка со стороны тех голов или умов, которые подходили к моему уму, и так как в то время у меня было меньше завистников, то обо мне говорили вообще с довольно большой похвалой: меня считали умной, и множество лиц, знавших меня поближе, удостаивали меня своим доверием, полагались на меня, спрашивали моих советов и оставались довольны теми, которые я им давала.

Великий князь издавна звал меня madame la Ressource[113], и,

как бы он ни был сердит и как бы ни дулся, но, если он находился в беде в каком-нибудь смысле, он, по принятому им обыкновению, бежал ко мне со всех ног, чтобы вырвать у меня мое мнение; как только он его получал, он удирал – опять со всех ног. Помню также, что на этом празднике в Петров день в Ораниенбауме, видя, как танцует граф Понятовский, я стала говорить кавалеру Уильямсу о его отце и о том зле, которое он причинил Петру Первому. Английский посланник сказал мне много хорошего о сыне и подтвердил мне то, что я уже знала, а именно, что в то время его отец и семья его матери, Чарторыйские[114], составляли русскую партию в Польше и что они отправили этого сына в Россию, поручив его ему [Уильямсу], чтобы воспитать его в их чувствах к России, и что он надеется, что этот молодой человек сделает карьеру в России. Ему могло быть тогда 22–23 года. Я ответила ему, что вообще я считаю Россию для иностранцев пробным камнем их достоинств и что тот, кто успевал в России, мог быть уверен в успехе во всей Европе. Это замечание я считала всегда безошибочным, ибо нигде, как в России, нет таких мастеров подмечать слабости, смешные стороны или недостатки иностранца; можно быть уверенным, что ему ничего не спустят, потому что, естественно, всякий русский в глубине души не любит ни одного иностранца.

Приблизительно в это время я узнала, что поведение Сергея Салтыкова было очень нескромно и в Швеции, и в Дрездене; и в той, и в другой стране он, кроме того, ухаживал за всеми женщинами, которых встречал. Сначала я не хотела ничему верить, но под конец я слышала, как об этом со всех сторон говорили, так что даже друзьям его не удалось его оправдать.

В течение этого года я больше, чем когда-либо, сдружилась с Анной Никитичной Нарышкиной[115]. Лев, ее деверь, много этому содействовал; он был почти всегда третьим между нами, и его дурачествам не было конца; он нам говорил иногда: «Той из вас, которая будет лучше себя вести, я предназначаю одну драгоценную вещь, за которую вы меня поблагодарите». Ему не мешали говорить, и никто даже не любопытствовал спросить у него, что это была за драгоценность.

Осенью голштинские войска были отправлены обратно морем, и мы вернулись в город и заняли Летний дворец. В это время Лев Нарышкин заболел горячкой, в продолжение которой он писал мне письма; я очень хорошо видела, что письма эти были не его собственного сочинения. Я ему отвечала. Он просил у меня в этих письмах то варенья, то других подобных пустяков, а потом благодарил меня за них. Эти письма были отлично написаны и очень веселые; он говорил, что пользуется рукою

своего секретаря. Наконец я узнала, что этим секретарем был граф Понятовский, который не выходил от него и втерся в дом Нарышкиных. Из Летнего дворца с наступлением зимы нас перевели в новый Зимний дворец, который императрица велела выстроить из дерева, где в настоящее время находится дом Чичериных. Этот дворец занимал весь квартал до места, находившегося против дома графини Матюшкиной, который принадлежал тогда Наумову[116]. Мои окна были против этого дома, занятого фрейлинами. При входе туда я была особенно поражена высотою и величиною покоев, которые нам предназначали. Четыре больших прихожих и две комнаты с кабинетом были приготовлены для меня и столько же для великого князя; мои покои были достаточно хорошо распределены, так что мне не приходилось страдать от близости комнат великого князя. В этом уже было большое преимущество. Граф Александр Шувалов заметил мое удовольствие и пошел тотчас же доложить императрице, что я очень хвалила красоту, величину и количество предназначенных мне покоев. Он мне это потом сказал с видом некоторого самодовольства, сопровождавшимся его обычным помаргиванием глаза и улыбкой.

В это время и еще долго спустя главной забавой великого князя в городе было необычайное количество игрушечных солдатиков из дерева, свинца, крахмала, воска, которых он расставлял на очень узких столах, занимавших целую комнату; между этими столами едва можно было проходить; он прибил узкие латунные полоски вдоль этих столов; к этим латунным полоскам были привязаны веревочки, и, когда их дергали, латунные полосы производили шум, который, по его мнению, воспроизводил ружейные залпы. Он очень аккуратно праздновал придворные торжества, заставляя эти войска производить ружейные залпы; кроме того, каждый день сменялись караулы, то есть с каждого стола снимали тех солдатиков, которые должны были стоять на часах; он присутствовал на этом параде в мундире, в сапогах со шпорами, с офицерским значком и шарфом, и те из его слуг, которые были допущены к участию в этом прекрасном упражнении, были обязаны также там присутствовать.

К зиме этого года мне показалось, что я снова беременна; мне пустили кровь. У меня сделался флюс или, вернее, как я думала, флюсы на обеих щеках; но после нескольких дней страдания у меня появились четыре коренных зуба по четырем концам челюстей.

Так как наши комнаты были очень обширны, великий князь устраивал каждую неделю по балу и по концерту: четверг был для

бала, а вторник – для концерта. На них бывали только фрейлины и кавалеры нашего двора с их женами. Эти балы бывали интересны, смотря по лицам, которые на них бывали. Я очень любила Нарышкиных, которые были общительнее других; в этом числе я считаю госпож Сенявину и Измайлову[117], сестер Нарышкиных, и жену старшего брата, о которой я уже упоминала. Лев Нарышкин, все такой же сумасбродный и на которого все смотрели как на человека пустого, каким он и был в действительности, взял привычку перебегать постоянно из комнаты великого князя в мою, не останавливаясь нигде подолгу.

Чтобы войти ко мне, он принял обыкновение мяукать кошкой у двери моей комнаты, и, когда я ему отвечала, он входил. Семнадцатого декабря между шестью и семью часами вечера он таким образом доложил о себе у моей двери; я велела ему войти; он начал с того, что передал мне приветствия от своей невестки, причем сказал мне, что она не особенно здорова; потом он прибавил: «Но вы должны были бы ее навестить». Я сказала: «Я охотно бы это сделала, но вы знаете, что я не могу выходить без позволения и что мне никогда не разрешат пойти к ней». Он мне ответил: «Я сведу вас туда». Я возразила ему: «В своем ли вы уме? Как можно идти с вами? Вас посадят в крепость, а мне за это Бог знает какая будет история». – «О! – сказал он. – Никто этого не узнает; мы примем свои меры». – «Как так?» Тогда он мне сказал: «Я зайду за вами через час или два, великий князь будет ужинать (я уже давно под предлогом, что не ужинаю, оставалась в своей комнате), он проведет за столом часть ночи, встанет только, когда будет очень пьян, и пойдет спать». Он спал тогда большею частью у себя, со времени моих родов. «Для большей безопасности оденьтесь мужчиной, и мы пойдем вместе к Анне Никитичне».

Это предприятие начинало меня соблазнять; я всегда была одна в своей комнате, со своими книгами, без всякого общества.

Наконец, по мере того как я разбирала с ним этот проект, сам по себе безрассудный и показавшийся мне таковым в первую минуту, я нашла его осуществимым и согласилась с целью доставить себе минуту развлечения и веселья. Он вышел; я позвала парикмахера-калмыка, который у меня служил, и велела ему принести мне один из моих мужских костюмов и все, что мне для этого было нужно, под тем предлогом, что мне надо было подарить его кому-то. Этот малый имел привычку не разжимать рта, и нужно было больше труда, чтобы заставить его говорить, чем требуется для других, чтобы заставить их молчать; он быстро исполнил мое поручение и принес все, что мне было нужно. Под предлогом, что у меня болит голова, я пошла спать

пораньше.

Как только Владиславова меня уложила и удалилась, я поднялась и оделась с головы до ног в мужской костюм; я подобрала волосы, как могла лучше; давно уже я имела эту привычку и хорошо в этом наловчилась. В назначенный час Лев Нарышкин пришел через покои великого князя и стал мяукать у моей двери, которую я ему отворила; мы вышли через маленькую переднюю в сени и сели в его карету, никем не замеченные, смеясь как сумасшедшие над нашей проделкой. Лев жил со своим братом и женою его в том же доме, который занимала и их мать. Когда мы приехали в этот дом, там находилась Анна Никитична, ничего не подозревавшая; мы нашли там графа Понятовского; Лев представил меня как своего друга, которого просил принять ласково, и вечер прошел в самом сумасшедшем веселье, какое только можно себе вообразить. Пробыв полтора часа в гостях, я ушла и вернулась домой самым счастливым образом, не встретив ни души.

На другой день, в день рождения императрицы, на утреннем куртаге и вечером на балу, мы все, бывшие в секрете, не могли смотреть друг на друга, чтобы не расхохотаться при воспоминании о вчерашней шалости. Несколько дней спустя Лев предложил ответный визит, который должен был иметь место у меня; он таким же путем привел своих гостей в мою комнату, и так удачно, что никто этого не пронюхал. Так начался 1756 год.

Мы находили необыкновенное удовольствие в этих свиданиях украдкой. Не проходило недели, чтобы не было хоть одной, двух и до трех встреч, то у одних, то у других, и когда кто-нибудь из компании бывал болен, то непременно у него-то и собирались. Иногда во время представления, не говоря друг с другом, а известными условными знаками, хотя бы мы находились в разных ложах, а некоторые в креслах, но все мигом узнавали, где встретиться, и никогда не случалось у нас ошибки, только два раза мне пришлось возвращаться домой пешком, что было хорошей прогулкой.

В то время готовились к войне с Прусским королем. Императрица в силу своего договора с Австрийским двором должна была выставить тридцать тысяч человек вспомогательного войска. Таково было мнение великого канцлера Бестужева, но Австрийский двор желал, чтобы Россия поддержала его всеми своими военными силами. Граф Эстергази, венский посол, хлопотал в этом направлении изо всех сил, где только мог, часто действуя различными путями. Противную графу Бестужеву партию составляли вице-канцлер граф Воронцов и Шуваловы.

Англия в то время вступала в союз с Прусским королем, а Франция – с Австрией. Императрица Елисавета уже с этого времени начала часто хворать. Сначала не понимали, что с ней такое; приписывали это прекращению месячных. Нередко видели Шуваловых опечаленными, очень озабоченными и усиленно ласкающими от времени до времени великого князя. Придворные передавали друг другу на ухо, что эти недомогания Ее Императорского Величества были более серьезны, чем думали; одни называли истерическими страданиями то, что другие называли обмороками, конвульсиями или нервными болями. Это продолжалось всю зиму 1755–1756 гг.

Наконец весною мы узнали, что фельдмаршал Апраксин отправляется командовать армией, которая должна была вступить в Пруссию. Жена его пришла к нам проститься с нами вместе со своею младшею дочерью. Я стала говорить ей об опасениях, которые мне внушало состояние здоровья императрицы, и что мне очень жаль, что муж ее уезжает в такое время, когда, я думаю, нельзя слишком рассчитывать на Шуваловых, которых я считала своими личными врагами и которые были страшно злы на меня за то, что я предпочитаю им врагов их, а именно графов Разумовских. Она передала все это своему мужу, который так же был доволен моим расположением к нему, как и граф Бестужев, который не любил Шуваловых и был в свойстве с Разумовскими, ибо сын его был женат на одной из их племянниц. Фельдмаршал Апраксин мог быть полезным посредником между всеми заинтересованными сторонами вследствие связи его дочери с графом Петром Шуваловым; утверждали, что эта связь существовала с ведома отца и матери.

Я отлично понимала, кроме того, и мне было ясно как день, что господа Шуваловы пользовались Брокдорфом больше, чем когда-либо, чтобы сколько возможно отдалить от меня великого князя. Несмотря на это, он в то время еще питал невольное доверие ко мне; он почти навсегда сохранил это доверие до странной степени и помимо своей воли; он сам его не замечал, не подозревал и не остерегался. Он был в это время в ссоре с графиней Воронцовой и влюблен в Теплову[118], племянницу Разумовских. Когда он захотел свидеться с нею, он спросил моего совета о том, как убрать комнату, и показал мне, что, для того чтобы понравиться этой даме, он наполнил комнату ружьями, гренадерскими шапками, шпагами и перевязями, так что она имела вид уголка арсенала; я предоставила ему делать, как он хочет, и ушла; кроме этой дамы, ему приводили еще по вечерам, чтоб ужинать с ним, немецкую певичку, которую он содержал и которую звали Леонорой.

Поссорила великого князя с графиней Воронцовой принцесса Курляндская. По правде сказать, хорошенько не знаю, каким образом. Эта принцесса Курляндская играла тогда особую роль при дворе. Прежде всего, это была в то время девушка лет тридцати, маленькая, некрасивая и горбатая, как я уже об этом говорила; она сумела снискать себе покровительство духовника императрицы и нескольких старых камер-фрау Ее Императорского Величества, так что ей сходило с рук все, что она делала. Она жила с фрейлинами Ее Императорского Величества. Они находились под надзором некоей госпожи Шмидт, жены придворного трубача. Эта Шмидт была финляндка по происхождению, необычайно толстая и массивная; притом бой-баба, всецело сохранившая простой и грубый тон своего первобытного положения. Она, однако, играла роль при дворе и была под непосредственным покровительством старых немецких, финских и шведских камер-фрау императрицы, а следовательно, и гофмаршала Сиверса, который был сам финляндец и женат на дочери г-жи Крузе, сестры одной из первых любимиц, как я уже об этом говорила. Шмидт правила внутренней жизнью фрейлинского флигеля с большею строгостью, нежели умом, но никогда не появлялась при дворе.

В обществе принцесса Курляндская стояла во главе их, и Шмидт молча доверяла ей руководство ими при дворе. У себя в своем флигеле они помещались все в ряду комнат, примыкавших с одной стороны к комнате Шмидт, а с другой – к комнате принцессы Курляндской: их жило по две, по три и по четыре в одной комнате, у каждой стояла ширма вокруг кровати, и все комнаты не имели другого хода, как из одной в другую. Поэтому с первого взгляда казалось, что благодаря такому устройству покои фрейлин были недоступны, потому что туда можно было попасть, только проходя через комнату Шмидт или принцессы Курляндской. Но Шмидт часто болела расстройством желудка от всех тех жирных пирогов и других лакомств, которые ей посылали родители этих девиц; следовательно, оставался только выход через комнату принцессы Курляндской.

Здесь, как говорили злые языки, для того чтобы пройти в другие комнаты, надо было так или иначе заплатить пошлину за проход; что было в этом случае удостоверено, так это то, что принцесса Курляндская устраивала и расстраивала браки фрейлин императрицы, сговаривала их и отказывала за них в течение нескольких лет по собственному усмотрению, и я слышала от некоторых лиц, между прочим от Льва Нарышкина и от графа Бутурлина, историю с пошлиной, которую им, как они уверяли, приходилось платить, но не деньгами. Интрига великого князя с Тепловой продолжалась до тех пор, пока мы не переехали на дачу. Здесь она прервалась, потому что Его Императорское Высочество находил, что эта женщина стала невыносима летом; лишенная возможности видеться с ним, она требовала, чтобы он писал ей по крайней мере раз или два в неделю, и, чтобы втянуть его в эту переписку, она начала с того, что написала ему письмо на четырех страницах. Как только он его получил, он пришел ко мне в комнату с сильно взволнованным лицом, держа в руках письмо Тепловой, и сказал мне раздраженным и гневным тоном, и притом довольно громко: «Вообразите, она пишет мне письмо на целых четырех страницах и воображает, что я должен прочесть это, и больше того – отвечать на него, я, которому нужно идти на учения (он опять выписал свое голштинское войско), потом обедать, потом стрелять, потом смотреть репетицию оперы и балет, который в ней будут танцевать кадеты; я ей велю прямо сказать, что у меня нет времени, а если она рассердится, я рассорюсь с ней до зимы». Я ему ответила, что это, конечно, самый короткий путь. Я полагаю, что черты, которые я привожу, характерны, и что поэтому они здесь уместны. Вот скрытая причина появления кадетов в Ораниенбауме. Весной 1756 года Шуваловы думали сделать очень ловкий политический ход, чтобы

отвлечь великого князя от его голштинского войска, убедив императрицу дать Его Императорскому Высочеству командование над Сухопутным кадетским корпусом, единственным, который тогда существовал. Под его начальство поставили близкого друга и доверенное лицо Ивана Ивановича Шувалова, Мельгунова[119]. Он был женат на одной из камер-юнгфер императрицы, немке и ее любимице. Таким образом господа Шуваловы имели в комнате великого князя одного из самых близких им людей, имевшего возможность говорить с ними ежечасно. Под предлогом оперных балетов в Ораниенбауме привезли туда сотню кадетов, а с ними прибыли Мельгунов и самые близкие к нему офицеры, состоявшие в корпусе. Все они, сколько их было, могли служить удобными наблюдателями во вкусе Шуваловых; среди учителей, приехавших в Ораниенбаум с кадетами, находился их берейтор Циммерман, который считался самым лучшим в то время наездником в России. Так как моя мнимая осенняя беременность исчезла, я вздумала брать настоящие уроки верховой езды у Циммермана[120], чтобы научиться хорошо управлять лошадью. Я сказала об этом великому князю, который ничего против этого не возразил.

Давно уже все прежние правила, введенные Чоглоковыми, были заброшены, забыты или игнорируемы Александром Шуваловым; впрочем, он сам не пользовался никаким или очень ничтожным уважением. Мы смеялись над ним, над его женой, дочерью, зятем чуть ли не в их присутствии; они подавали тому повод, потому что нельзя было себе представить более отвратительных и ничтожных фигур. Госпожа Шувалова получила от меня прозвище «соляного столпа». Она была худа, мала ростом и застенчива; ее скупость проглядывала в ее одежде; юбки ее всегда были слишком узки и имели одним полотнищем меньше, чем полагалось и чем употребляли остальные дамы для своих юбок; ее дочь, графиня Головкина[121], была одета таким же образом; у них всегда были самые жалкие головные уборы и манжеты, в которых постоянно в чем-нибудь да проглядывало желание сберечь копейку. Хотя это были люди очень богатые и не стесненные в средствах, но они любили по природе все мелкое и узкое, истинное отражение их души.

Как только мне удалось брать уроки верховой езды по всем правилам, я снова отдалась со страстью этому упражнению. Я вставала в 6 часов утра, одевалась по-мужски и шла в мой сад; там я распорядилась отвести себе площадку на открытом воздухе, которая служила мне манежем. Я делала такие быстрые успехи, что часто Циммерман со средины этого манежа подбегал ко мне со слезами на глазах и целовал мне сапог в порыве восторга, с

которым не мог совладать; иногда он в восхищении говорил: «Никогда в жизни у меня не было ученика, который делал бы мне столько чести и достиг бы таких успехов в такой короткий срок». На этих уроках присутствовали только мой старый хирург Гюйон, одна камер-фрау и несколько слуг.

Так как я занималась с большим прилежанием на этих уроках, которые брала каждое утро, кроме воскресенья, то Циммерман вознаградил меня за труд серебряными шпорами, которые он дал мне по манежным правилам. По прошествии трех недель я прошла все манежные школы, и к осени Циммерман выписал мне скаковую лошадь, после чего хотел дать мне стремена; но накануне дня, назначенного для езды на этой лошади, мы получили приказание вернуться в город, и дело было отложено до будущей весны. Этим же летом граф Понятовский съездил в Польшу и вернулся оттуда с кредитивом посланника польского короля.

Перед отъездом он приехал в Ораниенбаум, чтобы проститься с нами. Его сопровождал граф Горн[122], которого Шведский король[123], под тем предлогом, что он должен был отвезти в Петербург извещение о смерти своей матери, моей бабушки, перевел в Россию, чтобы спасти его от преследований французской партии, иначе называемой «партией шляп», против русской, носившей название «партии шапок». Эти преследования так разрослись в Швеции во время сейма 1756 года, что почти все вожаки русской партии были в этом году казнены отсечением головы; граф Горн говорил мне сам, что если бы он не приехал в Петербург, то, наверное, был бы в этом же числе. Граф Понятовский и граф Горн провели двое суток в Ораниенбауме.

В первый день великий князь обошелся с ними очень любезно, но на второй день они ему надоели, потому что он был всецело занят мыслью о свадьбе одного егеря, куда он хотел идти на попойку, и, когда он увидел, что графы Понятовский и Горн остаются, он их бросил, и мне пришлось их занимать и угощать. После обеда я повела оставшуюся у меня компанию, не очень многочисленную, посмотреть внутренние покои великого князя и мои. Когда мы пришли в мой кабинет, моя маленькая болонка прибежала к нам навстречу и стала сильно лаять на графа Горна, но когда она увидела графа Понятовского, то я думала, что она сойдет с ума от радости. Так как кабинет мой был очень мал, то, кроме Льва Нарышкина, его невестки и меня, никто этого не заметил, но граф Горн понял, в чем дело, и, когда я проходила через комнаты, чтобы вернуться в зал, граф Горн дернул графа Понятовского за рукав и сказал: «Друг мой, нет ничего более предательского, чем маленькая болонка; первая вещь, которую я

делал с любимыми мною женщинами, заключалась в том, что дарил им болонку, и через нее-то я всегда узнавал, пользовался ли у них кто-нибудь большим расположением, чем я. Это правило верно и непреложно. Вы видите, собака чуть не съела меня, тогда как не знала, что делать от радости, когда увидела вас, ибо нет сомнения, что она не в первый раз вас здесь видит».

Граф Понятовский стал уверять, что все это его фантазия, но не мог его разубедить. Граф Горн ответил ему только: «Не бойтесь ничего, вы имеете дело со скромным человеком». На следующий день они уехали. Этот граф Горн говорил, что когда ему случалось влюбляться, то всегда в трех женщин сразу. Это он показал нам на деле на наших глазах в Петербурге, где ухаживал за тремя фрейлинами императрицы зараз.

Граф Понятовский уехал два дня спустя к себе на родину. Во время его отсутствия английский посланник, кавалер Уильямс, велел мне передать через Льва Нарышкина, что великий канцлер граф Бестужев ведет интригу, чтобы помешать этому назначению графа Понятовского, и чрез его-то, Уильямса, посредство он и сделал попытку отговорить графа Брюля[124], в то время министра и любимца Польского короля, от этого назначения, но что он, Уильямс, и не подумал исполнить это поручение, хотя и не отказался от него из боязни, чтобы великий канцлер не поручил этого кому-нибудь другому, кто мог бы с большей точностью исполнить возложенное на него и тем повредить его другу, желавшему прежде всего вернуться в Россию. Кавалер Уильяме подозревал, что граф Бестужев, который уже давно держал всех польско-саксонских посланников в своем распоряжении, хотел добиться назначения на это место кого-нибудь из самых доверенных своих людей. Несмотря на это, граф Понятовский получил это место и вернулся к зиме в качестве польского посланника, а саксонская миссия осталась под непосредственным управлением графа Бестужева.

За несколько времени до нашего отъезда из Ораниенбаума к нам приехали князь и княгиня Голицыны[125] вместе с Бецким. Они ехали за границу для поправления здоровья, в чем особенно нуждался Бецкой, которому надо было рассеяться после тяжелого горя, тяготившего его со времени кончины принцессы Гессен-Гомбургской, урожденной княжны Трубецкой, матери княгини Голицыной, которая родилась от первого брака принцессы Гессенской с Валашским господарем, князем Кантемиром.

Так как княгиня Голицына и Бецкой были мои старые знакомые, я постаралась принять их в Ораниенбауме как можно лучше; мы много гуляли, потом я села с княгиней Голицыной в кабриолет, в котором сама правила, и мы поехали кататься в

окрестности Ораниенбаума. Дорогой княгиня Голицына, личность довольно странная и очень ограниченная, завела со мной разговор, в котором дала мне понять, что считает меня сердитой на нее. Я ей сказала, что нисколько и что не знаю, из-за чего могла бы на нее сердиться, так как не из-за чего было спорить. На это она мне сказала, что боялась, что граф Понятовский наговорил мне на нее. Я почти остолбенела при этих словах и возразила ей, что она, конечно, бредила, и что он был не в состоянии вредить ей здесь и в моих глазах, так как он давно уехал и так как я знаю его только по имени и как иностранца, и что я не знаю, с чего она все это взяла. Вернувшись к себе, я позвала Льва Нарышкина и передала ему этот разговор, который показался мне столь же глупым, сколь дерзким и нескромным; на это он мне сказал, что княгиня Голицына в течение прошедшей зимы все силы употребила, чтобы привлечь к себе графа Понятовского, что он из вежливости и чтобы не обидеть ее, оказал ей некоторое внимание, что она была с ним чрезвычайно любезна, а он, понятно, не слишком ей отвечал, потому что она была стара, дурна, глупа и безрассудна, почти даже сумасбродна; она же, видя, что он не отвечает на ее желания, вероятно, возымела подозрение оттого, что он был всегда со Львом и с его невесткой и у них.

Во время краткого пребывания княгини Голицыной в Ораниенбауме у меня была страшная ссора с великим князем из-за моих фрейлин. Я заметила, что они все либо наперсницы, либо любовницы великого князя, во многих случаях пренебрегают своим долгом, а иногда также уважением и почтением, какое они мне были обязаны оказывать.

Я пошла как-то после обеда на их половину и стала упрекать их за их поведение, напоминая им об их долге и о том, что они были обязаны мне оказывать, и сказала, что, если они будут продолжать, я пожалуюсь императрице. Некоторые всполошились, другие рассердились, иные расплакались, но, как только я ушла, они поспешили немедленно пересказать великому князю, что произошло в их комнате. Его Императорское Высочество взбесился и тотчас же прибежал ко мне. Войдя, он начал с того, что сказал мне, что нет больше возможности жить со мною, что с каждым днем я становлюсь более гордой и высокомерной, что я требую почтения и уважения от фрейлин и отравляю им жизнь, что они целый день заливаются слезами, что это были девицы благородные, а что я обращаюсь с ними как с прислугой, и что, если я пожалуюсь на них императрице, он станет жаловаться на меня, на мою гордость, на мою заносчивость, на мою злость, и бог весть, чего он тут мне

наговорил. Я слушала его тоже не без волнения и ответила ему, что он может говорить обо мне что угодно, что если дело будет доведено до его тетушки, то она легко рассудит, не благоразумнее ли выгнать всех этих девиц дрянного поведения, которые своими сплетнями ссорят племянника с племянницей, и что, конечно, Ее Императорскому Величеству, дабы водворить мир и согласие между ним и мною, и, чтобы ей не докучали нашими ссорами, нельзя будет принять иное решение, кроме этого, и что она непременно это сделает.

Тут он понизил тон и вообразил, так как был очень подозрителен, что я больше знаю о намерениях императрицы по отношению к этим девицам, чем показываю, и что их действительно могут прогнать из-за этой истории, и стал мне говорить: «Скажите же мне, разве вы что-нибудь знаете об этом? Разве об этом говорят?» Я ему ответила, что если дело дойдет до того, чтобы доложить его императрице, то я не сомневаюсь, что она расправится с ним самым решительным образом. Тогда он стал ходить по комнате большими шагами в задумчивости, смягчился, затем ушел и дулся только наполовину.

В тот же вечер я передала той из этих девиц, которая показалась мне самой разумной, слово в слово ту сцену, которую выдержала из-за их глупых сплетен, что заставило их остерегаться, дабы не доводить дело до той крайности, жертвами которой они могли бы стать. Осенью мы вернулись в город.

Немного времени спустя кавалер Уильяме отправился в отпуск в Англию. Он не достиг своей цели в России: на следующий день после своей аудиенции у императрицы он предложил союзный договор между Россией и Англией; граф Бестужев получил приказание и полномочие заключить этот договор, и действительно, договор был подписан великим канцлером и послом, который не помнил себя от радости по случаю своего успеха, а на другой же день граф Бестужев сообщил ему нотой о присоединении России к конвенции, подписанной в Версале между Францией и Австрией. Это как громом поразило английского посла, который был проведен и обманут в этом деле великим канцлером, или казалось, что был обманут, но граф Бестужев сам уже не волен был тогда делать то, что хотел. Его противники начинали уже брать верх над ним, а они интриговали или, вернее, перед ними интриговали, чтобы увлечь их во франко-австрийскую партию, к чему они были очень склонны – Шуваловы, а особенно Иван Иванович, любивший до безумия Францию и все, что оттуда шло, в чем их поддерживал вице-канцлер граф Воронцов, которому Людовик XV меблировал за эту услугу дом, который он только что выстроил в Петербурге, старой

мебелью, начинавшей надоедать его фаворитке, маркизе Помпадур, которая продала ее по этому случаю с выгодой королю, своему любовнику. Вице-канцлер, кроме выгоды, имел еще другое побуждение, а именно унизить своего соперника по влиянию, графа Бестужева, и завладеть его местом.

Что касается Петра Шувалова, он мечтал получить монополию на продажу табака в России, чтобы продавать его во Францию. К концу года граф Понятовский вернулся в Петербург в качестве посланника польского короля. В эту зиму, когда начался 1757 год, образ жизни у нас был тот же, что и в прошедшую: те же концерты, те же балы, те же кружки. Я заметила вскоре после нашего возвращения в город, где я ближе стала присматриваться к вещам, что Брокдорф своими интригами все больше входит в доверие великого князя; ему помогало в этом большое количество голштинских офицеров, которых Его Императорское Высочество оставил по его побуждению в течение этой зимы в Петербурге. Число тех, которые были постоянно вместе с великим князем и около него, достигало по крайней мере двух десятков, не считая пары голштинских солдат, которые несли в его комнате службу рассыльных, камер-лакеев и употреблялись на все руки. В сущности, все служили шпионами Брокдорфу и компании. Я караулила в течение этой зимы удобную минуту, чтобы серьезно поговорить с великим князем и искренно сказать ему мое мнение о том, что его окружает, и об интригах, которые я видела.

Случай представился, и я его не упустила. Великий князь сам пришел ко мне однажды сказать, будто ему представляли, что было безусловно необходимо послать тайный приказ в Голштинию, дабы арестовать одного из первых по своей должности и влиянию лиц в стране, некоего Элендсгейма[126], мещанина по происхождению, но по своим познаниям и способностям достигшего своего места. На это я спросила, какие имеются жалобы на этого человека и что он такое сделал, за что он решился приказать его арестовать. На это он мне ответил: «Видите ли, говорят, что его подозревают в лихоимстве». Я спросила: «Кто его обвинители?» На это он с полной уверенностью сказал мне: «О, обвинители, их нет, ибо все там его боятся и уважают; оттого-то и нужно, чтобы я приказал его арестовать, а как только он будет арестован, меня уверяют, что их найдется довольно и даже с избытком». Я ужаснулась тому, что он сказал, и возразила ему: «Но если так приниматься за дело, то не будет больше невинных на свете. Достаточно одного завистника, который распустит в обществе неясный слух, какой ему угодно будет, по которому арестуют кого вздумается, говоря: обвинители и преступления найдутся после; вам советуют поступать,

невзирая на вашу справедливость, на манер Barbaric, mon ami[127], как поется в песне. Кто дает вам такие плохие советы, позвольте вас спросить?» Мой великий князь немного сконфузился от моего вопроса и сказал мне: «Ну, вы тоже всегда хотите быть умнее других».

Тогда я ему ответила, что я говорю не для того, чтобы умничать, а потому, что ненавижу несправедливость и не думаю, чтобы он так или иначе захотел с легким сердцем сделать несправедливость. Он принялся ходить крупными шагами по моей комнате, потом ушел, более взволнованный, чем сердитый.

Немного времени спустя он вернулся и сказал мне: «Пойдемте ко мне, Брокдорф скажет вам о деле Элендсгейма, и вы увидите и убедитесь, что надо, чтобы я приказал его арестовать». Я ему ответила: «Отлично, я пойду за вами и выслушаю, что он скажет, коли вам это угодно». Действительно, я нашла Брокдорфа в комнате великого князя, который ему сказал: «Говорите с великой княгиней». Брокдорф, немного смущенный, поклонился великому князю и сказал: «Так как Ваше Императорское Высочество мне приказывает, я буду говорить с великой княгиней…» Тут он сделал паузу и затем сказал: «Это дело, которое требует, чтобы его вели с большой тайной и осторожностью…» Я слушала. «Вся Голштиния полна слухом о лихоимстве и вымогательстве Элендсгейма; правда, нет обвинителей, потому что его боятся, но, когда его арестуют, можно будет иметь их сколько угодно».

Я потребовала у него подробностей об этом лихоимстве и вымогательстве и узнала, что никакого казнокрадства тут не могло быть, так как у него на руках не было денег великого князя, а лихоимством считали то, что так как он стоял во главе департамента юстиции, то во всяком судебном деле всегда бывает один истец, который жалуется на несправедливость и говорит, что противная сторона выиграла только потому, что щедро заплатила судьям. Но сколько ни выставлял Брокдорф напоказ все свое красноречие и свои познания, он меня не убедил; я продолжала утверждать Брокдорфу в присутствии великого князя, что стараются склонить Его Императорское Высочество на вопиющую несправедливость, убеждая его послать приказ, дабы велеть арестовать человека, против которого не существует ни формальной жалобы, ни формального обвинения.

Я сказала Брокдорфу, что таким манером великий князь может и его засадить в тюрьму каждую минуту и также сказать, что преступления и обвинения придут после, и что в судебных делах нетрудно понять, что тот, кто теряет процесс, всегда кричит, что его обидели.

Я прибавила, что великий князь должен остерегаться больше, чем кто-либо, таких дел, ибо ценою собственного опыта уже научился тому, что могут сделать преследование и ненависть партии; прошло не более двух лет с тех пор, как, по моему ходатайству, Его Императорское Высочество велел выпустить Гольмера, которого держали в течение шести или восьми лет в тюрьме затем, чтобы заставить его дать отчет в делах, которые велись во время опеки над великим князем и во время управления его опекуна, наследного шведского принца, при котором Гольмер состоял и за которым последовал в Швецию, откуда он даже вернулся лишь тогда, когда великий князь подписал и отправил по всей форме одобрение и свидетельство в пользу всего, что было сделано во время его несовершеннолетия; несмотря на то, однако, побудили великого князя арестовать Гольмера и назначить комиссию для расследования того, что было сделано во время управления шведского принца; эта комиссия действовала вначале с большою энергией, открыв свободное поле доносчикам, и, однако, не найдя таковых, впала в летаргию за недостатком пищи; а между тем в это время Гольмер томился в тесной тюрьме, куда не разрешали доступа ни его жене, ни его детям, ни его друзьям, ни его родственникам, и в конце концов вся страна стала роптать на несправедливость и на тиранию, к каким прибегли в этом деле, которое действительно было вопиющим и которое бы еще не закончилось так рано, если бы я не посоветовала великому князю разрубить гордиев узел, отправив приказ выпустить Гольмера и упразднить комиссию, которая, кроме того, стоила немало денег и без того очень пустой казне великого князя в его наследственной земле.

Но хоть я и привела этот разительный пример, великий князь, я думаю, слушал меня, мечтая о другом, а Брокдорф, с очерствевшим от злобы сердцем, ума очень ограниченного и упрямый, как чурбан, не мешал мне говорить, не имея других доводов; но, когда я вышла, он сказал великому князю, что все, что я говорила, вытекало лишь из того принципа, какой мне внушало желание властвовать, что я не одобряю никаких мер, относительно которых не давала совета, что я ничего не понимаю в делах, что женщины всегда хотят во все вмешиваться и что они портят все, чего касаются, что в особенности действия решительные им не под силу; наконец, он столько наговорил и наделал, что восторжествовал над моим мнением, и великий князь, убежденный им, велел составить и подписать приказ, который был отправлен, чтобы арестовать Элендсгейма. Некто Цейц, секретарь великого князя, состоявший при Пехлине и зять акушерки, служившей мне, уведомил меня об этом; партия

Пехлина вообще не одобряла этой насильственной и неуместной меры, посредством которой Брокдорф заставлял трепетать и их, и всю Голштинию. Как только я узнала, что происки Брокдорфа в деле столь несправедливом взяли верх надо мною и над всем тем, что я могла представить великому князю, я приняла твердое решение дать вполне почувствовать Брокдорфу мое негодование.

Я сказала Цейцу и велела сказать Пехлину, что с этой минуты я смотрю на Брокдорфа как на чуму, от которой надо бежать и которую следует удалить от великого князя, если бы это было возможно; что я лично употреблю все усилия, какие только могу, для этого. Действительно, я старалась показать при всяком случае, как публично, так и частным образом, презрение и отвращение, которые мне внушило поведение этого человека; не было тех насмешек, какими бы я его не осыпала, и я отнюдь ни от кого не скрывала, когда представлялся к тому случай, что я думаю на его счет. Лев Нарышкин и другие придворные молодые люди помогали мне в этом.

Когда Брокдорф проходил по комнате, все кричали ему вслед: «Баба-птица, баба-птица!» – это было его прозвище; птица эта была самая отвратительная, какую только знали, и как человек Брокдорф был точно так же омерзителен своею внешностью, как и внутренними качествами. Он был высок, с длинной шеей и тупою плоской головой; притом он был рыжий и носил парик на проволоке; глаза у него были маленькие и впалые, почти без ресниц и без бровей; углы рта опускались к подбородку, что придавало ему всегда жалобный и недовольный вид.

Относительно его внутренних качеств я сошлюсь на то, что уже сказала; но прибавлю еще, что он был так порочен, что он брал деньги со всех, кто хотел ему давать, и, чтобы его августейший государь со временем ничего не нашел сказать по поводу его взяток, видя, что тот постоянно нуждается, он убедил его делать то же самое и доставлял ему таким образом столько денег, сколько мог, продавая голштинские ордена и титулы тем, кто хотел за них платить, или заставляя великого князя просить и хлопотать в разных присутственных местах империи и в Сенате о всевозможных делах, часто несправедливых, иногда даже тягостных для империи, как монополии и другие привилегии, которые никогда не прошли бы иначе, потому что они противоречили законам Петра I.

Сверх того, Брокдорф вовлекал великого князя более чем когда-либо в пьянство и в кутежи, окружив его сбродом авантюристов и людей, добытых из кордегардии и из кабаков, как из Германии, так и из Петербурга, людей без стыда и совести, которые только и делали, что ели, пили, курили и болтали

грубый вздор.

Видя, что, несмотря на все, что я говорила и делала против Брокдорфа, чтобы уменьшить его влияние, он все-таки держится у великого князя и более чем когда-либо в милости, я решила сказать графу Александру Шувалову, что я думаю об этом человеке, прибавив к этому, что я считаю этого человека одним из самых опасных существ, каких только можно приставить к молодому принцу, наследнику великой империи, и что, по совести, я принуждена поговорить с ним об этом по секрету, дабы он мог предупредить императрицу или принять те меры, которые найдет подходящими. Он спросил, может ли он на меня сослаться; я сказала ему: «Да», и, если бы императрица спросила меня сама, я бы не стала стесняться и сказала, что знаю и вижу. Граф Александр Шувалов помаргивал своим глазом, слушая меня очень серьезно, но он был не из тех людей, чтобы действовать, не посоветовавшись со своим братом Петром и со своим двоюродным братом Иваном; долго он ничего мне не говорил, потом он мне дал понять, что возможно, что императрица будет со мной говорить.

В это время, в одно прекрасное утро великий князь вошел подпрыгивая в мою комнату, а его секретарь Цейц бежал за ним с бумагой в руке. Великий князь сказал мне: «Посмотрите на этого черта: я слишком много выпил вчера, и сегодня еще голова идет у меня кругом, а он вот принес мне целый лист бумаги, и это еще только список дел, которые он хочет, чтобы я закончил, он преследует меня даже в вашей комнате». Цейц мне сказал: «Все, что я держу тут, зависит только от простого «да» или «нет», и дела-то всего на четверть часа». Я сказала: «Ну, посмотрим, может быть, вы с этим скорее справитесь, нежели думаете». Цейц принялся читать, и, по мере того как он читал, я говорила: «да» или «нет». Это понравилось великому князю, а Цейц ему сказал: «Вот, Ваше Высочество, если бы вы согласились два раза в неделю так делать, то ваши дела не останавливались бы. Это все пустяки, но надо дать им ход, и великая княгиня покончила с этим шестью «да» и приблизительно столькими же «нет». С этого дня Его Императорское Высочество придумал посылать ко мне Цейца каждый раз, как тому нужно было спрашивать «да» или «нет».

Через несколько времени я сказала ему, чтобы он дал мне подписанный приказ о том, что я могу решать и чего не могу решать без его приказа, что он и сделал. Только Пехлин, Цейц, великий князь и я знали об этом распоряжении, от которого Пехлин и Цейц были в восторге: когда надо было подписывать, великий князь подписывал то, что я постановляла. Дело Элендсгейма осталось в руках Брокдорфа. Но так как Элендсгейм

был арестован, Брокдорф не спешил с окончанием, ибо приблизительно все, что он хотел сделать, было – удалить его от дел и показать там свое влияние на своего государя.

Я воспользовалась однажды удобным случаем или благоприятным моментом, чтобы сказать великому князю, что, так как он находит ведение дел Голштинии таким скучным и считает это для себя бременем, а между тем должен был бы смотреть на это как на образец того, что ему придется со временем делать, когда Российская империя достанется ему в удел, я думаю, что он должен смотреть на этот момент как на тяжесть, еще более ужасную; на это он мне снова повторил то, что говорил много раз, а именно, что он чувствует, что не рожден для России; что ни он не подходит вовсе для русских, ни русские для него, и что он убежден, что погибнет в России. Я сказала ему на это то же, что говорила раньше много раз, то есть что он не должен поддаваться этой фатальной идее, но стараться изо всех сил о том, чтобы заставить каждого в России любить его и просить императрицу дать ему возможность ознакомиться с делами империи. Я даже побудила его испросить позволения присутствовать в конференции[128], которая заступала у императрицы место совета. Действительно, он говорил об этом Шуваловым, которые склонили императрицу допускать его в эту конференцию всякий раз, когда она там сама будет присутствовать; это значило то же самое, как если бы сказали, что он не будет туда допущен, ибо она приходила туда с ним раза два-три, и больше ни она, ни он туда не являлись. Советы, какие я давала великому князю, вообще были благие и полезные, но тот, кто советует, может советовать только по своему разуму и по своей манере смотреть на вещи и за них приниматься; а главным недостатком моих советов великому князю было то, что его манера действовать и приступать к делу была совершенно отлична от моей, и, по мере того как мы становились старше, она делалась все заметнее.

Я старалась во всем приближаться всегда как можно больше к правде, а он с каждым днем от нее удалялся до тех пор, пока не стал отъявленным лжецом. Так как способ, благодаря которому он им сделался, довольно странный, то я сейчас его приведу; может быть, он разъяснит направление человеческого ума в этом случае и тем может послужить к предупреждению или к исправлению этого порока в какой-нибудь личности, которая возымеет склонность ему предаться.

Первая ложь, какую великий князь выдумал, заключалась в том, что он, дабы придать себе цены в глазах иной молодой женщины или девицы, рассчитывая на ее неведение, рассказывал

ей, будто бы когда он еще находился у своего отца в Голштинии, его отец поставил его [великого князя] во главе небольшого отряда своей стражи и послал взять шайку цыган, бродившую в окрестностях Киля и совершавшую, по его словам, страшные разбои. Об этих последних он рассказывал в подробностях так же, как и о хитростях, которые он употребил, чтобы их преследовать, чтобы их окружить, чтобы дать им одно или несколько сражений, в которых, по его уверению, он проявил чудеса ловкости и мужества, после чего он их взял и привел в Киль.

Вначале он имел осторожность рассказывать все это лишь людям, которые ничего о нем не знали; мало-помалу он набрался смелости воспроизводить свою выдумку перед теми, на скромность которых он достаточно рассчитывал, чтобы не быть изобличенным ими во лжи, но когда он вздумал приводить свой рассказ при мне, я у него спросила, за сколько лет до смерти его отца это происходило. Тогда, не колеблясь, он мне ответил: «Года за три или четыре». – «Ну, – сказала я, – вы таки очень молодым начали совершать подвиги, потому что за три или за четыре года до смерти герцога, отца вашего, вам было всего шесть или семь лет, так как вы остались после него одиннадцати лет под опекой моего дяди, шведского наследного принца. И что меня равно удивляет, – сказала я, – так это то, как ваш отец, имея только вас единственным сыном и при вашем постоянно слабом здоровье, какое, говорят, было у вас в детстве, послал вас сражаться с разбойниками, да еще в шести-, семилетнем возрасте».

Великий князь ужасно рассердился на меня за то, что я ему только что сказала, и стал говорить, что я хочу заставить его прослыть лгуном перед всеми и что я подрываю к нему доверие. Я возразила ему, что это не я, а календарь подрывает доверие к тому, что он рассказывает, что я предоставляю ему самому судить, есть ли какая-нибудь человеческая возможность посылать маленького шести-, семилетнего ребенка, единственного сына и наследного принца, всю надежду своего отца, ловить цыган. Он замолчал, и я тоже, и он очень долго дулся на меня, но когда он забыл мои возражения, он все-таки продолжал даже в моем присутствии рассказывать эту басню, которую он до бесконечности разнообразил.

Он впоследствии выдумал другую, гораздо более постыдную и вредную для него, которую я приведу в свое время; мне было бы невозможно в настоящее время пересказать все бредни, какие он часто выдумывал и выдавал за факты и в которых не было и тени правды; достаточно, мне кажется, и этого образчика. В один из четвергов к концу Масленой, когда у нас был бал, я уселась между невесткой Льва Нарышкина и ее сестрой Сенявиной, и мы

смотрели, как танцует менуэт Марина Осиповна Закревская, фрейлина императрицы, племянница графов Разумовских; она тогда была ловка и легка, и говорили, что граф Горн в нее сильно влюблен; но так как он был всегда влюблен в трех женщин сразу, то он ухаживал также за графиней Марией Романовной Воронцовой и за Анной Алексеевной Хитрово, тоже фрейлиной Ее Императорского Величества.

Мы нашли, что первая танцует хорошо и довольно мила собой; она танцевала со Львом Нарышкиным. По этому поводу его невестка и сестра рассказали мне, что его мать поговаривает о том, чтобы женить Льва Нарышкина на девице Хитрово, племяннице Шуваловых по матери, сестре Петра и Александра, выданной замуж за отца девицы Хитрово; этот последний так часто приходил в дом к Нарышкиным и так старался, что мать Льва Нарышкина вбила себе этот брак в голову.

Ни Сенявиной, ни ее невестке вовсе не было дела до родства с Шуваловыми, которых они не любили, как я уже раньше это сказала; что касается Льва, он и не знал, что мать думает его женить; он был влюблен в графиню Марию Воронцову, о которой я только что упоминала. Услышав это, я сказала Сенявиной и Нарышкиной, что нельзя допускать этого брака, который устраивала его мать, с девицей Хитрово, а ее никто терпеть не мог, потому что она была интриганка, сплетница и пустая крикунья, и что, для того чтобы покончить с подобными планами, надо дать Льву в жены кого-нибудь в нашем духе, и для этого выбрать вышеупомянутую племянницу графов Разумовских, которые, впрочем, были в дружбе и свойстве с домом Нарышкиных; граф Кирилл Разумовский, кроме того, был очень любим этими двумя дамами и всегда бывал у них в доме, когда они не бывали у него.

Эти две дамы очень одобрили мое мнение; на следующий день, так как был маскарад при дворе, я обратилась к фельдмаршалу Разумовскому, который тогда был малороссийским гетманом, и прямо сказала ему, что он очень нехорошо делает, что упускает для своей племянницы такую партию, как Лев Нарышкин, что мать хочет женить его на девице Хитрово, но что Сенявина, его невестка Нарышкина и я, мы согласились на том, что его племянница будет более подходящей партией, и чтобы он, не теряя времени, пошел сделать это предложение заинтересованным сторонам. Фельдмаршалу полюбился наш план, он сказал о нем своему тогдашнему фактотуму Теплову[129], который тотчас же пошел сказать об этом графу Разумовскому-старшему, тот согласился; на следующий же день Теплов отправился к петербургскому архиепископу купить за

пятьдесят рублей позволение или разрешение [на брак]. Получив его, фельдмаршал Разумовский и его жена отправились к своей тетке, матери Льва, и там повели дело так хорошо, что заставили мать согласиться на то, что она не хотела.

Они приехали очень кстати, потому что в этот самый день она должна была дать слово Хитрово. Сделав это, фельдмаршал Разумовский, Сенявина и Нарышкина, ее золовка, принялись за Льва и убедили его жениться на той, о которой он даже и не думал. Он согласился на это, хотя любил другую, но та была почти помолвлена с графом Бутурлиным; а до девицы Хитрово ему не было никакого дела.

Получив это согласие, фельдмаршал призвал к себе свою племянницу; она нашла брак слишком выгодным, чтобы от него отказываться. На другой день, в воскресенье, оба графа Разумовских просили у императрицы ее соизволения на этот брак, которое она тотчас и дала. Шуваловы были удивлены способом, каким провели Хитрово и их самих, так как узнали об этом только после того, как было получено согласие императрицы. Раз дело было сделано, идти назад было нельзя; таким образом Лев, который был влюблен в одну девицу и которому мать сватала другую, женился на третьей, о которой ни он, ни кто другой три дня тому назад не думали.

Этот брак Льва Нарышкина сдружил меня более, чем когда-либо, с графами Разумовскими, которые действительно желали мне добра за то, что я доставила такую хорошую и блестящую партию их племяннице, и не были также недовольны тем, что одержали верх над Шуваловыми, а эти последние не могли даже на то пожаловаться и были принуждены скрывать на то свою досаду; к тому же это был еще лишний знак внимания, который я по отношению к ним проявила.

Любовные делишки великого князя с Тепловой хромали на обе ноги: одним из главных препятствий к этим шашням была та трудность, с какой они могли видеться; это было всегда украдкой и стесняло Его Императорское Высочество, который так же не любил встречать затруднения, как отвечать на письма, которые он получал. К концу Масленой эти любовные похождения начали становиться делом партий.

Принцесса Курляндская однажды уведомила меня, что граф Роман Воронцов, отец двух девиц, находившихся при дворе, и который, кстати сказать, был противен великому князю так же, как и своим пятерым детям, держал неумеренные речи насчет великого князя и что он, между прочим, говорил, что, если бы он этого пожелал, он сумел бы положить конец ненависти, какую великий князь к нему питал, и обратить ее в милость; что для

этой цели ему стоит только дать обед Брокдорфу напоить его английским пивом и при уходе положить ему в карман шесть бутылок для Его Императорского Высочества, и что тогда он и его младшая дочь станут первыми матадорами милости у великого князя.

Так как я заметила на балу в этот самый вечер, как много шептались между собой Его Императорское Высочество и графиня Мария Воронцова, старшая дочь графа Романа, и так как эта семья была действительно связана с Шуваловыми, у которых Брокдорф был всегда очень желанным гостем, я без удовольствия смотрела на то, что девица Елисавета Воронцова снова всплывает наверх; чтобы сделать лишнюю помеху, я передала великому князю слова отца, о которых я только что упоминала; он чуть не пришел в ярость и спросил меня в сильном гневе, откуда я знаю эти слова.

Долго я не хотела этого говорить, но он мне сказал, что так как я не могу никого назвать, то он предполагает, что это я сама выдумала эту историю, чтобы повредить отцу и дочерям. Напрасно я ему говорила, что никогда в жизни не занималась такими сочинениями; я была принуждена под конец назвать ему принцессу Курляндскую. Он мне сказал, что тотчас он напишет ей записку, чтобы узнать, правду ли я говорю, и что если будет малейшая разница между тем, что она ему ответит, и тем, что я ему только что сказала, то он пожалуется императрице на наши интриги и ложь. После этого он вышел из моей комнаты; из опасения оттого, что принцесса Курляндская ему ответит, и боясь, чтобы она не сказала надвое, я написала ей следующую записку: «Ради Бога, скажите чистую и сущую правду про то, что у вас спросят». Мою записку снесли ей тотчас же, и она пришла вовремя, потому что опередила записку великого князя. Принцесса Курляндская ответила Его Императорскому Высочеству правдиво, и он нашел, что я не солгала. Это еще на некоторое время удержало его от связи с двумя дочерьми человека, который имел так мало уважения к нему и которого он к тому же не любил. Но дабы устроить еще помеху, Лев Нарышкин убедил фельдмаршала Разумовского раз или два в неделю приглашать к себе потихоньку вечером великого князя; это была почти partie carree[130], потому что там были только фельдмаршал, Марья Павловна Нарышкина, великий князь, Теплова и Лев Нарышкин. Это продолжалось часть поста и дало повод к другой затее.

Дом фельдмаршала был тогда деревянный; в покоях фельдмаршала собирался народ, и так как и она и он любили играть, то у них всегда была игра. Фельдмаршал ходил взад и

вперед и в своих покоях имел свой кружок, когда не приезжал туда великий князь. Но так как фельдмаршал много раз бывал у меня в моем маленьком тайном кружке, он захотел, чтобы этот кружок собрался у него, и для этого нам было предназначено то, что он называл своим эрмитажем, который состоял из двух-трех комнат в первом этаже. Все прятались друг от друга, потому что мы не смели выходить, как я уже говорила, без позволения; а благодаря этому распоряжению было три или четыре кружка в доме, и фельдмаршал ходил от одного к другому, и только мой кружок знал все, что происходило в доме, между тем как другие не знали, что мы там находимся.

К весне умер Пехлин, министр великого князя по голштинским делам; великий канцлер граф Бестужев, предвидя его смерть, велел посоветовать мне просить у великого князя за некоего Штамбке, которого выписали и который заменил Пехлина. Великий князь дал ему подписанный приказ работать вместе со мною, что он и делал. Благодаря этому распоряжению я могла свободно сноситься с графом Бестужевым, который доверял Штамбке.

В начале весны мы поехали в Ораниенбаум. Здесь образ жизни был тот же, что и в прошлые годы, с тою только разницею, что число голштинского войска и авантюристов, которые занимали там офицерские места, увеличивалось из года в год, и так как для такого количества не могли найти квартиру в ораниенбаумской деревушке, где вначале было всего двадцать восемь изб, то располагали эти войска лагерем, и число их никогда не превышало 1300 человек. Офицеры обедали и ужинали при дворе. Но так как число придворных дам и жен кавалеров не превышало пятнадцати-шестнадцати и так как Его Императорское Высочество страстно любил большие ужины, которые он часто задавал и в лагере, и во всех уголках и закоулках Ораниенбаума, то он допускал к этим ужинам не только певиц и танцовщиц своей оперы, но множество мещанок весьма дурного общества, которых ему привозили из Петербурга… Как только я узнала, что певицы и проч. будут допущены к этим ужинам, я стала воздерживаться бывать там вначале под предлогом, что я пью воды, и большею частью я ела у себя с двумя-тремя лицами.

Потом я сказала великому князю, что я боюсь, чтобы императрица не нашла дурным, если я появлюсь в таком смешанном обществе; и действительно, я там никогда не показывалась, когда я знала, что там оказывается широкое гостеприимство, вследствие чего, когда великий князь хотел, чтобы я там присутствовала, туда допускались только

придворные дамы. На маскарадах, задававшихся великим князем в Ораниенбауме, я являлась всегда очень просто одетой, без брильянтов и уборов. Это произвело отличное впечатление на императрицу, которая не любила и не одобряла этих ораниенбаумских празднеств, где ужины превращались в настоящие вакханалии, но, однако, она их терпела или, по крайней мере, не запрещала. Я узнала, что Ее Императорское Величество говорила: «Эти праздники доставляют великой княгине так же мало удовольствия, как мне, она приходит на них так просто одетая, как только может, и никогда не ужинает со всем сбродом, какой там бывает». Я занималась тогда в Ораниенбауме разбивкой того, что называют там моим садом, и посадками в нем; остальное время я делала прогулки пешком, верхом или в кабриолете, и, когда я бывала у себя в комнате, я читала.

В июле месяце мы узнали, что Мемель[131] добровольно сдался русским войскам 24 июня. А в августе месяце получили известие о сражении при Гросс-Егерсдорфе, выигранном русской армией 19 августа. В день молебствия я дала большой обед в моем саду великому князю и всему, что только было наиболее значительного в Ораниенбауме; на нем великий князь и вся компания казались столь же веселыми, сколь и довольными. Это уменьшило на время огорчение, испытываемое великим князем от войны, только что разыгравшейся между Россией и Прусским королем, к которому он с детства имел особенную склонность, вовсе не странную сначала и выродившуюся в безумие впоследствии.

Тогдашняя всеобщая радость от успехов русского оружия заставляла его скрывать то, что было в глубине души, а именно, что он с сожалением смотрел, как терпело поражение прусское войско, которое между тем он считал непобедимым. Я велела дать в этот день жареного быка ораниенбаумским каменщикам и рабочим.

Несколько дней спустя после этого обеда мы вернулись в город, где заняли Летний дворец. Здесь граф Александр Шувалов пришел однажды вечером сказать мне, что императрица находится в комнате у его жены и что она велела мне сказать, чтобы я пришла туда поговорить с ней, как я хотела прошлую зиму.

Я отправилась тотчас же в покои графа и графини Шуваловых, находившиеся в конце моих покоев. Я нашла там императрицу совсем одну. После того как я поцеловала ей руку, а она поцеловала меня, по своему обыкновению, она удостоила меня сказать, что, узнав, что я хочу с ней говорить, она пришла

сегодня, чтобы узнать, чего я от нее хочу. А тогда уже прошло с лишком восемь месяцев со времени разговора, который я имела с Александром Шуваловым по поводу Брокдорфа. Я ответила Ее Императорскому Величеству, что прошлой зимой, видя поведение Брокдорфа, я сочла необходимым поговорить об этом с графом Александром Шуваловым, дабы он мог предупредить об этом Ее Императорское Величество; что он спросил меня, может ли он на меня сослаться, и что я ему сказала, что если Ее Императорское Величество этого пожелает, то я повторю ей самой все, что я сказала, и все, что знаю. Тут я рассказала ей историю Элендсгейма, как она происходила; она, казалось, слушала меня очень холодно, потом стала расспрашивать у меня подробности о частной жизни великого князя, о его приближенных. Я ей сказала вполне правдиво все, что я об этом знала, и, когда сообщила ей о голштинских делах некоторые подробности, показавшие ей, что я их достаточно знаю, она мне сказала: «Вы, кажется, хорошо осведомлены об этой стране». Я возразила ей простодушно, что это не было трудно, так как великий князь приказал мне ознакомиться с нею. Я видела по лицу императрицы, что это признание произвело неприятное впечатление на нее, и вообще она показалась мне очень странно сдержанной во время всего этого разговора, в котором она заставляла меня говорить, и для этого меня расспрашивала, а сама не говорила почти ни слова, так что эта беседа показалась мне скорее своего рода допросом с ее стороны, чем конфиденциальным разговором.

Наконец она меня отпустила так же холодно, как и встретила, и я была очень недовольна моей аудиенцией, которую Александр Шувалов посоветовал мне держать в большом секрете, что я ему обещала; да и нечем тут было похвастаться. Вернувшись к себе, я приписала холодность императрицы антипатии, которую, как меня давно уже осведомили, Шуваловы внушили ей против меня. Впоследствии увидят гнусное употребление, если смею так выразиться, которое убедили ее сделать из этого разговора между нею и мною.

Спустя некоторое время мы узнали, что фельдмаршал Апраксин вместо того, чтобы воспользоваться своими успехами после взятия Мемеля и выигранного под Гросс-Егерсдорфом сражения и идти вперед, отступал с такою поспешностью, что это отступление походило на бегство, потому что он бросал и сжигал свой экипаж и заклепывал пушки. Никто ничего не понимал в этих действиях; даже его друзья не знали, как его оправдывать, и через это самое стали искать скрытых намерений.

Хотя я и сама точно не знаю, чему приписать поспешное и непонятное отступление фельдмаршала, так как никогда больше

его не видела, однако я думаю, что причина этого могла быть в том, что он получал от своей дочери, княгини Куракиной[132], все еще находившейся, из политики, а не по склонности, в связи с Петром Шуваловым, от своего зятя, князя Куракина, от своих друзей и родственников довольно точные известия о здоровье императрицы, которое становилось все хуже и хуже; тогда почти у всех начало появляться убеждение, что у нее бывают очень сильные конвульсии, регулярно каждый месяц, что эти конвульсии заметно ослабляют ее организм, что после каждой конвульсии она находится в течение двух, трех и четырех дней в состоянии такой слабости и такого истощения всех способностей, какие походят на летаргию, что в это время нельзя ни говорить с ней, ни о чем бы то ни было беседовать. Фельдмаршал Апраксин, считая, может быть, опасность более крайней, нежели она была на самом деле, находил несвоевременным углубляться дальше в пределы Пруссии, но счел долгом отступить, чтобы приблизиться к границам России, под предлогом недостатка съестных припасов, предвидя, что в случае, если последует кончина императрицы, эта война сейчас же окончится. Трудно было оправдать поступок фельдмаршала Апраксина, но таковы могли быть его виды, тем более что он считал себя нужным в России, как я это говорила, упоминая о его отъезде.

Граф Бестужев прислал сказать мне через Штамбке, какой оборот принимает поведение фельдмаршала Апраксина, на которое императорский и французский послы громко жаловались; он просил меня написать фельдмаршалу по дружбе и присоединить к его убеждениям свои, дабы заставить его повернуть с дороги и положить конец бегству, которому враги его придавали оборот гнусный и пагубный. Действительно, я написала фельдмаршалу Апраксину письмо, в котором я предупреждала его о дурных слухах в Петербурге и о том, что его друзья находятся в большом затруднении, как оправдать поспешность его отступления, прося его повернуть с дороги и исполнить приказания, которые он имел от правительства. Великий канцлер граф Бестужев послал ему это письмо. Фельдмаршал Апраксин не ответил мне; между тем отправился из Петербурга и явился откланяться к нам главный директор строений императрицы генерал Фермор; нам сказали, что он ехал, чтобы занять место в армии; он некогда был генерал-квартирмейстером у фельдмаршала Миниха[133]. Первым делом генерал Фермор потребовал, чтобы дали ему под начальство его чиновников или смотрителей над строениями, бригадиров Рязанова[134] и Мордвинова[135], и с ними он уехал в армию. Это были военные, которые раньше ничего не делали, как заключали

контракты на постройки. Как только он туда приехал, ему велели принять командование вместо фельдмаршала Апраксина, который был отозван; а когда он возвращался, он нашел в Четырех Руках распоряжение остановиться там и ждать приказаний императрицы.

Долго пришлось их ждать, потому что его друзья, его дочь и Петр Шувалов делали все на свете и действовали всевозможными средствами, чтобы утишить гнев императрицы, разжигаемый Воронцовыми, графом Бутурлиным, Иваном Шуваловым и другими, которых побуждали послы Версальского и Венского дворов начать процесс против Апраксина. Наконец назначили следователей, чтобы рассмотреть дело. После первого допроса у фельдмаршала Апраксина сделался апоплексический удар, от которого он умер приблизительно через сутки.

В этом процессе был бы, наверное, также замешан генерал Ливен; он был другом и поверенным фельдмаршала Апраксина; мне пришлось бы испытать лишнее огорчение, потому что Ливен был ко мне искренно привязан; но, какую бы дружбу я ни питала к Ливену и Апраксину, я могу поклясться, что я совершенно не знала причины их поведения и самого поведения, хотя и старались распустить слух, что это в угоду великому князю и мне они отступали, вместо того чтобы идти вперед. Ливен иногда давал довольно странные доказательства своей ко мне привязанности; между прочим, однажды, когда посол Венского двора граф Эстергази давал маскарад, на котором присутствовали императрица и весь двор, Ливен, видя, как я проходила по комнате, где он находился, сказал своему соседу, которым был в ту минуту граф Понятовский: «Вот женщина, из-за которой порядочный человек мог бы вынести без сожаления несколько ударов кнута». Этот анекдот я узнала от самого графа Понятовского, впоследствии короля Польского.

Как только генерал Фермор принял командование, он поспешил выполнить свои инструкции, в которых было точно указано, чтобы наступать, ибо, несмотря на суровое время года, он занял Кенигсберг, который выслал ему депутатов 18 января 1758 года.

В эту зиму я вдруг заметила большую перемену в поведении Льва Нарышкина. Он начинал становиться невежливым и грубым: он только нехотя приходил ко мне и говорил вещи, которые показывали, что ему вбивали в голову недоброжелательство по отношению ко мне, его невестке, сестре, графу Понятовскому и всем тем, кто был ко мне привязан. Я узнала, что он почти всегда был у Ивана Шувалова, и я легко догадывалась, что его отвращают от меня, чтобы меня наказать за то, что я ему

помешала жениться на девице Хитрово, и что, конечно, так постараются, что доведут его до болтовни, которая может стать мне вредной.

Его невестка, его сестра, его брат были так же рассержены на него, как и я; и буквально он вел себя как безумный и оскорблял нас, как только мог, без причины, и это в то время, когда я меблировала на свой счет дом, где он должен был жить, когда женится. Все обвиняли его в неблагодарности, а он говорил, что у него не корыстная душа; словом, у него не было причин жаловаться никоим образом; ясно было видно, что он служил орудием тем, кто им завладел. Он более чем когда-либо аккуратно являлся на поклон к великому князю, которого он забавлял так, как мог, и все более и более склонял его к тому, что, как он знал, я порицала; он простирал невежливость иногда до того, что когда я с ним разговаривала, то он мне не отвечал. В настоящее время я не знаю, какая муха его укусила, между тем как я буквально осыпала его благодеяниями и изъявлениями дружбы так же, как и его семью, с тех пор как я их знала.

Я думаю, что он старался ласкать великого князя также по советам господ Шуваловых, которые ему говорили, что эта милость будет для него всегда прочнее моей, потому что я на дурном счету у императрицы и у великого князя, что ни та, ни другой меня не любит и что он повредит своей карьере, если не отстанет от меня… что, как только императрица умрет, великий князь заточит меня в монастырь, и тому подобные вещи, которые говорили Шуваловы и которые были мне переданы. Кроме того, ему посулили орден Св. Анны как знак милости великого князя по отношению к нему. С помощью этих рассуждений и обещаний добивались от этой слабой и бесхарактерной головы всех маленьких измен, каких хотели, и его заставили зайти так далеко и даже дальше, чем желали, хотя от времени до времени у него бывали порывы раскаяния. Как потом увидят, тогда он старался, как только мог, удалять великого князя от меня, так что последний дулся на меня почти непрерывно и связался снова с графиней Елисаветой Воронцовой.

К весне этого года распространился слух, что принц Карл Саксонский, сын Польского короля Августа III, приедет в Петербург. Это не доставило удовольствия великому князю по разным причинам, из которых первой была та, что он боялся, чтобы этот приезд не был увеличением стеснения для него, так как он не любил, чтобы образ жизни, который он себе устроил, был бы хоть сколько-нибудь расстроен; вторая причина заключалась в том, что Саксонский дом был на стороне, противной королю Прусскому. Третьей причиной могло быть еще

то, что он боялся потерять в сравнении: это значило по меньшей мере быть очень скромным, потому что этот бедный Саксонский принц ничего собой не представлял и не имел никакого образования; кроме охоты и танцев, он ничего не знал, и он сам мне говорил, что за всю его жизнь у него не было в руках книги, кроме молитвенника, которым его снабдила королева, его мать, государыня, отличавшаяся большим ханжеством.

Принц Карл Саксонский приехал действительно пятого апреля этого года в Петербург, где его встретили с большим парадом и с большим наружным великолепием и блеском. Его свита была очень многочисленна: его сопровождали множество поляков и саксонцев, между которыми был один из Любомирских, один из Потоцких, коронный писарь, граф Ржевуский[136], которого звали «красивым», двое князей Сулковских, один граф Сапега, граф Броницкий[137], впоследствии великий гетман, граф Эйнзидель и много других, имена которых не приходят мне сейчас на память. С ними был своего рода помощник воспитателя, по имени Лашиналь, который руководил его поведением и перепиской. Принца Саксонского поместили в доме камергера Ивана Шувалова, который был только что отделан и в который домохозяин вложил весь свой вкус, несмотря на то, что дом был устроен без вкуса и довольно плохо, но, впрочем, очень богато. В нем было много картин, но большею частию – копии; одну комнату отделали чинаровым деревом, но так как чинара не блестит, то ее покрыли лаком, и через это комната стала желтой, но очень неприятного желтого цвета; отсюда вышло то, что ее сочли некрасивой, и, чтобы этому пособить, ее покрыли очень тяжелой и богатой деревянной резьбой, которую посеребрили. Снаружи этот дом, большой сам по себе, походил своими украшениями на манжетки из алансонского кружева, так много было на нем резьбы.

Граф Иван Чернышев назначен был состоять при Саксонском принце Карле, и содержание его, и услуги шли на счет двора, и ему прислуживали придворные люди. В ночь накануне дня приезда принца Карла я почувствовала такую сильную колику с таким поносом, что мне пришлось больше тридцати раз ходить на судно; несмотря на это и на охватившую меня лихорадку, я на следующий день оделась, чтобы принять Саксонского принца. Его привели к императрице около двух часов пополудни, а по выходе от нее его привели ко мне, куда через минуту после него должен был войти великий князь. Для этого поставили у одной и той же стены три кресла: среднее было для меня, правое от меня – для великого князя и левое – для Саксонского принца. Я вела разговор, так как великий князь не хотел почти говорить, да и

принц Карл не был разговорчив.

Наконец через семь-восемь минут разговора принц Карл встал, чтобы представить нам свою огромную свиту; с ним было, кажется, больше двадцати человек, к которым присоединились в этот день посланники: польский и саксонский, которые состояли при Русском дворе, со своими чиновниками. После получасовой беседы принц ушел, а я разделась, чтобы лечь в кровать, где оставалась три-четыре дня в очень сильной лихорадке, после которой у меня снова появились признаки беременности.

В конце апреля мы поехали в Ораниенбаум. До нашего отъезда мы узнали, что принц Карл Саксонский отправляется добровольцем в русскую армию. Прежде чем ехать в армию, он ездил с императрицей в Петергоф и его чествовали там и в городе. Мы не были на этих празднествах, но оставались у себя на даче, где он с нами простился и уехал четвертого июля. Так как великий князь был почти всегда очень сердит на меня и я не знала этому другой причины, кроме той, что я неласково принимала ни Брокдорфа, ни графиню Елисавету Воронцову, которая снова становилась любимой султаншей, то я вздумала дать в честь Его Императорского Высочества праздник в моем ораниенбаумском саду, дабы смягчить его дурное настроение, если сделать это было возможно.

Всякое празднество всегда было приятно Его Императорскому Высочеству. Для этого я велела выстроить в одном уединенном месте лесочка итальянскому архитектору, который тогда у меня был, Антонио Ринальди[138], большую колесницу, на которую могли бы поместить оркестр в шестьдесят человек музыкантов и певцов. Я велела сочинить стихи придворному итальянскому поэту, а музыку – капельмейстеру Арайе. В саду, на главной аллее, поставили иллюминованную декорацию с занавесом, против которой накрыли столы для ужина. Семнадцатого июля под вечер Его Императорское Высочество со всеми, кто был в Ораниенбауме, и с множеством зрителей, приехавших из Кронштадта и из Петербурга, отправились в сад, который нашли иллюминованным; сели за стол, и после первого блюда поднялся занавес, который скрывал главную аллею, и увидели приближающийся издалека подвижной оркестр, который везли штук двадцать быков, убранных гирляндами, и окружали столько танцоров и танцовщиц, сколько я могла найти. Аллея была иллюминована, и так ярко, что различали предметы.

Когда колесница остановилась, то, игрою случая, луна очутилась как раз над колесницей, что произвело восхитительный эффект и что очень удивило все общество; погода была, кроме того, превосходнейшая. Все выскочили из-за стола, чтобы ближе

насладиться красотой симфонии и зрелища. Когда она окончилась, занавес опустили и все снова сели за стол и принялись за второе блюдо. Когда его заканчивали, послышались трубы и литавры и вышел скоморох, выкрикивая: «Милостивые государи и милостивые государыни, заходите, заходите ко мне, вы найдете в моих лавочках даровую лотерею!» С двух сторон декорации с занавесом поднялись два маленьких занавеса, и увидели две ярко освещенные лавочки, в одной из которых раздавались бесплатно лотерейные номера для фарфора, находившегося в ней, а в другой – для цветов, лент, вееров, гребенок, кошельков, перчаток, темляков и тому подобных безделок в этом роде.

Когда лавки были опустошены, мы пошли есть сладкое, после чего стали танцевать до шести часов утра. На этот раз никакая интрига, ни злоба не выдержали перед моим праздником, и Его Императорское Высочество и все были в восхищении от него и то и дело хвалили великую княгиню и ее праздник; правда, что я ничего не пожалела: вино мое нашли чудным, ужин – отличнейшим; все было на мой собственный счет, и праздник стоил мне от десяти до пятнадцати тысяч; заметьте, что я имела всего тридцать тысяч. Но этот праздник чуть не стоил мне гораздо дороже: утром семнадцатого июля я поехала в кабриолете с Нарышкиной, чтобы посмотреть приготовления; когда я пожелала выйти из кабриолета и была уже на подножке, лошадь тронула, и я упала на землю на колени; а я была уже на четвертом или на пятом месяце беременности; но я и виду не показала и оставалась последней на празднике, занимаясь с гостями.

Между тем я очень боялась выкидыша; однако со мною ничего не случилось, и я отделалась страхом.

Великий князь, все его окружающие, все его голштинцы и даже самые злые мои враги в течение нескольких дней не переставали восхвалять меня и мой праздник, так как не было ни друга, ни недруга, который не унес бы какой-нибудь тряпки на память обо мне; и так как на этом празднике, который был маскарадом, было множество народа из всех слоев общества, и общество в саду было смешанное, и, между прочим, находилось много женщин, которые обыкновенно не появлялись совсем при дворе и в моем присутствии, то все хвастались моими подарками и выставляли их, хотя, в сущности, они были неважными, потому что, я думаю, не было ни одного дороже ста рублей, но их получили от меня, и всем было приятно сказать: «Это у меня от Ее Императорского Высочества, великой княгини; она сама доброта, она всем сделала подарки; она прелестна; она смотрела на меня с

веселым любезным видом; она находила удовольствие заставлять нас танцевать, угощаться, гулять; она рассаживала тех, у кого не было места; она хотела, чтобы все видели то, на что было посмотреть; она была весела», – словом, в этот день у меня нашли качества, которых за мною не знали, и я обезоружила своих врагов. Это и было моею целью; но это было ненадолго, как увидят впоследствии.

После этого праздника Лев Нарышкин стал снова у меня бывать. Однажды, желая войти в мой кабинет, я застала его там нахально развалившимся на канапе, которое там находилось, и распевающим бессмысленную песню. Видя это, я вышла, захлопнула за собою дверь и тотчас же пошла за его невесткой; я ей сказала, что надо взять хороший пучок розог и высечь ими этого мужчину, который уже давно так дерзко ведет себя с нами, чтобы научить его уважать нас. Его невестка охотно на это согласилась, и тотчас же мы велели принести хороших розог, обвязанных крапивой; мы заставили пойти с нами одну вдову, которая была при мне среди моих женщин, по имени Татьяна Юрьевна, и мы все трое отправились в мой кабинет, где застали Льва Нарышкина на том же месте распевающим во все горло свою песню. Когда он нас увидел, он хотел удрать от нас, но мы так отстегали его нашими крапивными розгами, что у него ноги, руки и лицо настолько распухли в течение двух-трех дней, что он не мог поехать с нами на следующий день в Петергоф на куртаг, а был принужден оставаться у себя. Он отнюдь не стал также хвастаться тем, что с ним случилось, потому что мы его уверили, что при малейшей невежливости или по малейшему поводу, каким он вызовет наши жалобы на него, мы повторим ту же операцию, видя, что нет никакого другого средства справиться с ним. Все это понималось как чистая шутка, без злобы, но наш мужчина достаточно это почувствовал, чтобы запомнить это, и не подвергался этому впредь, в той степени по крайней мере, в какой он делал это до сих пор.

В августе месяце мы узнали в Ораниенбауме, что четырнадцатого августа было дано сражение при Цорндорфе – одно из самых кровопролитных за этот век, потому что каждая из сторон насчитывала более двадцати тысяч человек убитыми и пропавшими. Наши потери в офицерах были значительны и превосходили тысячу двести. Нам объявили об этом сражении как о выигранном, но на ухо говорили друг другу, что с обеих сторон потери были равные, что в течение трех дней ни одна из двух армий не смела приписать себе выигрыша сражения, что, наконец, на третий день Прусский король велел служить молебствие в своем лагере, а генерал Фермор – на поле сражения.

Горе императрицы и уныние всего города было велико, когда узнали все подробности этого кровавого дня, где многие потеряли своих близких друзей и знакомых; долго слышны были одни сожаления об этом дне; много генералов было убито, ранено или взято в плен. Наконец было признано, что генерал Фермор вел дело совсем не по-военному и без всякого искусства. Войско его ненавидело и не имело к нему никакого доверия. Двор его отозвал и назначил генерала графа Петра Салтыкова[139], чтобы отправиться в Пруссию командовать армией вместо генерала Фермора. Для этого выписали графа Салтыкова из Украины, где он имел команду, а пока отдали командование армией генералу Фролову-Багрееву, но с секретным предписанием ничего не делать без генерал-лейтенантов графа Румянцева[140] и князя Александра Голицына, шурина Румянцева.

Последнего обвинили в том, что когда он был на небольшом расстоянии от поля сражения с корпусом в десять тысяч человек на высотах, откуда он слышал канонаду, то от него зависело сделать ее более решительной, наступая с тылу прусской армии, в то время как она была в схватке с нашей. Граф Румянцев этого не сделал, и, когда его шурин, князь Голицын, пришел после сражения к нему в лагерь и рассказал ему о бойне, которая была, он очень дурно его принял, наговорил ему грубостей и не захотел его видеть после этого, обходясь с ним как с трусом, каковым князь Голицын не был, и вся армия была более убеждена в неустрашимости последнего, нежели в храбрости графа Румянцева, несмотря на его теперешнюю славу и победы.

Императрица находилась в начале сентября в Царском Селе, где восьмого числа, в день Рождества Богородицы, пошла пешком из дворца в приходскую церковь, находящуюся в двух шагах от Северных ворот, чтобы слушать обедню. Едва обедня началась, как императрица почувствовала себя нехорошо, вышла из церкви, спустилась с маленького крыльца, находящегося наискосок от дворца, и, дойдя до выступа на углу церкви, упала на траву без чувств, среди толпы, или, вернее, окруженная толпой народа, пришедшего на праздник со всех окрестных сел слушать обедню. Никто из свиты императрицы не последовал за ней, когда она вышла из церкви, но вскоре предупрежденные дамы ее свиты и наиболее доверенные ее побежали к ней на помощь и нашли ее без движения и без сознания среди народа, который смотрел на нее и не смел подойти.

Императрица была очень рослая и полная и не могла упасть разом, не причинив себе сильной боли самим падением. Ее покрыли белым платком и пошли за докторами и хирургом; этот последний пришел первым и нашел, что самое неотложное – это

пустить ей кровь тут же, на земле, среди и в присутствии всего этого народа, но она не пришла в себя.

Доктор долго собирался, будучи сам болен и не имея возможности ходить. Принуждены были принести его в кресле; это был покойный Кондоиди[141], грек родом, а хирург – Фузадье, француз-эмигрант. Наконец принесли из дворца ширмы и канапе, на которое ее поместили; лекарствами и уходом ее слегка привели в чувство; но, открыв глаза, она никого не узнала и спросила совсем почти невнятно, где она. Все это длилось более двух часов, после чего решили снести Ее Императорское Величество на канапе во дворец.

Можно себе вообразить, каково было уныние всех тех, кто состоял при дворе. Гласность события еще увеличивала его печаль: до сих пор держали болезнь императрицы в большом секрете, а с этой минуты случай этот стал публичным.

На следующий день утром я узнала все обстоятельства этого несчастного случая из записки, присланной мне графом Понятовским. Я сейчас же пошла сказать это великому князю, который ничего не знал, потому что от нас всегда тщательнейшим образом скрывали все вообще и в частности еще то, что лично касалось императрицы; но было в обычае каждое воскресенье, когда мы не были в одном и том же месте с Ее Императорским Величеством, посылать одного из кавалеров нашего двора, чтобы осведомляться о состоянии здоровья императрицы. Мы не преминули сделать это на следующее воскресенье и узнали, что в течение нескольких дней императрица не могла свободно владеть языком и что она еще не могла говорить без затруднения; говорили, что во время обморока она прикусила себе язык.

Все это заставляло предполагать, что эта слабость происходила больше от конвульсий, нежели от обморока. В конце сентября мы вернулись в город. Так как я становилась тяжелой от своей беременности, то я больше не появлялась в обществе, считая, что я ближе к родам, нежели была на самом деле. Это было скучно для великого князя, потому что, когда я появлялась в обществе, он очень часто сказывался нездоровым, чтобы оставаться у себя, и так как императрица появлялась тоже редко, то и выезжали на мне со всеми куртагами, придворными праздниками и балами, а когда я не бывала там, то приставали к Его Императорскому Высочеству, чтобы он туда отправлялся, дабы кто-нибудь нес обязанности по представительству. А потому Его Императорское Высочество сердился на мою беременность и вздумал сказать однажды у себя, в присутствии Льва Нарышкина и некоторых других: «Бог знает, откуда моя жена берет свою

беременность; я не слишком-то знаю, мой ли это ребенок и должен ли я его принять на свой счет». Лев Нарышкин прибежал ко мне и передал мне эти слова прямо с пылу.

Я, понятно, испугалась таких речей и сказала ему: «Вы все ветреники; потребуйте от него клятвы, что он не спал со своею женою, и скажите, что если он даст эту клятву, то вы сообщите об этом Александру Шувалову как великому инквизитору Империи». Лев Нарышкин пошел действительно к Его Императорскому Высочеству и потребовал у него этой клятвы, на что получил в ответ: «Убирайтесь к черту и не говорите мне больше об этом».

Эти слова великого князя, сказанные так неосторожно, очень меня рассердили, и я с тех пор увидала, что на мой выбор предоставлялись три дороги, одинаково трудные: во-первых, делить участь Его Императорского Высочества, как она может сложиться; во-вторых, подвергаться ежечасно тому, что ему угодно будет затеять за или против меня; в-третьих, избрать путь, независимый от всяких событий. Но, говоря яснее, дело шло о том, чтобы погибнуть с ним или через него, или же спасать себя, детей и, может быть, государство от той гибели, опасность которой заставляли предвидеть все нравственные и физические качества этого государя. Эта последняя доля показалась мне самой надежной, и я решила по мере сил продолжать подавать великому князю все советы, какие могу придумать для его блага, но никогда не упорствовать до того, чтобы его сердить, как раньше, когда он их не слушался; открывать ему глаза на его действительные интересы каждый раз, как случай к тому представится, и в остальное время замкнуться в очень угрюмое молчание, наблюдая, с другой стороны, в обществе мои интересы так, чтобы оно видело во мне, при случае, спасителя государства.

В октябре месяце я получила от великого канцлера графа Бестужева извещение, что Польский король только что прислал графу Понятовскому отзывную грамоту. У графа Бестужева был из-за этого большой спор с графом Брюлем и Саксонским кабинетом, и он сердился на то, что с ними не посоветовались, как прежде, об этом пункте.

Он узнал наконец, что это вице-канцлер граф Воронцов и Иван Шувалов обделали все это дело через Прассе, саксонского резидента. Этот Прассе казался часто осведомленным о множестве подробностей, так что удивлялись, откуда он их знает. Несколько лет спустя этот источник открылся: он был очень тайным и скромным любовником жены вице-канцлера графа Воронцова, графини Анны Карловны, урожденной Скавронской, которая была очень дружна с женою церемониймейстера Самарина, и у этой-то женщины графиня видала Прассе. Канцлер

Бестужев велел подать себе эти отзывные грамоты, посланные графу Понятовскому, и вернул их в Саксонию, под предлогом несоблюдения формальностей. В ночь с восьмого на девятое декабря я начала чувствовать боли перед родами. Я послала уведомить об этом великого князя через Владиславову, также и графа Александра Шувалова, дабы он мог предупредить императрицу.

Через несколько времени великий князь вошел в мою комнату, одетый в свой голштинский мундир, в сапогах и шпорах, с шарфом вокруг пояса и с громадной шпагой на боку; он был в полном параде; было около двух с половиной часов ночи. Очень удивленная этим одеянием, я спросила его о причине столь изысканного наряда. На это он мне ответил, что только в нужде узнаются истинные друзья, что в этом одеянии он готов поступать согласно своему долгу, что долг голштинского офицера – защищать по присяге герцогский дом против всех своих врагов, и так как мне нехорошо, то он поспешил ко мне на помощь. Можно было бы сказать, что он шутит, но вовсе нет: то, что он говорил, было очень серьезно; я легко догадалась, что он пьян, и посоветовала ему идти спать, чтобы, когда императрица придет, она не имела двойного неудовольствия видеть его пьяным и вооруженным с головы до ног, в голштинском мундире, который, как я знала, она ненавидела.

Мне стоило большого труда заставить его уйти, однако, и Владиславова и я, мы его убедили с помощью акушерки, которая уверяла, что я еще не рожу так скоро. Наконец он ушел, и императрица пожаловала.

Она спросила, где великий князь; ей ответили, что он только что вышел и не преминет возвратиться. Так как она увидала, что боли замедлялись, и так как акушерка сказала, что это может длиться еще несколько часов, то она вернулась в свои покои, а я легла в постель, где и заснула до следующего дня; когда встала, по обыкновению, чувствуя время от времени боли, после которых я целыми часами ничего не чувствовала.

К ужину я проголодалась и велела принести себе ужин; акушерка сидела близ меня, и, видя, что я ем с алчным аппетитом, она мне сказала: «Кушайте, кушайте, этот ужин принесет нам счастье». Действительно, поужинав, я встала из-за стола, и в ту самую минуту, как встала, у меня сделалась такая боль, что я громко вскрикнула.

Акушерка и Владиславова подхватили меня под руки и уложили меня на родильную постель; послали за великим князем и за императрицей. Едва они вошли в мою комнату, как я разрешилась девятого декабря между десятью и одиннадцатью

часами вечера дочерью, которой я просила императрицу разрешить дать ее имя; но она решила, что она будет носить имя старшей сестры Ее Императорского Величества, герцогини Голштинской, Анны Петровны, матери великого князя.

Этот последний, казалось, был очень доволен рождением этого ребенка; он по этому случаю устроил у себя большое веселье, велел устроить то же и в Голштинии, и принимал все поздравления, которые ему по этому случаю приносили, с изъявлениями удовольствия.

На шестой день императрица была восприемницей этого ребенка и принесла мне приказ Кабинета выдать мне шестьдесят тысяч рублей. Она послала столько же великому князю, что немало увеличило его удовольствие.

После крестин начались празднества. Давались, как говорят, прекраснейшие, я не видала ни одного; я была в моей постели одинешенька, и не было ни единой души со мной, кроме Владиславовой, потому что, как только я родила, не только императрица в этот раз, как и в прошлый, унесла ребенка в свои покои, но также под предлогом отдыха, который мне был нужен, меня оставили покинутой, как какую-то несчастную, и никто ни ногой не вступал в мою комнату и не осведомлялся и не велел осведомляться, как я себя чувствую.

Как и в первый раз, я очень страдала от этой заброшенности. На этот раз я приняла всевозможные предосторожности против сквозняков и неудобств помещения, и, как только я разрешилась, я встала и легла на свою постель, и так как никто не смел приходить ко мне, разве только украдкой, то и в этом отношении у меня не было недостатка предусмотрительности.

Моя кровать выступала приблизительно до половины довольно длинной комнаты, налево от кровати был черный ход, выходящий как бы в гардеробную, служившую также передней и очень заставленную ширмами и сундуками; от моей кровати до этой двери я велела поставить громадные ширмы, которые скрывали очень миленький кабинет, какой я только могла придумать ввиду этого помещения и обстоятельств. В этом кабинете были канапе, зеркала, переносные столики и несколько стульев. Когда занавес моей кровати был с этой стороны спущен, ничего не было видно; когда же он был отдернут – видно было и кабинет, и тех, кто в нем находились; те, кто входил в комнату, видели только большие ширмы; когда спрашивали, что за ширмами, говорили – судно; но судно было в самой ширме, и никому не было любопытно на него взглянуть, да и можно было бы его показать, не проникая еще в кабинет, который прикрывали эти ширмы.

Первого января 1759 года придворные празднества окончились очень большим фейерверком между балом и ужином; так как я все еще лежала, то и не появлялась при дворе. Перед фейерверком граф Петр Шувалов вздумал подойти к моим дверям, чтобы передать мне план фейерверка. Незадолго перед тем, как его стали пускать, Владиславова сказала ему, что я сплю, но что она, однако, пойдет посмотреть; я не спала, это была неправда, но только я была в постели, и у меня была моя обычная маленькая компания, которую составляли, как и прежде, Нарышкина, Сенявина, Измайлова и граф Понятовский. Последний со времени своего отозвания сказывался больным, но приходил ко мне, а дамы эти любили меня достаточно, чтобы предпочесть мое общество балам и праздникам.

Владиславова не знала точно, кто у меня, но у нее был слишком хороший нюх, чтобы не подозревать, что кто-то есть; я сказала ей, что рано ложусь спать от скуки, и она уже больше не входила.

После прихода графа Петра Шувалова она постучалась в дверь, я задернула занавес со стороны ширм и сказала ей, чтобы она вошла; она вошла и передала мне поручение графа Петра Шувалова; я велела ей впустить его. Она пошла за ним, а в это время мои гости за ширмами помирали со смеху от крайней необычайности этой сцены, когда я собиралась принять визит графа Петра Шувалова, который мог бы поклясться, что застал меня одну, в моей постели, между тем как всего один занавес отделял мою маленькую и очень веселую компанию от этого лица, столь важного тогда оракула двора и пользовавшегося в высокой степени доверием императрицы. Наконец он вошел, принес мне свой план фейерверка; он был тогда генерал-фельдцейхмейстером. Я начала с того, что стала извиняться, что заставила его ждать, говоря, что я только что проснулась; я немного протирала себе глаза, говоря, что я еще совсем заспанная. Я лгала, чтобы не выдать Владиславову, после чего я завела с ним довольно длинный разговор и даже до того, что мне показалось, что он очень спешит уйти, чтоб не заставлять ждать императрицу начала фейерверка. Тогда я его отпустила, он вышел, и я снова отдернула занавес; моей компании от смеху захотелось есть и пить. Я им сказала: «Отлично, у вас будет, что есть и пить; между тем как вы составляете мою компанию, справедливо, чтобы в угоду мне вы не померли бы у меня от голоду и жажды». Я снова закрыла занавес и позвонила. Владиславова пришла, я ей сказала, чтоб она велела принести мне ужинать, что я умираю от голоду и чтоб было по крайней мере шесть вкусных блюд.

Когда ужин был готов, мне его принесли; я велела поставить все у моей кровати и сказала служителям, чтоб они ушли. Тогда находившиеся за ширмой гости набросились как голодные на еду, какая нашлась; веселье увеличивало аппетит. Признаюсь, этот вечер был одним из самых шальных и самых веселых, какие я провела в своей жизни. Когда проглотили ужин, я велела унести остатки так же, как мне его принесли. Я думаю только, что моя прислуга была немного удивлена моим аппетитом. К концу придворного ужина моя компания удалилась, также очень довольная своим вечером.

Граф Понятовский для выхода брал обыкновенно с собою белокурый парик и плащ, и, когда часовые спрашивали его: «Кто идет?», он называл себя: «Музыкант великого князя». Этот парик очень нас смешил в тот вечер. На этот раз после шести недель мне давали молитву в малой церкви императрицы, но, кроме графа Александра Шувалова, никто при этом не присутствовал. К концу Масленой, когда все городские праздники закончились, при дворе было три свадьбы: свадьба графа Александра Строганова[142] с графиней Анной Воронцовой, дочерью вице-канцлера, была первой, а два дня спустя – свадьба Льва Нарышкина с девицей Закревской, в тот же день, как и свадьба графа Бутурлина с графиней Марией Воронцовой.

Эти три девицы были фрейлинами императрицы. По поводу этих трех свадеб держали при дворе пари гетман Кирилл Разумовский и датский посланник граф Остен, кто из троих новобрачных будет раньше всех рогоносцем, и оказалось, что выиграли пари те, кто держал за Строганова, молодая супруга которого казалась тогда самой некрасивой, самой невинной и наиболее ребенком. Канун дня свадьбы Льва Нарышкина и графа Бутурлина был днем несчастного события. Давно уже передавали друг другу на ухо, что кредит великого канцлера графа Бестужева пошатывался, что его враги брали верх. Он потерял своего друга, генерала Апраксина.

Граф Разумовский-старший долго его поддерживал, но с преобладанием фавора Шуваловых он больше ни во что почти не вмешивался, разве только испрашивал, когда представлялся к тому случай, какую-нибудь маленькую милость для своих друзей или родственников. Шуваловых и Михаила Воронцова возбуждали еще в их ненависти к великому канцлеру послы австрийский, граф Эстергази, и французский, маркиз де Лопиталь. Этот последний считал графа Бестужева более склонным к союзу с Англией, нежели с Францией. Австрийский посол замышлял против Бестужева, потому что Бестужев хотел, чтобы Россия держалась своего союзного договора с Венским

двором и оказывала бы помощь Марии Терезии, но не хотел, чтоб она действовала в качестве первой воюющей стороны против Прусского короля.

Граф Бестужев думал как патриот и им нелегко было вертеть, тогда как Михаил Воронцов и Иван Шувалов были до такой степени в руках у обоих послов, что за две недели до того, как впал в немилость великий канцлер граф Бестужев, французский посол маркиз де Лопиталь отправился к вице-канцлеру графу Воронцову с депешей в руках и сказал: «Граф, вот депеша моего двора, которую я получил и в которой сказано, что если через две недели великий канцлер не будет отставлен вами от должности, то я должен буду обратиться к нему и вести дела только с ним». Тогда вице-канцлер разгорелся и отправился к Ивану Шувалову, и императрице представили, что слава ее страдает от влияния графа Бестужева в Европе. Она приказала собрать в тот же вечер конференцию и призвать туда великого канцлера. Последний велел сказать, что он болен; тогда назвали эту болезнь неповиновением и послали сказать, чтобы он пришел без промедления.

Он пришел, и его арестовали в полном собрании конференции, сложили с него все должности, лишили всех чинов и орденов, между тем как ни единая душа не могла обстоятельно изложить, за какие преступления или злодеяния так всего лишали первое лицо в империи, и его отправили к себе под домашний арест. Так как это было подготовлено, то вызвали отряд гвардейских гренадеров; эти последние, идя вдоль Мойки, где у графов Александра и Петра Шуваловых были свои дома, говорили: «Слава Богу, мы арестуем этих проклятых Шуваловых, которые только и делают, что выдумывают монополии»; но, увидев, что дело идет о графе Бестужеве, солдаты выказали неудовольствие по этому поводу, говоря: «Это не он, это другие давят народ». Хотя Бестужева арестовали в самом дворце, где мы занимали флигель, и не очень далеко от наших покоев, в этот вечер мы ничего не узнали: так заботились скрывать от нас все, что делалось.

На следующий день, в воскресенье, одеваясь, я получила от Льва Нарышкина записку, которую посылал мне граф Понятовский этим путем, очень давно уже не внушавшим ничего, кроме подозрения. Эта записка начиналась словами: «Человек никогда не остается без помощи; пользуюсь этим путем, чтобы предупредить вас, что вчера вечером граф Бестужев был арестован и лишен чинов и должностей, и с ним вместе арестованы ваш ювелир Бернарди, Елагин и Ададуров».

Я так и остолбенела, читая эти строки, и, прочтя их, сказала

себе, что нельзя обманывать себя тем, будто это дело не касается меня ближе, чем кажется. А чтобы понять это, нужен комментарий. Бернарди был итальянский торговец золотыми вещами, который был неглуп и которому его ремесло давало доступ во все дома. Думаю, что не было ни одного дома, который не был бы ему чем-нибудь обязан и которому он не оказал бы той или другой мелкой услуги. Так как он постоянно бывал везде, то все друг для друга давали ему какие-нибудь поручения; словечко в записке, посланной через Бернарди, достигало скорее и вернее, нежели через прислугу. Таким образом, арест Бернарди интриговал целый город, потому что он ото всех имел поручения, от меня так же, как и от других. Елагин был тот прежний адъютант обер-егермейстера графа Разумовского, на которого была возложена опека над Бекетовым; он остался преданным дому Разумовских, а через них и графу Бестужеву; он стал другом графа Понятовского.

Это был человек надежный и честный; кто раз приобретал его любовь, тот нелегко ее терял; он всегда изъявлял усердие и заметное ко мне предпочтение. Ададуров был прежде моим учителем русского языка и остался очень ко мне привязанным; это я рекомендовала его графу Бестужеву, который начал выказывать ему доверие всего два или три года и который не любил его прежде, потому что он был раньше привержен к генерал-прокурору, князю Никите Юрьевичу Трубецкому, врагу Бестужева.

После прочтения этой записки и сделанных мною размышлений множество мыслей, одни неприятнее и грустнее других, пришли мне на ум. С ножом в сердце, так сказать, я оделась и пошла к обедне, где мне показалось, что большая часть из тех, кого я видела, имели такую же вытянутую физиономию, как и я. Никто ни о чем не говорил со мною во весь день, и как будто никто не знал о событии; я тоже ни слова не говорила. Великий князь никогда не любил графа Бестужева; он мне показался довольно веселым в этот день, но держался, хотя без принужденности, однако довольно далеко от меня. Вечером надо было идти на свадьбу. Я снова оделась и присутствовала при венчании графа Бутурлина и Льва Нарышкина, на ужине и на балу.

Во время бала я подошла к маршалу свадьбы князю Никите Трубецкому, и, под предлогом рассматривания лент его маршальского жезла, я сказала ему вполголоса: «Что же это за чудеса? Нашли вы больше преступлений, чем преступников, или у вас больше преступников, нежели преступлений». На это он мне сказал: «Мы сделали то, что нам велели, но что касается

преступлений, то их еще ищут. До сих пор открытия неудачны».

По окончании разговора с ним я пошла поговорить с фельдмаршалом Бутурлиным, который мне сказал: «Бестужев арестован, но в настоящее время мы ищем причину, почему это сделано». Так говорили оба главных следователя, назначенных императрицей, чтобы с графом Александром Шуваловым производить допрос арестованных. Я увидала на этом балу издали Штамбке и нашла, что у него страдальческий и унылый вид. Императрица не появилась ни на одной из этих свадеб: ни в церкви, ни на банкете. На следующий день Штамбке пришел ко мне и сказал мне, что ему только что передали записку от графа Бестужева, который наказывал ему сказать мне, чтобы я не имела никаких опасений относительно того, что я знала, что он успел все бросить в огонь и что он сообщит ему тем же путем о допросах, которые ему будут делать. Я спросила у Штамбке, какой этот путь? Он мне сказал, что трубач-охотник передал ему эту записку, и было условлено, что впредь будут класть между кирпичами недалеко от дома графа Бестужева в указанном месте все, что захотят друг другу сообщить. Я велела Штамбке очень остерегаться, чтобы эта опасная переписка не открылась, но, хотя он мне казался сам в большой тревоге, тем не менее он и граф Понятовский продолжали переписку. Как только Штамбке вышел, я позвала Владиславову и велела ей пойти к ее зятю Пуговишникову[143] и передать ему записку, которую я ему написала.

В этой записке были только слова: «Вам нечего бояться, успели все сжечь». Это его успокоило, потому что, по-видимому, со времени ареста великого канцлера он должен был быть ни жив ни мертв, и вот по какому поводу, и что такое было то, что граф Бестужев успел сжечь. Болезненное состояние и частые конвульсии императрицы заставляли всех обращать взоры на будущее; граф Бестужев и по своему месту, и по своим умственным способностям не был, конечно, одним из тех, кто об этом подумал последний. Он знал антипатию, которую давно внушили великому князю против него; он был весьма сведущ относительно слабых способностей этого принца, рожденного наследником стольких корон. Естественно, этот государственный муж, как и всякий другой, возымел желание удержаться на своем месте; уже несколько лет он видел, что я освобождаюсь от тех предубеждений, которые мне против него внушили; к тому же он смотрел на меня лично как на единственного, может быть, человека, на котором можно было в то время основать надежды общества в ту минуту, когда императрицы не станет. Это и подобные размышления заставили его составить план, по

которому со смерти императрицы великий князь будет объявлен императором по праву, а в то же время я буду объявлена его соучастницей в управлении, что все должностные лица останутся, а ему дадут звание подполковника в четырех гвардейских полках и председательство в трех государственных коллегиях: в коллегии иностранных дел, военной и адмиралтейской. Отсюда видно, что его претензии были чрезмерны.

Проект этого манифеста он мне прислал, написанный рукою Пуговишникова, через графа Понятовского, с которым я условилась ответить ему устно, что я благодарю его за его добрые насчет меня намерения, но что я смотрю на эту вещь как на трудно исполнимую. Он заставил написать и переписать свой проект несколько раз, изменял его, пополнял, сокращал; казалось, он был им очень занят. По правде говоря, я смотрела на его проект как на пустую болтовню и на удочку, которую этот старик мне закидывал, чтобы приобрести себе все более и более мою привязанность; но на эту удочку я не клюнула, потому что я считала ее вредной для государства, которое терзалось бы от всякой домашней ссоры между мною и не любившим меня моим супругом. Но так как я не видела еще наличности самого факта, то я не хотела противоречить старику с характером упрямым и цельным, когда он вобьет себе что-нибудь в голову. Этот-то свой проект он и успел сжечь, о чем он меня предупредил, чтобы успокоить тех, которые о нем знали.

Между тем мой камердинер Шкурин пришел мне сказать, что капитан, который находится на карауле при графе Бестужеве, был всегда ему другом и каждое воскресенье, уходя с караула при дворе, обедал у него; тогда я ему сказала, что если дела были таковы и он мог на него рассчитывать, то пусть он постарается у него выведать, пойдет ли он на какие-нибудь сношения со своим арестантом. Это становилось тем более необходимым, что граф Бестужев сообщил Штамбке своим путем, что надо предупредить Бернарди, чтобы он говорил чистую правду на своем допросе и сообщил ему то, что у него будут спрашивать. Когда я увидела, что Шкурин берется охотно найти какое-нибудь средство, чтобы добраться до графа Бестужева, я ему сказала, чтобы он постарался также найти сообщение с Бернарди, посмотреть, нельзя ли подкупить сержанта или какого-нибудь солдата, который караулил Бернарди в его квартире. В тот же день к вечеру Шкурин сказал мне, что Бернарди находится под стражей у некоего сержанта гвардии, по имени Колышкин[144], с которым он на следующий же день повидается; но что он посылал к своему другу капитану, который был у графа Бестужева, чтобы спросить его, может ли он его видеть, и тот велел ему сказать, что, если он

хочет с ним говорить, пусть приходит к нему, но что один из его подчиненных, которого он также знал и который был ему родственником, велел ему сказать не ходить туда, потому что, если он туда придет, капитан велит его арестовать и тем выслужится на его счет, чем он хвастался с глазу на глаз. Поэтому Шкурин перестал посылать капитану, своему мнимому другу. Зато Колышкин, за которого я приказала приняться от моего имени, сказал Бернарди все, что желали; да он и должен был говорить только одну правду, на что и тот и другой охотно пошли.

Через несколько дней, однажды утром очень рано Штамбке пришел в мою комнату, очень бледный, расстроенный, и сказал мне, что его переписка и переписка графа Понятовского с графом Бестужевым была открыта; что маленький трубач-охотник арестован и что по всему видно, что их последние письма имели несчастие попасть в руки карауливших графа Бестужева, что он сам ожидает ежеминутно быть, по крайней мере, высланным, если не арестованным, и что он пришел ко мне, чтобы мне это сказать и проститься со мною. То, что он мне сказал, не ободрило меня; я утешала его, как могла, и отправила, не подозревая, что его визит ко мне только увеличит, если это было возможно, всяческие неудовольствия против меня и что меня будут избегать как лицо, может быть, подозрительное для правительства.

Однако я была глубоко убеждена в душе, что против правительства я ни в чем не могла себя упрекать. Общество вообще, за исключением Михаила Воронцова и Ивана Шувалова и двух послов, венского и версальского, и тех, которых они могли в чем угодно уверить, все во всем Петербурге – от мала до велика – были убеждены, что граф Бестужев невинен, что над ним не тяготело ни злодеяние, ни преступление; знали, что на следующий день после вечера, когда он был арестован, в комнате Ивана Шувалова работали над манифестом; что Волков[145], который был прежде старшим чиновником графа Бестужева и который убежал от него в 1755 году, а потом, побродив по лесам, снова дал себя схватить и который в настоящую минуту был старшим секретарем конференции, должен был написать этот акт; его хотели напечатать, чтобы ознакомить общество с причинами, которые принудили императрицу поступить с великим канцлером графом Бестужевым так, как она сделала.

И вот это тайное совещание, ломая себе голову в поисках за преступлениями, согласилось сказать, что Бестужев был так наказан за преступление в оскорблении Ее Величества и за то, что он, Бестужев, старался посеять раздор между Ее Императорским Величеством и Их Императорскими Высочествами.

Без расследования и суда хотели на следующий же день после ареста отправить его в одно из его имений, отняв у него все остальные земли. Но нашлись такие, которые сказали, что было уже слишком ссылать кого-либо без вины и суда и что по крайней мере надо поискать преступлений в надежде их найти; и что, найдут ли их или нет, но надо было подвергнуть арестанта, лишенного неизвестно за что его должностей, чинов и орденов, суду следователей. А этими следователями были, как я уже говорила, фельдмаршал Бутурлин, генерал-прокурор князь Трубецкой, генерал, граф Александр Шувалов и Волков в качестве секретаря. Первое, что господа следователи сделали, – это то, что предписали через Коллегию иностранных дел послам, посланникам и русским чиновникам при иностранных дворах прислать копии депеш, которые им писал граф Бестужев с тех пор, как он был во главе дел. Это было сделано для того, чтобы найти преступления в его депешах. Говорили, что он писал только то, что хотел, и вещи, противоречащие приказаниям и воле императрицы. Но так как Ее Императорское Величество ничего не писала и не подписывала, то трудно было поступать против ее приказаний; что же касается устных повелений, то Ее Императорское Величество совсем не была в состоянии давать их великому канцлеру, который годами не имел случая ее видеть; а устные повеления через третье лицо, строго говоря, могли быть плохо поняты и подвергнуться тому, что их так же плохо передадут, как плохо примут и поймут. Но из всего этого ничего не вышло, кроме приказа, о котором я упоминала, потому что, я думаю, что никто из чиновников не дал себе труда просмотреть свой архив за двадцать лет и переписать его, чтобы выискать преступления того, инструкциям и указаниям коего эти самые чиновники следовали, и таким образом могли оказаться замешанными, при всем их усердии, в том, что могли бы найти в них предосудительного.

Кроме того, одна пересылка таких архивов должна была ввести казну в значительные расходы, и по прибытии их в Петербург было бы, чем истощить терпение в течение нескольких лет многих лиц, чтобы найти и откопать в них то, что в них, может быть, вовсе и не было. Отправленный приказ никогда не был исполнен. Само дело надоело, и его закончили через год манифестом, который начали сочинять на следующий день после того, как великий канцлер был арестован. После обеда в тот день, когда Штамбке приходил ко мне, императрица велела сказать великому князю, чтобы он отослал Штамбке в Голштинию, потому что открыты его сношения с графом Бестужевым, и что он заслуживал бы быть арестованным, но что из уважения к Его

Императорскому Высочеству его как министра оставляли на свободе, с условием, чтобы он тотчас же был выслан. Штамбке был немедленно отправлен, и с его отъездом закончилось мое руководство голштинскими делами. Дали понять великому князю, что императрице было неугодно, чтобы я в них вмешивалась, а Его Императорское Высочество был и сам к тому довольно склонен. Я не помню хорошо, кого он взял тогда на место Штамбке, но думаю, что это был некий Вольф. Министерство императрицы потребовало в это время формально у Польского короля отозвания графа Понятовского, записка которого к графу Бестужеву была найдена; записка, правда, очень невинная, но все-таки адресованная к мнимому государственному преступнику. Как только я узнала о высылке Штамбке и об отозвании графа Понятовского, я уже не ждала ничего хорошего, и вот что я сделала.

Я позвала моего камердинера Шкурина и велела ему собрать все мои счетоводные книги и все, что могло вообще иметь вид какой-нибудь бумаги между моими вещами, и принести их мне. Он исполнил мое приказание с усердием и в точности. Когда все было в моей комнате, я его отослала. Когда он вышел, я бросила все книги и бумаги в огонь, и, увидав их наполовину сгоревшими, я позвала снова Шкурина и сказала ему: «Смотрите, будьте свидетелем, что все мои счета и бумаги сожжены, для того чтобы, если вас когда-нибудь спросят, где они, вы могли бы поклясться, что вы видели, как я тут сама их жгла».

Он поблагодарил меня за заботу о нем и сказал мне, что произошла очень странная перемена в карауле при арестантах. Со времени открытия переписки Штамбке с графом Бестужевым заставляли строже караулить этого последнего и для этого взяли от Бернарди сержанта Колышкина и поместили его в комнате и при особе бывшего великого канцлера. Когда Колышкин увидал это, он попросил, чтобы дали ему часть верных ему солдат, которых он имел, когда был на карауле при Бернарди. Итак, человек самый надежный и умный, какого мы со Шкуриным имели, оказался введенным в комнату графа Бестужева и не потерявшим тоже всякого сообщения с Бернарди. Тем временем допросы графа Бестужева шли своим путем; Колышкин открылся Бестужеву как человек, вполне мне преданный, и действительно он оказал ему тысячу услуг. Он был так же, как и я, глубоко убежден, что великий канцлер не виновен и был жертвой сильной интриги; общество было убеждено в том же. Великого князя, как я видела, напугали и внушили ему подозрения, что мне будто бы была небезызвестна переписка Штамбке с государственным узником. Я видела, что Его Императорское Высочество не смеет

почти со мною разговаривать и избегает заходить в мою комнату, где я на этот раз была одна-одинешенька, не видя ни души; я сама избегала звать к себе кого-нибудь, из страха подвергнуть их какому-нибудь несчастью или неприятности; при дворе, из боязни, чтобы не стали меня избегать, я воздерживалась подходить ко всем тем, от кого, по моему предположению, я могла бы ожидать, что это станется.

В последние дни Масленой должна была быть русская комедия в придворном театре; граф Понятовский велел меня просить прийти, потому что начинали распускать слух о том, что собираются меня отослать, мешать мне появляться, и, почем я знаю, что еще и что каждый раз, как я не появлялась на спектакле или при дворе, все были заняты тем, чтобы узнать тому причину, может быть, столько же из любопытства, сколько и из участия, которое во мне принимали. Я знала, что русская комедия – одна из вещей, которые Его Императорское Высочество всего меньше любил, и что уже один разговор о том, чтобы туда идти, ему очень не нравился; но на этот раз великий князь присоединял к своему отвращению к национальной комедии другой мотив и маленький личный интерес, а именно: он еще не видался с графиней Елисаветой Воронцовой у себя, но так как она находилась в передней с другими фрейлинами, то там Его Императорское Высочество и вел разговоры с ней или играл с ней в карты. Если я отправлялась в комедию, то девицы эти были принуждены следовать туда за мною, что расстраивало Его Императорское Высочество, которому не оставалось бы другого средства, как пойти напиться к себе в покои. Не принимая во внимание этих обстоятельств, так как я дала слово ехать в этот день в комедию, я велела сказать графу Александру Шувалову распорядиться насчет моих карет, ибо я намеревалась ехать в этот день в комедию. Граф Шувалов пришел ко мне и сказал, что мое намерение ехать в русскую комедию не доставляет удовольствия великому князю. Я ему ответила, что так как я не составляю общества Его Императорского Высочества, то я думаю, что ему должно быть безразлично, буду ли я одна в моей комнате или в моей ложе на спектакле. Он ушел, помаргивая глазом, как всегда делал, когда был чем-нибудь взволнован.

Несколько времени спустя великий князь пришел в мою комнату; он был в ужасном гневе, кричал, как орел, говоря, что я нахожу удовольствие в том, чтобы нарочно бесить его, что я вздумала ехать в комедию, потому что знала, что он не любит этих спектаклей; я возразила ему, что он напрасно их не любит; он мне сказал, что запретит подать мою карету; я ему ответила, что пойду пешком и что я не могу взять в толк, какое он находит

удовольствие в том, чтобы заставлять меня умирать со скуки одну в моей комнате, где у меня только и общества, что моя собака да мой попугай.

После того как мы долго проспорили и оба крупно поговорили, он ушел более рассерженный, чем когда-либо, а я продолжала упорствовать в своем намерении идти в комедию. К часу спектакля я послала спросить у графа Шувалова, готовы ли кареты; он пришел ко мне и сказал, что великий князь запретил подавать мне карету; тогда я окончательно рассердилась и сказала, что пойду пешком и что если дамам и кавалерам запретят сопровождать меня, то пойду совсем одна, и что, кроме того, на письме пожалуюсь императрице и на великого князя, и на него.

Он мне сказал: «А что вы ей скажете?» – «Я ей передам, – возразила я, – как со мною обходятся, а что вы, для того чтобы доставить великому князю свидание с моими фрейлинами, поощряете его в намерении помешать мне ехать на спектакль, где я могу иметь счастье видеть Ее Императорское Величество; кроме того, я ее попрошу отослать меня к моей матери, потому что мне свыше сил наскучила роль, которую я играю; одна, брошенная в своей комнате, ненавидимая великим князем и не любимая императрицей, я желаю только отдыха и никому не хочу быть в тягость и делать несчастными тех, кто мне близок, а в особенности моих бедных слуг, из которых уже столько было сослано, потому что я им желала добра или делала добро; знайте же, что я сейчас же напишу императрице и посмотрю, как вы сами не снесете этого письма императрице».

Мой Шувалов испугался взятого мною решительного тона; он вышел, а я села писать свое письмо императрице по-русски и сделала его, насколько могла, более трогательным. Я начала с того, что благодарила ее за все милости и благодеяния, какими она меня осыпала с моего приезда в Россию, говоря, что, к несчастию, события доказали, что я их не заслужила, потому что только навлекла на себя ненависть великого князя и явную немилость Ее Императорского Величества; что, видя свое несчастие и то, что я сохну со скуки в моей комнате, где меня лишают даже самого невинного времяпрепровождения, я ее убедительно прошу положить конец моим несчастиям, отослав меня к моим родным таким способом, какой она найдет подходящим, что так как я не вижу своих детей, хотя и живу с ними в одном доме, то для меня становится безразличным, быть ли в том же месте, где и они, или в ста верстах от них; что я знаю, что она окружает их заботами, которые превосходят те, какие мои слабые способности позволили бы мне им оказывать, что я

осмеливаюсь просить ее продолжать их и что в этом уповании я проведу остаток дней у моих родных, молясь Богу за нее, за великого князя, за детей и за всех тех, кто мне сделал добро или зло, но что мое здоровье доведено горем до такого состояния, что я должна сделать все возможное, чтобы, по крайней мере, спасти свою жизнь, и что для этого я обращаюсь к ней с просьбой позволить мне поехать на воды, а оттуда – к моим родным.

Написав это письмо, я велела позвать графа Шувалова, который, входя, сказал мне, что требуемые мною кареты готовы; я ему сказала, вручая мое письмо императрице, что он может передать дамам и кавалерам, которые не желали бы ехать со мною в комедию, что я их освобождаю от обязанности сопровождать меня. Граф Шувалов, помаргивая глазом, принял мое письмо; но, так как оно было адресовано императрице, он был вынужден его взять. Он также передал мои слова фрейлинам и кавалерам, и Его Императорское Высочество сам решил, кому ехать со мной и кому остаться с ним. Я прошла через переднюю, где нашла Его Императорское Высочество, усевшегося в уголке с графиней Елисаветой Воронцовой и занятого игрою в карты с ней. Он встал, и она также, когда меня увидел, чего он обыкновенно не делал; на эту церемонию я ответила очень глубоким реверансом и прошла своею дорогой.

Я отправилась в комедию, куда императрица не приехала в этот день; думаю, что ей помешало мое письмо. По возвращении с комедии граф Шувалов сказал мне, что Ее Императорское Величество велела передать мне, что сама поговорит со мною. По-видимому, граф Шувалов доложил и о моем письме, и об ответе императрицы великому князю, потому что, хотя он с того дня больше ни ногой не ступил в мою комнату, однако он сделал все, что мог, чтобы присутствовать при объяснении, которое императрица должна была иметь со мною, и не сочли возможным отказать ему в этом.

Пока это происходило, я спокойно сидела в своих комнатах. Я была глубоко убеждена, что если и имели намерение отослать меня или желание меня этим запугать, то только что сделанный мною шаг совершенно расстраивал этот проект Шуваловых, который, впрочем, должен был встретить всего больше сопротивления в уме самой императрицы, вовсе не склонной к такого рода крайним мерам; кроме того, она еще помнила о старинных раздорах в своей семье и, конечно, не желала бы видеть повторение их в ее время; против меня мог быть только один пункт, заключавшийся в том, что ее племянничек не казался мне достойнейшим любви среди мужчин, точно так же, как и я не казалась ему достойнейшей любви среди женщин. Насчет своего

племянника императрица была совершенно того же мнения, что и я; она так хорошо его знала, что уже много лет не могла пробыть с ним нигде и четверти часа, чтобы не почувствовать отвращения, гнева или огорчения, и, когда дело его касалось, она в своей комнате не иначе говорила о нем, как заливаясь горькими слезами над несчастием иметь такого наследника или же проявляя свое к нему презрение и часто называя его именами, которых он более чем заслуживал. Доказательства этому были у меня в руках, так как я нашла между ее бумагами две собственноручные записки императрицы, не знаю, к кому именно, но из которых одна, по-видимому, адресована была Ивану Шувалову, а другая – графу Разумовскому, где она проклинала своего племянника и посылала его к черту.

В одной из них было такое выражение: «Проклятый мой племянник сегодня так мне досадил, как нельзя более»; а в другой она говорила: «Племянник мой урод, черт его возьми». Впрочем, решение мое было принято, и я смотрела на мою высылку или невысылку очень философски; я нашлась бы в любом положении, в которое Провидению угодно было бы меня поставить, и тогда не была бы лишена помощи, которую дают ум и талант каждому по мере его природных способностей; я чувствовала в себе мужество подыматься и спускаться, но так, чтобы мое сердце и душа при этом не превозносились и не возгордились или, в обратном направлении, не испытали ни падения, ни унижения. Я знала, что я человек и тем самым существо ограниченное и неспособное к совершенству; мои намерения были всегда честны и чисты; если я с самого начала поняла, что любить мужа, который не был достоин любви и вовсе не старался ее заслужить, вещь трудная, если не невозможная, то, по крайней мере, я оказала ему и его интересам самую искреннюю привязанность, какую друг и даже слуга может оказать своему другу или господину; мои советы были всегда самыми лучшими, какие я могла придумать для его блага; если он им не следовал, не я была в том виновата, а его собственный рассудок, который не был ни здрав, ни трезв.

Когда я приехала в Россию и затем в первые годы нашей брачной жизни сердце мое было бы открыто великому князю: стоило лишь ему пожелать хоть немного сносно обращаться со мною; вполне естественно, что, когда я увидела, что из всех возможных предметов его внимания я была тем, которому Его Императорское Высочество оказывал его меньше всего, именно потому, что я была его женой, я не нашла этого положения ни приятным, ни по вкусу, и оно мне надоедало и, может быть, огорчало меня. Это последнее чувство, чувство горя, я подавляла

в себе гораздо сильнее, чем все остальные; природная гордость моей души и ее закал делали для меня невыносимой мысль, что я могу быть несчастна.

Я говорила себе: «Счастие и несчастие – в сердце и в душе каждого человека. Если ты переживаешь несчастие, становись выше его и сделай так, чтобы твое счастие не зависело ни от какого события». С таким-то душевным складом я родилась, будучи при этом одарена очень большой чувствительностью и внешностью по меньшей мере очень интересною, которая без помощи искусственных средств и прикрас нравилась с первого же взгляда; ум мой по природе был настолько примирительного свойства, что никогда никто не мог пробыть со мною и четверти часа, чтобы не почувствовать себя в разговоре непринужденным и не беседовать со мною так, как будто он уже давно со мною знаком.

По природе снисходительная, я без труда привлекала к себе доверие всех, имевших со мною дело, потому что всякий чувствовал, что побуждениями, которым я охотнее всего следовала, были самая строгая честность и добрая воля. Я осмелюсь утверждать относительно себя, если только мне будет позволено употребить это выражение, что я была честным и благородным рыцарем, с умом несравненно более мужским, нежели женским; но в то же время внешним образом я ничем не походила на мужчину; в соединении с мужским умом и характером во мне находили все приятные качества женщины, достойной любви; да простят мне это выражение, во имя искренности признания, к которому побуждает меня мое самолюбие, не прикрываясь ложной скромностью. Впрочем, это сочинение должно само по себе доказать то, что я говорю о своем уме, сердце и характере. Я только что сказала о том, что я нравилась, следовательно, половина пути к искушению была уже налицо, и в подобном случае от сущности человеческой природы зависит, чтобы не было недостатка и в другой, ибо искушать и быть искушаемым очень близко одно к другому, и, несмотря на самые лучшие правила морали, запечатленные в голове, когда в них вмешивается чувствительность, как только она проявится, оказываешься уже бесконечно дальше, чем думаешь, и я еще до сих пор не знаю, как можно помешать этому случиться.

Возвращаюсь к моему рассказу. На следующий день после этой комедии я сказалась больной и не вышла, спокойно ожидая решения Ее Императорского Величества на свою смиренную просьбу. Только на первой неделе Поста я нашла нужным говеть, для того чтобы видели мою приверженность к православной вере. На второй или на третьей неделе меня постигло новое жгучее

горе. Встав однажды утром, я была предупреждена моими людьми, что граф Александр Шувалов велел позвать Владиславову. Это мне показалось довольно странным; я с беспокойством ждала, когда она вернется, но напрасно. Около часу дня граф Александр Шувалов пришел мне сказать, что императрица нашла нужным удалить ее от меня; я залилась слезами и ответила ему, что, конечно, Ее Императорское Величество вольна брать от меня и назначать ко мне кого ей угодно, но что мне тяжело все более и более убеждаться в том, что все близкие мне люди становятся жертвами немилости Ее Императорского Величества, и, чтобы было меньше несчастных, я молю его и заклинаю упросить Ее Императорское Величество отослать меня к моим родным, покончить поскорее с положением, до которого я доведена и в котором делаю только несчастных.

Я, кроме того, уверяла его, что Владиславова ни в коем случае не пригодна к тому, чтобы дать какое-либо разъяснение в чем бы то ни было, потому что ни она, ни кто-либо другой не пользуется моим полным доверием. Граф Шувалов хотел говорить, но, видя мои рыдания, он сам принялся плакать вместе со мною и сказал мне, что императрица сама поговорит со мною об этом; я просила его ускорить эту минуту, что он мне и обещал. Тогда я пошла рассказать моим людям, что случилось, и сказала им, что если ко мне приставят на место Владиславовой какую-нибудь дуэнью, которая мне не понравится, то пусть она приготовится к самому дурному обращению с моей стороны, какое можно только себе представить, включая и побои, и просила их передать это кому вздумается, чтобы отбить у всех тех, кого захотят назначить ко мне, охоту и готовность принять это место, так как я устала страдать и вижу, что моя кротость и терпение ни к чему не ведут, а только все более и более вредят всему, что меня касается; вследствие этого я намерена совершенно переменить свое поведение. Мои люди не преминули пересказать то, что я хотела; вечером того дня, в который я много плакала и очень мало ела, когда я ходила взад и вперед по комнате, достаточно взволнованная и телом и душой, я увидела, что в мою комнату, где я, как всегда, была в полном одиночестве, вошла одна из моих камер-юнгфер, Екатерина Ивановна Шаргородская. Она плача и с большим чувством сказала мне: «Мы все боимся, как бы вы не изнемогли от того состояния, в каком мы вас видим; позвольте мне пойти сегодня к моему дяде, духовнику императрицы и вашему; я с ним поговорю, передам ему все, что вы мне прикажете, и обещаю вам, что он сумеет так поговорить с императрицей, что вы этим будете довольны».

Видя ее доброе расположение, я ей рассказала по всей правде о положении вещей, о том, что я написала императрице, и обо всем остальном. Она пошла к своему дяде и, поговорив с ним и расположив его в мою пользу, вернулась около одиннадцати часов сказать мне, что ее дядя, духовник, советует мне сказаться больной в эту ночь и просить, чтобы меня исповедали, а для этого велеть позвать его, дабы он мог передать императрице все, что он услышит из собственных моих уст. Я вполне одобрила эту мысль, обещала привести ее в исполнение, и отослала ее, благодаря ее и ее дядю за привязанность, которую они мне выказали. Буквально, я между двумя и тремя часами утра позвонила; одна из моих женщин вошла; я ей сказала, что я так плохо себя чувствую, что хочу исповедоваться. Вместо духовника прибежал ко мне граф Александр Шувалов, которому я слабым и прерывающимся голосом повторила свою просьбу позвать моего духовника. Он послал за докторами; им я сказала, что мне нужна духовная помощь, что я задыхаюсь; один пощупал мне пульс и сказал, что он слаб; я говорила, что душа моя в опасности, а что моему телу врачи больше не нужны.

Наконец духовник пришел, и нас оставили одних. Я усадила его рядом со своей постелью, и мы по крайней мере полтора часа проговорили с ним. Я ему подробно рассказала о прошедшем и настоящем положении вещей, о поведении великого князя по отношению ко мне и о моем – по отношению к Его Императорскому Высочеству, о ненависти Шуваловых и как они навлекают на меня немилость Ее Императорского Величества, наконец о постоянных ссылках или увольнениях нескольких моих людей, и в особенности тех, которые больше всего ко мне привязывались, и о положении вещей в настоящее время вследствие всего происшедшего, положении, заставившем меня написать императрице письмо с просьбою отослать меня. Я его просила доставить мне скорей ответ на мою просьбу.

Я нашла его исполненным доброжелательства по отношению ко мне и менее глупым, чем о нем говорили. Он сказал мне, что мое письмо производит и произведет желанное впечатление, что я должна настаивать на том, чтоб меня отослали, и что, наверное, меня не отошлют, потому что нечем будет оправдать эту ссылку в глазах общества, внимание которого обращено на меня. Он согласился, что со мной поступают жестоко, и что императрица, избрав меня в очень нежном возрасте, оставила меня на произвол моих врагов, и что она гораздо лучше сделала бы, если бы прогнала моих соперниц, а особенно Елисавету Воронцову, и сдерживала своих фаворитов, ставших пиявками народа при помощи всех монополий, которые гг. Шуваловы изобретают

каждый день и которые, кроме того, заставляют всех громко роптать на несправедливость; доказательство тому – дело графа Бестужева, в невинности которого все общество убеждено. Он закончил эту беседу, сказав, что сейчас же отправится к императрице, будет дожидаться ее пробуждения, чтобы с нею поговорить и ускорить разговор, который она мне обещала и который должен иметь решающее значение, и что я хорошо сделаю, если останусь в постели; он обещал сказать [императрице], что горе и страдание могут меня убить, если не прибегнуть к немедленным средствам помощи и не вывести меня так или иначе из состояния полного одиночества и заброшенности, в котором я нахожусь. Он сдержал слово и представил императрице мое состояние в таких убедительных и сильных красках, что Ее Императорское Величество позвала графа Александра Шувалова и приказала ему узнать, буду ли я в состоянии прийти поговорить с ней в следующую ночь. Граф Шувалов пришел мне это передать; я сказала ему, что ввиду этого соберу весь остаток моих сил.

Когда я к вечеру вставала с постели, Александр Шувалов пришел мне сказать, что после полуночи он придет за мною, чтобы сопровождать меня в покои императрицы. Духовник через свою племянницу также велел мне передать, что дела принимают довольно хороший оборот и что императрица будет говорить со мною в тот же вечер. Итак, я оделась к десяти часам вечера, легла совсем одетая на канапе и заснула. Около половины второго ночи граф Александр Шувалов вошел в мою комнату и сказал мне, что императрица требует меня к себе. Я встала и пошла за ним: мы прошли через передние, где никого не было. Подходя к двери в галерею, я увидела, что великий князь прошел в противоположную дверь, направляясь, как и я, к Ее Императорскому Величеству.

Со дня комедии я его не видела; даже когда я сказалась больной с опасностью жизни, он не пришел ко мне и не прислал спросить, как я себя чувствую. Я после того узнала, что в этот самый день он обещал Елисавете Воронцовой жениться на ней, если я умру, и что оба очень радовались моему состоянию.

Наконец, дойдя до покоев Ее Императорского Величества, где застала великого князя, как только я увидела императрицу, я бросилась перед ней на колени и стала со слезами и очень настойчиво просить ее отослать меня к моим родным. Императрица захотела поднять меня, но я оставалась у ее ног. Она показалась мне более печальной, нежели гневной, и сказала мне со слезами на глазах: «Как, вы хотите, чтобы я вас отослала? Не забудьте, что у вас есть дети». Я ей ответила: «Мои дети в

ваших руках, и лучше этого ничего для них не может быть; я надеюсь, что вы их не покинете». Тогда она мне возразила: «Но как объяснить обществу причину этой отсылки?» Я ответила: «Ваше Императорское Величество скажете, если найдете нужным, о причинах, по которым я навлекла на себя вашу немилость и ненависть великого князя».

Императрица мне сказала: «Чем же вы будете жить у ваших родных?» Я ответила: «Тем, чем жила прежде, до того, как вы удостоили взять меня». Она мне на это возразила: «Ваша мать находится в бегах, она была вынуждена покинуть свою родину и уехала в Париж». На это я сказала: «Я это знаю, ее считают слишком преданной интересам России, и король Прусский стал ее преследовать».

Императрица вторично велела мне встать, что я и сделала, и немного отошла от меня в задумчивости. Комната, в которой мы находились, была длинная и имела три окна, между которыми стояли два стола с золотыми туалетными принадлежностями императрицы; в комнате были только она, великий князь, Александр Шувалов и я; против окон стояли широкие ширмы, перед которыми поставили канапе. Я заподозрила сначала, что за этими ширмами находится, наверное, Иван Шувалов, а может быть, также и граф Петр Шувалов, его двоюродный брат; я узнала впоследствии, что я отчасти отгадала верно и что Иван Шувалов там находился. Я стала около туалетного стола, ближайшего к двери, через которую я вошла, и заметила, что в золотом тазу на туалете лежали сложенные письма.

Императрица снова подошла ко мне и сказала: «Бог мне свидетель, как я плакала, когда при вашем приезде в Россию вы были при смерти больны, и, если бы я вас не любила, я вас не удержала бы здесь». Эти слова означали, по-моему, извинение за то, что я сказала, что подверглась ее немилости. Я на это ответила, благодаря Ее Императорское Величество за все милости и доброту, которые она мне выказала и тогда и теперь, говоря, что воспоминание о них никогда не изгладится из моей памяти и что я всегда буду смотреть как на величайшее несчастье на то, что подверглась ее немилости.

Тогда она подошла ко мне еще ближе и сказала мне: «Вы чрезвычайно горды. Вспомните, что в Летнем дворце я подошла к вам однажды и спросила вас, не болит ли у вас шея, потому что я увидела, что вы мне едва кланяетесь и что вы из гордости поклонились мне только кивком головы». Я ей сказала: «Боже мой, Ваше Императорское Величество, как вы можете думать, что я хотела выказать гордость перед вами? Клянусь вам, что мне никогда в голову не приходило, что этот вопрос, сделанный вами

четыре года тому назад, мог относиться к чему-либо подобному». На это она сказала: «Вы воображаете, что никого нет умнее вас». Я ей ответила: «Если бы я имела эту уверенность, ничто больше не могло бы меня в этом разуверить, как мое настоящее положение и даже этот самый разговор, потому что я вижу, что я по глупости до сих пор не поняла того, что вам угодно было мне сказать четыре года тому назад».

Великий князь, между тем как императрица разговаривала со мной, шептался с графом Александром Шуваловым. Она это заметила и пошла к ним; они оба стояли почти посреди комнаты. Я не слишком хорошо слышала, что говорилось между ними; они не очень громко говорили, а комната была большая; под конец я услышала, как великий князь сказал, повышая голос: «Она ужасно злая и очень упрямая».

Тогда я увидала, что дело шло обо мне, и, обращаясь к великому князю, сказала ему: «Если вы обо мне говорите, то я очень рада сказать вам в присутствии Ее Императорского Величества, что действительно я зла на тех, кто вам советует делать мне несправедливости, и что я стала упрямой с тех пор, как вижу, что мои угождения ни к чему другому не ведут, как к вашей ненависти». Он стал говорить императрице: «Ваше Императорское Величество, видите сами, какая она злая, по тому, что она говорит». Но на императрицу, которая была гораздо умнее великого князя, мои слова произвели другое впечатление.

Я ясно видела, что, по мере того как разговор подвигается, хотя ей и присоветовали или она сама приняла решение выказывать мне строгость, ее настроение смягчалось постепенно, помимо ее решений. Она обратилась, однако, к нему и сказала: «О, вы не знаете всего, что она мне сказала о ваших советчиках и против Брокдорфа по поводу человека, которого вы велели арестовать». Это должно было показаться великому князю форменной изменой с моей стороны; он не знал ни слова о моем разговоре с императрицей в Летнем дворце и увидел, что его Брокдорф, который стал ему так мил и дорог, обвинен в глазах императрицы, да еще мною; это значило больше, чем когда-либо, нас поссорить и, может быть, сделать нас непримиримыми и лишить меня навсегда доверия великого князя. Я почти остолбенела, услышав, как императрица рассказывает в моем присутствии то, что я ей сказала и думала сказать для блага ее племянника, и как она обращает это в смертоносное оружие против меня.

Великий князь, очень удивленный этим сообщением, сказал: «А, вот так анекдот, которого я не знал; он хорош и доказывает ее злость». Я думала про себя: «Бог знает, чью злость он доказывает».

От Брокдорфа императрица неожиданно перескочила к сношениям между Штамбке и графом Бестужевым, которые были открыты, и сказала мне: «Сами посудите, как можно его извинить за то, что он имеет сношения с государственным узником». Так как в этом деле мое имя не появлялось и о нем не упоминалось, я промолчала, принимая это за слова, ко мне не относящиеся. Здесь императрица подошла ко мне и сказала: «Вы вмешиваетесь во многие вещи, которые вас не касаются; я не посмела бы делать того же во времена императрицы Анны. Как, например, вы посмели посылать приказания фельдмаршалу Апраксину?» Я ей ответила: «Я! Никогда мне и в голову не приходило посылать ему приказания». – «Как, – сказала она, – вы можете отрицать, что ему писали? Ваши письма тут, в этом тазу». Она показала мне на них пальцем: «Вам запрещено писать». Тогда я ей сказала: «Правда, что я нарушила запрет, и прошу в этом прощения, но так как мои письма тут, то эти три письма могут доказать Вашему Императорскому Величеству, что я никогда не посылала ему приказаний, но что в одном из них я писала, что говорят об его поведении». Здесь она меня прервала и спросила: «А почему вы это ему писали?»

Я ей ответила: «Просто потому, что я принимала участие в фельдмаршале, которого очень любила; я просила его следовать вашим приказаниям; остальные два письма содержат только одно поздравление с рождением сына, а другое – пожелания на Новый год». На это она мне сказала: «Бестужев говорит, что было много других».

Я ответила: «Если Бестужев это говорит, то он лжет». «Ну так, – сказала она, – если он лжет на вас, я велю его пытать». Она думала этим напугать меня; я ей ответила, что в ее полной власти делать то, что она находит нужным, но что я все-таки написала Апраксину только эти три письма. Она замолчала и, казалось, соображала. Я привожу самые резкие черты этого разговора, которые остались у меня в памяти, но я не могу вспомнить всего, что говорилось в течение полутора часов, пока он продолжался.

Императрица ходила взад и вперед по комнате, то обращаясь ко мне, то к своему племянничку, а еще чаще – к графу Александру Шувалову, с которым великий князь большею частью говорил, между тем как императрица говорила со мною. Я уже сказала, что заметила в Ее Императорском Величестве меньше гнева, чем озабоченности.

Что же касается великого князя, то он проявил во время этого разговора много желчи, неприязни и даже раздражения против меня; он старался, как только мог, раздражить императрицу против меня; но так как он принялся за это глупо и проявил

больше горячности, нежели справедливости, то он не достиг своей цели, и ум и проницательность императрицы стали на мою сторону.

Она слушала с особенным вниманием и некоторого рода невольным одобрением мои твердые и уверенные ответы на выходившие из границ речи моего супруга, по которым было ясно, как день, что он стремится к тому, чтобы очистить мое место, дабы поставить на него, если это возможно, свою настоящую любовницу. Но это могло быть не по вкусу императрице и даже, может быть, не в расчетах господ Шуваловых подпасть под власть графов Воронцовых, но это соображение превышало мыслительные способности Его Императорского Высочества, который верил всегда всему, чего желал, и отстранял всякую мысль, противную той, какая над ним господствовала. И он так постарался, что императрица подошла ко мне и сказала мне вполголоса: «Мне надо будет многое вам еще сказать; но я не могу говорить, потому что не хочу вас ссорить еще больше», а глазами и головой она мне показала, что это было из-за присутствия остальных. Я, видя этот знак задушевного доброжелательства, который она мне давала в таком критическом положении, была сердечно тронута и сказала ей также очень тихо: «И я также не могу говорить, хотя мне чрезвычайно хочется открыть вам свое сердце и душу». Я увидела, что то, что я ей сказала, произвело на нее очень сильное и благоприятное впечатление.

У нее показались на глазах слезы, и, чтобы скрыть, что она взволнована и до какой степени, она нас отпустила, говоря, что очень поздно, и, действительно, было около трех часов утра. Великий князь вышел первым, я последовала за ним; в ту минуту граф Александр Шувалов хотел пройти в дверь за мною, императрица позвала его, и он остался у нее. Великий князь ходил всегда очень большими шагами, я не спешила на этот раз идти за ним; он вернулся в свои покои, я – в свои. Я начала раздеваться, чтобы ложиться, когда услышала стук в дверь, через которую я вернулась. Я спросила, кто там. Граф Александр Шувалов сказал мне, что это он и просит ему открыть, что я сделала. Он сказал, чтобы я удалила моих женщин; они вышли, тогда он мне сообщил, что императрица позвала его и, поговорив с ним некоторое время, поручила ему передать мне свой поклон и просить меня не огорчаться, и что у нее будет второй разговор со мною одной. Я низко поклонилась графу Шувалову и сказала, чтобы он передал Ее Императорскому Величеству мое глубочайшее почтение и поблагодарил ее за ее доброту ко мне, которая возвращает меня к жизни, что я буду ждать этого второго

разговора с живейшим нетерпением и что я прошу его ускорить эту минуту. Он мне сказал, чтобы я не говорила об этом ни единой душе, и именно великому князю, и что императрица с сожалением видит, что он так раздражен против меня. Я обещала. Я думала: если недовольны тем, что он раздражен против меня, то к чему сердить его еще больше, рассказывая ему разговор в Летнем дворце по поводу людей, которые его развращали. Однако этот неожиданный возврат задушевности и доверия императрицы доставил мне большое удовольствие.

На следующий день я просила племянницу духовника поблагодарить ее дядю за отменную услугу, которую он мне только что оказал, устроив мне этот разговор с императрицей. Она вернулась от своего дяди и сообщила мне, что духовник знает, что императрица сказала о своем племяннике, что он дурак, но что великая княгиня очень умна. Эти слова дошли до меня с нескольких сторон, и говорили, что Ее Императорское Величество то и дело хвалит своим близким мои способности, прибавляя часто: «Она любит правду и справедливость; это очень умная женщина, но мой племянник – дурак».

Я заперлась в моих покоях, как и прежде, под предлогом нездоровья. Я помню, что тогда читала пять первых томов «Истории путешествий» с картой на столе, что меня развлекало и обогащало знаниями. Когда я уставала от этого чтения, перелистывала первые тома Энциклопедии[146]; и я ждала дня, когда Ее Императорскому Величеству угодно будет допустить меня до вторичного разговора. Время от времени я возобновляла просьбу об этом графу Шувалову, говоря ему, что мне очень бы хотелось, чтобы судьба моя была наконец решена.

Что касается великого князя, то я не слышала больше о нем никакого разговора; я знала только, что он ждет с нетерпением моей отсылки и что он, наверное, рассчитывает жениться вторым браком на Елисавете Воронцовой: она приходила уже в его покои и разыгрывала хозяйку. По-видимому, ее дядя, вице-канцлер граф Воронцов, который был лицемером, каких свет не производил, узнал планы своего брата, может быть, вернее – своих племянников[147], которые были тогда еще детьми, так как самому старшему было всего двадцать лет или около того, и боялся, чтобы его только что усилившееся влияние не пострадало у императрицы, а потому добился поручения отговорить меня от моей просьбы об отсылке, ибо вот что случилось.

В одно прекрасное утро пришли мне доложить, что вице-канцлер граф Михаил Воронцов просит разрешения поговорить со мною от имени императрицы. Очень удивленная этим необычайным посольством и хотя еще не одетая, я приняла

господина вице-канцлера. Он начал с того, что поцеловал мне руку и пожал ее с большим чувством, затем вытер себе глаза, с которых скатилось несколько слез.

Так как я тогда была немного предубеждена против него, то я без большого доверия отнеслась к этому предисловию, которое должно было выказать его усердие, но не мешала ему делать то, на что смотрела как на кривлянье. Я просила его сесть; он был немного запыхавшись, что происходило оттого, что у него было нечто вроде зоба, которым он страдал. Он сел со мною и сказал мне, что императрица поручила ему поговорить со мною и убедить меня не настаивать на моей отсылке, что Ее Императорское Величество приказала ему даже просить меня со своей стороны отказаться от этой мысли, на которую она никогда не согласится, и что он лично просит меня и заклинает дать ему слово больше никогда об этом не говорить; что этот план поистине огорчает императрицу и всех порядочных людей, к числу которых, как он заверял меня, он принадлежит. Я ему ответила, что нет ничего, чего бы я охотно не сделала, чтобы угодить Ее Императорскому Величеству и порядочным людям, но что я думаю, что моя жизнь и здоровье в опасности от того образа жизни, которому я подвергаюсь; что я делаю только несчастных, что постоянно ссылают и отсылают всех, кто ко мне приближается; что великого князя ожесточают против меня до ненависти; что он, впрочем, никогда меня не любил; что Ее Императорское Величество тоже оказывает почти постоянно знаки своей немилости и что, видя, что я в тягость всем, и умирая сама со скуки и горя, я просила отослать меня, для того чтобы освободить всех от особы, которая всем в тягость и сама погибает от горя и скуки.

Он стал говорить мне о моих детях; я ему сказала, что их не вижу и что с тех пор, как брала молитву, я еще не видела моей младшей [т. е. дочери] и не могла их видеть без особого разрешения императрицы, в двух комнатах от которой они были помещены, так как их комнаты составляют часть ее покоев; что я отнюдь не сомневаюсь, что она очень о них заботится, но что, будучи лишенной удовольствия их видеть, мне безразлично: быть в ста шагах или в ста верстах от них. Он мне сказал, что у императрицы будет второй разговор со мною, и прибавил, что было бы очень желательно, чтобы императрица сблизилась со мной. Я ему ответила, прося ускорить этот второй разговор, а что я, со своей стороны, не упущу ничего, что могло бы облегчить исполнение ее желания. Он оставался у меня больше часу и говорил долго и о множестве вещей. Я заметила, что повышение его влияния придало его разговору и манере держаться какую-то

заносчивость, которой не было у него прежде, когда я его видела наряду с множеством других людей, и, когда он, недовольный императрицей, делами и теми, которые пользуются милостью и доверием Ее Императорского Величества, он мне сказал однажды при дворе, видя, что императрица очень долго разговаривает с послом императрицы-королевы Венгрии и Богемии, между тем как он и я и все до смерти устали стоять: «Хотите побиться об заклад, что она только мелет вздор». Я ответила ему, смеясь: «Боже мой, что вы такое говорите!» Он мне возразил по-русски следующими очень характерными словами: «Она от природы фадайзница»[148].

Наконец он ушел, уверяя меня в своем усердии, и простился со мною, поцеловав мне снова руку. На этот раз я должна была быть уверенной, что меня не отошлют, так как меня просили даже не говорить об этом. Но я находила нужным не выходить и продолжать оставаться у себя в комнате, как будто я ждала решения моей судьбы только от второго разговора, который я должна была иметь с императрицей.

Этого разговора я ждала долго. Помню, что 21 апреля, в день моего рождения, я не вышла. Императрица велела мне сказать в час своего обеда через Александра Шувалова, что она пьет за мое здоровье; я велела ее благодарить за то, что ей угодно было вспомнить обо мне в этот день, как я говорила, моего несчастного рождения, который я проклинала бы, если бы не получила в тот же день святого крещения.

Когда великий князь узнал, что императрица посылала ко мне в этот день с таким поручением, он вздумал прислать сказать мне то же самое; когда пришли передать мне его приветствие, я встала и с очень глубоким реверансом выговорила мою благодарность. После праздников по случаю дня моего рождения и коронования императрицы, между которыми был промежуток в четыре дня, я все еще не выходила из своей комнаты, пока граф Понятовский не довел до моего сведения, что французский посол маркиз де Лопиталь очень хвалит меня за мое твердое поведение и говорит, что это решение не выходить из моих покоев может обратиться только в мою пользу. Тогда, принимая эти слова за коварную похвалу врага, я решила делать обратное тому, что он хвалит, и в одно воскресенье, когда этого менее всего ожидали, я оделась и вышла из моих внутренних покоев. В ту минуту, когда я выходила в комнату, где находились дамы и кавалеры, я заметила их удивление и изумление при виде меня; через несколько минут после моего появления пришел великий князь; я видела и его удивление, написанное на его лице, и так как я разговаривала со

всей компанией, то он вмешался в разговор и обратился ко мне с несколькими словами, на которые я вежливо ответила.

В это время (17 апреля) принц Карл Саксонский вторично приехал в Петербург. Великий князь довольно пренебрежительно принял его, когда он был впервые в России; но на этот раз великий князь считал себя вправе не соблюдать с ним никаких границ, и вот почему. В русской армии не было секретом, что при Цорндорфском сражении принц Карл Саксонский бежал одним из первых. Говорили даже, что он продолжал это бегство безостановочно до Ландсберга; а Его Императорское Высочество, услышав это, решил, что так как принц Саксонский отъявленный трус, то он не будет с ним говорить, и не хотел иметь с ним дела.

Этому, по-видимому, немало содействовала принцесса Курляндская, дочь Бирона, о которой я часто имела случай говорить; тогда начинали потихоньку говорить, что был план сделать герцогом Курляндии принца Карла Саксонского, и это очень раздражало принцессу Курляндскую, отца которой все еще держали в Ярославле. Она сообщила свою злобу великому князю, на которого она сохранила некоторого рода влияние. Эта принцесса была тогда в третий раз невестой барона Александра Черкасова[149], за которого действительно вышла замуж в следующую зиму.

Наконец за несколько дней перед тем, как ехать в деревню, граф Александр Шувалов пришел мне сказать от имени императрицы, что я должна просить через него императрицу [о разрешении] навестить сегодня днем моих детей, и что тогда, по выходе от них, у меня будет второе свидание с императрицей, столь давно обещанное. Я сделала, что мне велели, и в присутствии многих лиц я сказала графу Шувалову, чтоб он испросил мне у Ее Императорского Величества разрешение видеть моих детей.

Он ушел и когда вернулся, то сказал мне, что я могу пойти к детям в три часа. Я очень аккуратно туда отправилась; я оставалась у своих детей до тех пор, пока граф Александр Шувалов не пришел сказать мне, что императрицу можно видеть. Я пошла к ней; я застала ее совсем одну, и на этот раз в комнате не было ширм; следовательно, и она и я, мы могли говорить на свободе. Я начала с того, что поблагодарила ее за это свидание, на которое она соизволила, сказав, что уже одно очень милостивое обещание, которое ей было угодно сделать, возвратило меня к жизни. На это она мне сказала: «Я требую, чтоб вы мне сказали правду на все, что я у вас спрошу». Я ответила ей, чтобы ее уверить, что она услышит из моих уст только сущую правду и что я ничего не желаю лучшего, как открыть ей свое

сердце безо всякой утайки. Тогда она меня снова спросила, действительно ли было только три письма, написанных Апраксину; я ей поклялась в этом с величайшей искренностью, как это и было на самом деле. Затем она стала у меня расспрашивать подробности об образе жизни великого князя…[150]

[Декабрь 1761 г. – январь 1762 г.]

Граф Александр Андреевич Безбородко[151] написал Краткое начертание дел политических, военных и внутренних Государыни Императрицы Екатерины II, Самодержицы Всероссийской, как и знаменитейших событий во дни Ее царствования. Он починает так.

В 1762 году: Вступление Ее Императорского Величества на Всероссийский престол.

Объяснение.

Во время болезни блаж [енной] пам [яти] Госуд [арыни] Императ [рицы] Елисаветы Петровны, в декабре месяце 1761 года, слышала я из уст Никиты Ивановича Панина, что трое Шуваловы – Петр Иванович, Александр Иванович и Иван Иванович – чрезвычайно робеют о приб [лижающейся] кончине Государыни Императрицы, о будущем жребии их; что от сей робости их родятся у многих окружающих их разнообразные проекты; что наследника ее все боятся; что он не любим и не почитаем никем; что сама Государыня сетует, кому поручить престол; что склонность в ней находят отрешить наследника неспособного, от которого много имела сама досады, и взять сына его семилетнего и мне поручить управление, но что сие последнее, касательно моего управления, не по вкусу Шуваловым. Из сих проектов родилось, что посредством Мельгунова Шуваловы помирились с Петром III, и Государыня скончалась без иных распоряжений. Но тем не кончилась ферментация[152] публики, а начало ее приписать можно дурному Шуваловскому управлению и беззаконному Бестужевскому делу, то есть с 1759 года.

При самой кончине Госуд [арыни] Имп [ератрицы] Елисаветы Петровны прислал ко мне князь Михаил Иван [ович] Дашков[153], тогдашний капитан гвардии, сказать: «Повели, мы тебя взведем на престол». Я приказала ему сказать: «Бога ради, не начинайте вздор; что Бог захочет, то и будет, а ваше предприятие есть рановременная и несозрелая вещь». К князю Дашкову же езжали и в дружбе, и согласии находились все те, кои потом имели участие в моем восшествии, яко то: трое Орловы[154], пятеро капитаны полку Измайловского и прочие; женат же он был на родной сестре Елисав [еты] Воронцовой, любимицы Петра III. Княгиня же Дашкова от самого почти ребячества ко мне оказывала особливую привязанность, но тут находилась еще персона опасная, брат

княгинин, Семен Романович Воронцов, которого Елисавета Романовна, да по ней и Петр III, чрезвычайно любили. Отец же Воронцовых, Роман Ларионович, опаснее всех был по своему сварливому и переменчивому нраву; он же не любил княгиню Дашкову.

Императрица Елисавета Петровна скончалась в самое Рождество 25 декабря 1761 года, в три часа за полудни; я осталась при теле ее. Петр III, вышед из покоя, пошел в Конференцию и прислал мне сказать чрез Мельгунова, чтоб я осталась при теле, дондеже пришлет мне сказать. Я Мельгунову сказала: «Вы видите, что я здесь, и приказание исполню». Я из сего приказания заключила, что владычествующая фракция опасается моей инфлу [е] нции[155]. Тело Императрицы еще обмывали, когда мне пришли сказать, что генерал-прокурор князь Шаховской[156] отставлен по его прошению, а обер-прокурор сенатский Александр Иван [ович] Глебов пожалован генерал-прокурором. То есть слывущий честнейшим тогда человеком – отставлен, а бездельником слывущий и от уголовного следствия спасенный Петром Шуваловым – сделан на его место генерал-прокурором.

Тело Императрицы Елисаветы Петровны едва успели убрать и положить на кровать с балдахином, как гофмаршал ко мне пришел с повесткою, что будет в галерее (то есть комнаты чрез три от усопшего тела) ужин, для которого повещено быть в светлом богатом платье. Я послала по богатое платье в комнаты сына моего, живущего возле покойной Государыни. Я оделась и паки в таком наряде пришла к усопшему телу, где мне велено было оставаться и ждать приказаний. Тут уже окошки были открыты и Евангелие читали.

Погодя несколько, пришли от Государя мне сказать, чтоб я шла в церковь. Прийдя туда, я нашла, что тут все собраны для присяги, после которой отпели вместо панихиды благодарственный молебен; потом митрополит Новгородский [Димитрий] Сеченов[157] говорил речь Государю. Сей был вне себя от радости и оной нимало не скрывал, и имел совершенно позорное поведение, кривляясь всячески и не произнося, кроме вздорных речей, не соответствующих ни сану, ни обстоятельствам, представляя более смешного Арлекина, нежели иного чего, требуя, однако, всякое почтение. Из церкви вышедши, я пошла в свой покой, где до самого ужина я горько плакала только о покойной Государыне, которая всякие милости ко мне оказывала и последние два года меня полюбила отменно, как и о настоящем положении вещей. Когда кушанье поставлено было, мне пришли сказать, и я пошла к ужину; стол поставлен был в

куртажной галерее – персон на полтораста и более, и галерея набита была зрителями. Многие, не нашед места за ужином, ходили так же около стола, в том числе Иван Иванович Шувалов и Мельгунов. Сей из прислужников Шуваловых сделался их протектором. У Ивана же Ивановича Шувалова хотя знаки отчаянности были на щеке, ибо видно было, как пяти пальцами кожа содрана была, но тут, за стулом Петра III стоя, шутил и смеялся с ним. Я сидела возле нового Императора, а возле меня – князь Никита Юрьевич Трубецкой, который во весь стол ни о чем не говорил как о великой своей радости, что государь царствует. Множество дам также ужинали: многие из них так же, как и я, были с заплаканными глазами, а многие из них в тот же день, не быв в дружбе, между собою помирились. Ужин сей продолжался часа с полтора. Пришед в свои комнаты, я начала раздеваться, чтоб лечь в постель, когда принесли повестку, чтоб дамам назавтра быть в робах богатых, и будет большой обеденный стол в той же галерее; сидеть же по билетам. Потом я легла в постель; но я, хотя пред тем две ночи не спала, проводя оных в покое покойной Императрицы, но сон далеко от меня был и никак заснуть не могла, и начала размышлять о прошедшем, настоящем и будущем. И сделала я следующее заключение: ежели в первом часу царствования отставили честного человека, а не постыдились на его место возвести бездельника, – чего ждать? Говорила я себе: твою инфлуенцию опасаются; удались от всего; ты знаешь, с кем дело имеешь, по твоим мыслям и правилам дела не поведут, следовательно, ни чести, ни славы тут не будет; пусть их делают, что хотят. Взяв сие за правило своего поведения, во все шесть месяцев царствования Петра III я ни во что не вступалась, кроме похорон покойной Государыни, по которым траурной комиссии велено было мне докладываться, что я и исполнила со всяким радением, в чем я и заслужила похвалу от всех. Я же тут брала советы от старых дам, графини Марьи Андр [еевны] Румянцевой, графини Анны Карловны Воронцовой, от фельдмаршалши Аграфены Леонтьевны Апраксиной и иных, подручно случающихся, в чем и на них угодила чрезвычайно.

На другой день поутру нарядилась в богатой робе и пошла к обедне, потом на поклон к телу, а оттудова – к столу по билетам. Сей стол был с заплаканными глазами почти у всех, и мало было лиц равнодушных, и усталь на всех видно было. После обеда я пошла к себе. Во время сего стола тело покойной Государыни анатомили. К вечеру пришли мне сказать, что посланы курьеры для освобождения и возвращения в Петербург Бирона, Миниха, Лестока и Лопухиных, и что Гудович[158] едет в Берлин с объявлением о вступлении на престол Императора. Я на сие

сказала: «Дела поспешно идут».

На третий день я, надев черное платье, пошла к телу, где отправлялась панихида; тут ни Императора и никого не было, кроме у тела дневальных, да тех, кои со мною пришли. Оттуда я пошла к сыну моему, а потом посетила я графа Алексея Григорьевича Разумовского в его покое во дворце, где он от чистосердечной горести по покойной Государыне находился болен. Он хотел пасть к ногам моим, но я, не допустя его до того, обняла его, и, обнявшись, оба мы завыли голосом и не могши почти говорить слова оба; я, вышед от него, пошла к себе.

Пришла в свой покой, услышала, что Император приказал приготовить для себя покой от меня чрез сени, где жил Александр Иванович Шувалов, и что в его покое, возле моих, будет жить Елисавета Романовна Воронцова.

В сей день ввечеру Император поехал куда-то на вечеринку править Святки.

Как покои Александра Ивановича Шувалова убраны были дни чрез два, Император перешел в них, а Елисавета Воронцова в его покои переехала; мои же покои парадные обили черным сукном, и людей Император принимал в оных, по утрам и по вечерам езжал в гости ко всем знатным особам, кои устроили для него великие пиры; от сих пиров я уклонилась по причине великого кашля.

Накануне того дня, как переносить положено было тело покойной Государыни из той комнаты, где скончалася, на парадную постель, Император ужинал у графа Шереметева[159]; тут Елисавета Воронцова приревновала, не знаю к кому, и приехали домой в великой ссоре. На другой день, после обеда, часу в пятом, она прислала ко мне письмо, прося меня, дабы я для Бога самого пришла к ней, что она имеет величайшую нужду говорить со мною, сама же не может прийти ко мне, понеже лежит больна в постели. Я пошла к ней и нашла ее в великих слезах; увидя меня, долго говорить не могла; я села возле ее постели, стала спрашивать, чем больна; она, взяв руки мои, целовала, жала и обмывала слезами. Я спрашивала, об чем она столь горюет? Она мне на то сказала: «Пожалуй, потише говорите». Я спросила: «Какой причины ради?» Она мне сказала: «В другой комнате сестра моя, Анна Михайловна Строганова, сидит с Иваном Ивановичем Шуваловым» (C'est a dire, qu'elle leurs avoit menage un randez vous, tandis qu'elle s'entretenoit avec moi[160]). Я рассмеялась, и она посвободнее стала от слез и начала меня просить, чтоб я пошла бы к Императору и просила бы его именем ее, чтоб он бы ее отпустил к отцу жить, что она более не хочет во дворце остаться. При сем она бранила его окружающих всячески и его самого. Чего она уже и накануне у Шереметева делала, к

удивлению всех слышателей, и за что Император приказывал отца ее арестовать, но, однако, упросили его. Я сказала, чтоб она кого иного выбрала для сей комиссии, которая ему будет, можно быть, досадительна; но она уверяла меня, что ему то и надобно и не чрез кого, кроме меня, ей о том просить, понеже все бездушные бездельники, а одна я, на ком она полагает свое упование. Дабы укоротить мое у нее пребывание, я обещала ей пойти к нему и донести ему о ее просьбе, и, пришед к себе, я послала наведываться, дома ли он и можно ли к нему придти. Сказали, что опочивает, а как проснулся часу в седьмом, пришли мне сказать, и я пошла к Императору. Я нашла его в шлафроке; ходил взад и вперед по комнате и был еще весьма сонен. Я начала говорить ему: «Ежели вы дивитеся моему приходу, то еще более удивитеся, когда сведаете, с чем я пришла», и рассказала ему все от слова до слова, как Елис [авета] Ром [ановна] Воронцова ко мне писала, и что говорила со мною, и как я отклоняла сию комиссию и причины, кои она имеет не вверять кроме меня оной. Он, услыша сие с удивлением и задумчивостию, заставил меня повторить сказанное. В сие время вошли в комнату Мельгунов и Лев Александрович Нарышкин. Он им рассказывал, с чем я пришла, с досадою на Елисав [ету] Воронцову. Сие продолжилось с час; наконец я сказала: «Какой ответ прикажете ей сказать или кого иного пошлете?» На сие Мельгунов и Нарышкин ему советовали сказать, что он к ней пришлет ответ. Я пошла к себе и велела Елисавете Воронцовой сказать, что к ней ответ прислан будет. Погодя, она паки прислала ко мне сказать, что она отпущена, одевается и ждет карету, дабы ехать из дворца к отцу, и просит дозволения прийти ко мне прощаться. Я сказала: «Пусть прийдет». Между тем чрез мою переднюю, пред уборной, сделалось великое бегание; то Мельгунов, то Нарышкин к ней и от нее взад-вперед ходили, что продолжалось часу до одиннадцатого; тогда сам Император к ней пошел и, побыв у нее, возвратился в свои покои; а она ко мне написала цидулку, что она ко мне не будет, понеже ей приказано остаться во дворце. Я легла спать, а на другой день ввечеру Петр III с Мельгуновым и Львом Нарышкиным, пришед ко мне, бранили и ругали всячески Елисавету Воронцову, и видно было, что им хотелось, дабы я пристала к их речам; но я молча слушала; Император же тут рассказывал, как она не хотела надеть мой портрет, когда он ее пожаловал камер-фрейлиною, и хотела иметь его портрет. Он думал, что за то осержусь, но, когда он увидел, что я тому смеюсь и нимало не сержусь, тогда вышел вон из комнаты. Тогда Мельгунов и Лев Нарышкин мне пеняли, что, имев такую хорошую оказию выгнать ее из дома, не воспользовалась тем. Я

им отвечала: «А я вам дивлюсь, что вы сами не успели в своем желании вчерась».

От дня кончины покойной Государыни был во дворце двойной караул, то есть один – полный караул у тела, а другой, таковой же, – у Императора. В сие же время случились великие морозы; караульня же была мала и тесна, так что не помещались люди, и многие из солдат оставались на дворе. Сие обстоятельство в них произвело, да и в публике, или прибавило, роптание. Всякий день же из дворца выходили новые истории: то того арестуют, то другого; с женщинами, коих ежедневно множество звал ужинать, у себя либо где в гостях, поссорится и мужа велит посадить без шпаги, либо к кому по службе за безделицу придерется и велит посадить на гауптвахту. Изо стола же почти никогда не вставал, не быв без языка почти пьян, и проявилось у него множество новых фаворитов, между прочими капитан-поручик полку Преображенского, князь Иван Федор [ович] Голицын[161], на которого вдруг налепил орден Святой Анны, а до того дня мало кто его и знал. В сие время Император взял в кабинет секретаря, бывшего конференц-секретаря Дмитрия Вас [ильевича] Волкова. Про сего Ник [ита] Иван [ович] Панин думал и мне говорил, что сей Мельгунову и Шуваловым голову сломит; про него тогда думали, что главу имеет необыкновенную, но оказалось после, что хотя был быстр и красноречив, но ветрен до крайности, и понеже писал хорошо, то более писывал, а мало действовал, а любил пить и веселиться.

Две недели по кончине покойной Государыни умер граф Петр Иван [ович] Шувалов. За несколько дней до кончины его он и брат его большой, Александр Иван [ович] Шувалов, были от Императора пожалованы в фельдмаршалы. И проявилось новое определение. Вдруг Император пожаловал в четырех полков гвардии четыре полковники, а именно: в Преображенский – фельдм [аршала] князя Никиту Юрьевича Трубецкого; в Семеновский – фельдм [аршала] графа Александра Ивановича Шувалова; в Измайловский – фельдм [аршала] графа Кирилла Григорьевича Разумовского; в конной гвардии хотел пожаловать графа Алексея Григорьевича Разумовского, но сей оттого пошел в отставку, и на его место сделан полковником принц Жорж Голштинский[162]. Сии новые полковники сами всячески спорили и старались отвратить сие пожалование, но не предуспели. Полкам же гвардии сие было громовой несносный удар.

Хотя огромные похороны и при оных великолепные выносы указом покойной Государыни запрещены были, но, однако, господа Шуваловы выпросили у бывшего Императора, дабы граф Петр Иван [ович] со великолепной церемонией погребен был: сам

Император обещался быть на выносе. В назначенный день ждали очень долго Императора, и он, не прежде как к полудню, в печальный день приехал; народ же ждал для смотрения церемонии с самого утра, день же был весьма холодный. От той нетерпеливости произошли разные в народе рассуждения: иные, вспомня табачный того Шувалова откуп, говорили, что долго его не везут по причине той, что табаком осыпают; другие говорили, что солью осыпают, приводя на память, что по его проекту накладка на соль последовала; иные говорили, что его кладут в моржовое сало, понеже моржовое сало на откуп имел и ловлю трески. Тут вспомнили, что ту зиму треску ни за какие деньги получить нельзя, и начали Шувалова бранить и ругать всячески. Наконец тело его повезли из его дома на Мойке в Невский монастырь. Тогдашний генерал-полицеймейстер Корф ехал верхом пред огромной церемонией, и он сам мне рассказывал в тот же день, что не было ругательства и бранных слов, коих бы он сам не слышал против покойника, так что он, вышед из терпения, несколько из ругателей велел захватить и посадить в полиции, но народ, вступясь за них, отбил было, что видя, он оных отпустить велел, чем предупредил драку и удержал, по его словам, тишину.

По прошествии трех недель по кончине Государыни я пошла к телу для панихиды. Идучи чрез переднюю, нашла тут князя Михаила Иван [овича] Дашкова плачущего и вне себя от радости, и, прибежав ко мне, говорил: «Государь достоин, дабы ему воздвигнуть статую золотую; он всему дворянству дал вольность», и с тем едет в Сенат, чтоб там объявить. Я ему сказала: «Разве вы были крепостные и вас продавали доныне?» В чем же эта вольность? И вышло, что в том, чтоб служить и не служить по воле всякого. Сие и прежде было, ибо шли в отставку, но осталось исстари, что дворянство, с вотчин и поместья служа все, кроме одряхлелых и малолетних, в службе Империи записаны были; вместо людей дворянских Петр I начал рекрут собирать, а дворянство осталось в службе. Отчего вздумали, что в неволе. Воронцов и генерал-прокурор думали великое дело делать, доложа Государю, дабы дать волю дворянству, а в самом деле выпросили не что иное, кроме того, чтоб всяк был волен служить и не служить. Пришед с панихиды к себе, я увидела, [что] у заднего крыльца стоит карета парадная с короною, и Император в ней поехал в Сенат. Но сей кортеж в народе произвел негодование, говорили: как ему ехать под короною? Он не коронован и не помазан. Рановременно вздумал употребить корону. У всех дворян велика была радость о данном дозволении служить или не служить, и на тот час совершенно позабыли, что предки их службою приобрели почести и имение, которым

пользуются.

За десять дней до погребения Государыни положили тело ее во гроб, и понесли оной в траурной зал посреди всех регалий, и народ дважды на день допущен был, как и прежде, от дня кончины ее. В гробу Государыня лежала одета в серебреной глазетовой робе, с кружевными рукавами, имея на голове Императорскую золотую большую корону, на нижнем обруче с надписью: «Благочестивейшая Самодержавнейшая Великая Государыня Императрица Елисавета Петровна, родилась 18 декабря 1709, воцарилась 25 ноября 1741, скончалась 25 декабря 1761 года». Гроб поставлен на возвышении под балдахином, глазета золотого с горностаевым спуском от балдахина до земли; позади гроба посреди спуска – герб золотой Государственный.

В 25 день января 1762 года повезли тело Государыни, во гробе лежащей, со всевозможным великолепием и подобающими почестями изо дворца чрез реку в Петропавловский собор в крепость. Сам Император, за ним – я, за мною – Скавронские, за ними – Нарышкины[163], потом все по рангам шли пеши за гробом от самого дворца до церкви.

Император в сей день был чрезмерно весел и посреди церемонии сей траурной сделал себе забаву: нарочно отстанет от везущего тела одра, пустив оного вперед сажен тридцать, потом изо всей силы добежит; старшие камергеры, носящие шлейф епанчи его черной, паче же обер-камергер, граф Шереметев, носящий конец епанчи, не могши бежать за ним, принуждены были епанчу пустить, и как ветром ее раздувало, то сие Петру III пуще забавно стало, и он повторял несколько раз сию штуку, отчего сделалось, что я и все, за мною идущие, отстали от гроба и, наконец, принуждены были послать остановить всю церемонию, дондеже отставшие дошли. О непристойном поведении сем произошли многие разговоры не в пользу особе Императора, и толки пошли о безрассудных его во многих случаях поступках.

По погребении тела покойной Государыни начали во дворце убирать ее покой для Императора.

О величии России

Если бы кто был настолько сумасброден, чтобы сказать: вы говорите мне, что величие и пространство Российской империи требует, чтобы государь ее был самодержавен; я нимало не забочусь об этом величии и об этом пространстве России, лишь бы каждое частное лицо жило в довольстве; пусть лучше она будет поменее; такому безумцу я бы отвечала: знайте же, что, если ваше правительство преобразится в республику, оно утратит свою силу, а ваши области сделаются добычею первых хищников; не угодно ли с вашими правилами быть жертвою какой-нибудь орды татар и под их игом надеетесь ли жить в довольстве и приятности. Безрассудное намерение Долгоруких[164], при восшествии на престол императрицы Анны, неминуемо повлекло бы за собою ослабление, – следственно, и распадение государства; но, к счастию, намерение это было разрушено простым здравым смыслом большинства. Не привожу примера Владимира[165] и последствий, которые он повлек за собою: он слишком глубоко врезан в память каждого мало-мальски образованного человека.

Мысли из особой тетради

Я желаю и хочу лишь блага той стране, в которую привел меня Господь; Он мне в том свидетель. Слава страны – создает мою славу. Вот мое правило: я буду счастлива, если мои мысли могут тому способствовать.

Государи кажутся более великими по мере того, как вельможи страны и приближенные более удовлетворяются в отношении богатства; изобилие должно царить в их домах, но не ложное изобилие, основанное на неоплатных долгах, ибо тогда, вместо величия, это становится лишь смешным тщеславием, над которым смеются иностранцы; я хочу, чтобы страна и подданные были богаты, – вот начало, от которого я отправляюсь; чрез разумную бережливость они этого достигнут.

Признаюсь, что, хотя я свободна от предрассудков и от природы ума философского, я чувствую в себе большую склонность почитать древние роды; я страдаю, видя, что некоторые из них доведены здесь до нищенства; мне было бы приятно их поднять. Можно было бы достичь восстановления их блеска, украсив орденами и должностями старшего в роде, если у него есть какие-нибудь достоинства, и давая ему пенсии и даже земли по мере нужды и заслуг, с условием, что они будут переходить только старшим и что они будут неотчуждаемы.

Противно христианской религии и справедливости делать рабов из людей, которые все получают свободу при рождении; один Собор освободил всех крестьян, бывших раньше крепостными, в Германии, Франции, Испании и т. д. – Сделать подобный резкий переворот не будет средством приобрести любовь землевладельцев, исполненных упрямства и предрассудков. Но вот удобный способ: постановить, что, как только отныне кто-нибудь будет продавать землю, все крепостные будут объявлены свободными с минуты покупки ее новым владельцем, а в течение сотни лет все или, по крайней мере, большая часть земель меняют хозяев, и вот народ свободен.

Свобода, душа всего, без тебя все мертво. Я хочу, чтобы повиновались законам, но не рабов. Я хочу общей цели делать счастливыми, но вовсе не своенравия, не чудачества и не тирании, которые с нею несовместимы.

Когда имеешь на своей стороне истину и разум, должно выставлять это перед очами народа, говоря: такая-то причина привела меня к тому-то; разум должен говорить за необходимость; будьте уверены, что он возьмет верх в глазах большинства; уступают истине, но редко речам, пропитанным

тщеславием.

Мир необходим этой обширной империи; мы нуждаемся в населении, а не в опустошениях; заставьте кишеть народом наши обширные пустыни, если это возможно; для достижения этого не думаю, чтобы полезно было заставлять наши нехристианские народности принимать нашу веру; многоженство более полезно для [умножения] населения; вот, что касается внутренних дел. Что касается внешних дел, то мир гораздо скорее даст нам равновесие, нежели случайности войны, всегда разорительной.

Власть без доверия народа ничего не значит; тому, кто желает быть любимым и прославиться, достичь этого легко. Примите за правило ваших действий и ваших постановлений благо народа и справедливость, которая с ним неразлучна. Вы не имеете и не должны иметь иных интересов. Если душа ваша благородна – вот ее цель.

Есть средство помочь тому, чтобы военные таланты не пропадали при продолжительном мире. Посылайте местное дворянство (конечно, частями и того, кто хочет) на службу к воинственным державам; во время войны или даже каждые пятнадцать лет и меньше вы можете их отозвать. Вы извлечете из того две выгоды: одну – иметь хороших офицеров и опытных генералов; другую – иметь дисциплинированных людей, которые, будучи более зрелыми, дадут лучшее воспитание своим детям – важная точка зрения, [оставленная] в излишнем пренебрежении.

Так как по законам Петра Великого, вечно благословенной памяти, всякий дворянин должен служить, нужно непременно возобновить плохо исполняемый закон сего законодателя, определяющий продолжительность такой принудительной службы, чтобы в 40 или 46 лет и даже ранее они могли бы оставить ее; имения и семьи терпят оттого, что нет никого, кто мог бы заняться собственными делами, и это чувствует общество.

Отец, у которого трое или больше сыновей, должен был бы иметь право оставить одного и даже двоих из них, по своему выбору, дома; но эта мысль, хорошая и благодетельная, имеет в том отношении недостаток, что можно будет опасаться, чтобы не пострадало оттого воспитание этих избранных сыновей, так как лучшая выправка, какую дают у нас, в большинстве случаев та, что получают наши молодые люди в армии; домашнее воспитание пока лишь мутный ручей. Когда станет он потоком?

Учреждение Сен-Сира[166]. Средством для полезного и удобного подражания ему было бы выписать классную наставницу и добыть устав и журналы этого заведения от самого французского двора, ибо дамы св. Людовика обязаны держать их в тайне. Дом легко было бы найти и доходы также. А чтобы

помешать невеждам кричать против монахини-француженки и ее ереси, следовало бы под видом частного воспитания дать ей сначала воспитать одну или двух сироток, которые впоследствии будут служить для воспитания при заведении; и таким образом из года в год стали бы обходиться без помощи француженок, когда достигнута будет подготовка, достаточная количества лиц русского происхождения для преподавания в заведении; это тем легче, что в этом доме существует правило взаимного обучения более юных пансионерок одной другою, сообразно с тем, что одна знает лучше другой.

Пойдите в деревню, спросите у крестьянина, сколько у него было детей; он вам скажет (это обыкновенно): десять, двенадцать, часто даже до двадцати. А сколько в живых? Он ответит: один, два, четыре, редко четвертая часть; следовало бы поискать средства против такой смертности; посоветоваться с искусными врачами, более философами, чем заурядными в этом ремесле, и установить какое-нибудь общее правило, которое мало-помалу введут землевладельцы, так как я уверена, что главная причина этого зла – недостаток ухода за очень маленькими детьми; они бегают нагие в рубашках по снегу и льду; очень крепок тот, кто выживает, но девятнадцать умирают, и какая потеря для государства!

Большая часть наших фабрик – в Москве, месте, может быть, наименее благоприятном в России; там бесчисленное множество народу, рабочие становятся распущенными; фабрики шелковых изделий не могут быть там хороши – вода мутная, и особенно весною, в лучшее время года для окраски шелка; эта вода действует на цвета: они или блеклы, или грубы. С другой стороны, сотни маленьких городов приходят в разрушение! Отчего не перенести в каждый по фабрике, выбирая сообразно с местным продуктом и годностью воды? Рабочие там будут более прилежны и города более цветущи.

Часто задерживают у многих людей платежи; это делают чиновники, заведующие платежами, чтобы заинтересованные подносили им подарки. Для искоренения этого следовало бы пометить в указе число того дня, в который должны производиться платежи, а на случай препятствия со стороны чиновников следовало бы наложить на них пени и удваивать пеню за каждый лишний день, который они пропустят в исполнении данного указа.

Дело, которое наиболее сопряжено с неудобством, – это составление какого-нибудь нового закона. Нельзя внести в это достаточно обдуманности и осторожности; единственное средство к достижению того, чтобы быть осведомленным о хорошей или

дурной стороне того, что вы хотите постановить, это велеть распространить слух о том на рынке, и велеть точно известить вас о том, что говорят; но кто скажет вам, какие выйдут отсюда последствия в будущем?

Остерегайтесь по возможности издать, а потом отменить свой закон; это означает вашу нерассудительность и вашу слабость и лишает вас доверия народа, разве это будет только закон временный; в этом случае я желала бы заранее объявить его таковым и обозначить в нем, если возможно, основания и время или, по крайней мере, обозначить в нем срок в несколько лет, по истечении которых можно было бы его возобновить или уничтожить.

Хочу установить, чтобы из лести мне высказывали правду; даже царедворец подчинится этому, когда увидит, что вы ее любите и что это путь к милости.

Говорите с каждым о том, что ему поручено; не награждайте никогда, если вас лично не просят о том; разве если вы сами намереваетесь это сделать, не будучи к тому побуждаемы; нужно, чтобы были обязаны вам, а не вашим любимцам, и т. п.

Тот, кто не уважает заслуг, не имеет их сам; кто не ищет заслуг и кто их не открывает, недостоин и не способен царствовать.

Я как-то сказала, и этим весьма восхищались, что в милость, как и в жизнь, вносишь с собой зачаток своего разрушения.

Уважение общества не есть следствие видной должности или видного места; слабость иного лица унижает место точно так же, как достоинство другого облагораживает его, и никто, без исключения, не бывает вне пересудов, презрения или уважения общества. Желаете вы этого уважения? Привлеките доверие общества, основывая все свое поведение на правде и на благе общества. Если вместе с тем природа наделила вас полезными дарованиями, вы сделаете блестящую карьеру и избегнете того смешного положения, которое сообщает высокая должность лицу без достоинств и слабость которого сквозит всюду.

Самым унизительным положением мне всегда казалось – быть обманутым; будучи еще ребенком, я горько плакала, когда меня обманывали, но зато я делала все то, чего от меня хотели, и даже неприятные мне вещи с усердием, когда мне представляли действительные доводы.

Видали ли когда способ действия более варварский, более достойный турок, как тот, чтобы начинать с наказания, а затем производить следствие? Найдя человека виновным, что вы сделаете? Он уже наказан. Пожелаете ли вы быть жестокими, чтобы наказать его дважды? А если он невинен, чем исправите вы

несправедливость, что его арестовали, лишили его всякой чести, должностей и проч. без вины? Через такое легкомыслие вы сделаетесь достойными презрения. Значит, вы пожертвуете им из стыда сознаться, что вы ошиблись, и этим усилите свою вину перед очами Бога и людей. Если бы со мной случилось такое несчастье, я не стала бы колебаться, я пожертвовала бы своим стыдом справедливости, я исправила бы со всем величием души, на которое способна, зло, которое я бы сделала. В Венеции, в самом деспотическом месте Европы, если невинный брошен в тюрьму, а его невинность доказана, то доже, в сопровождении Сената, идут в тюрьму и провожают его с торжеством домой.

Ни к чему я не имею такого отвращения, как к конфискации имуществ виновных, потому что кто на земле может отнять у детей и проч. таких людей наследство, какое получают они от самого Бога?

Не знаю, мне кажется, что всю жизнь мою буду иметь отвращение к назначению особой комиссии для суда над виновным, и особенно, если эта комиссия должна оставаться тайной; отчего не предоставить судам дела, относящиеся до их ведения. Быть стороной и еще назначать судей, – это значит выказывать, что боишься иметь справедливость и законы против себя; пусть вельможа будет судим Сенатом, как в Англии, во Франции, пэр судим пэрами; к тому же внушаешь подозрение, что имеешь выгоду найти его виновным и что дворцовые интриги создают преступление. Хочу, чтобы питали ко мне доверие, полагая, что я хочу лишь того, что справедливо, и что, когда я вынуждена кого-нибудь наказать, это потому, что он нарушил законы, свой долг перед Отечеством и перед тем, кто поставлен от Бога для поддержания порядка. Преступление и производство дела должны быть сделаны гласными, чтобы общество (которое всегда судит беспристрастно) могло бы распознать справедливость. Впрочем, в глазах этого общества никакое хвастовство не выдержит; удовлетворит его лишь правда; ставьте себя всегда в такое положение, чтобы она говорила за вас.

Сильная душа мало способна на совету душе слабой, ибо эта последняя не в состоянии следовать и даже оценить то, что первая предлагает ей согласно своему характеру; вообще, советовать – вещь чрезвычайно трудная; я хорошо знаю, как исполнить обдуманное мною дело, но у того, кому я советую, нет ни моей мысли, ни моей деятельности при осуществлении моего совета. Это размышление всегда меня располагало, при советах, какие я принимала от других, входить в мельчайшие подробности, даже усваивать слова того, кто мне советовал, и следовать совершенно его мысли. Это следствие моей

осторожности ради успеха часто заставляло думать, что я была управляема, между тем как я действовала с открытыми глазами и единственно занятая удачей, всегда ненадежной, как только не сам задумаешь дело, которое собираешься совершить, ибо кто может поручиться, что способ соответствует вашему характеру, даже если он вам нравится.

Правила управления

Если государственный человек ошибается, если он рассуждает плохо или принимает ошибочные меры, целый народ испытывает пагубные следствия этого.

Нужно часто себя спрашивать: справедливо ли это начинание? – полезно ли?

Пять предметов

1. Нужно просвещать нацию, которой должен управлять.

2. Нужно ввести добрый порядок в государстве, поддерживать общество и заставить его соблюдать законы.

3. Нужно учредить в государстве хорошую и точную полицию.

4. Нужно способствовать расцвету государства и сделать его изобильным.

5. Нужно сделать государство грозным в самом себе и внушающим уважение соседям.

Каждый гражданин должен быть воспитан в сознании долга своего перед Высшим Существом, перед собой, перед обществом, и нужно ему преподать некоторые искусства, без которых он почти не может обойтись в повседневной жизни.

1. Императорская власть: поручать командование армиями и управление губерниями и назначать свой Совет.

2. Власть Сената: давать жизнь постановлениям указами для исполнения и регистрации.

3. <…> передавать всем магистратам их гражданскую юрисдикцию.

4. <…> получать апелляции всех судов.

5. <…> некоторый надзор за финансами.

Помощь народу при бедствиях

1) Открыть кладовые и сокровищницы государства;

2) уменьшить таможенные сборы и налоги;

3) приостановить наряды на общественные работы;

4) снять запрещения, стеснительные для ловли рыбы, охоты и рубки леса;

5) облегчить продажу хлеба, отменив пошлины, и увеличить ее, принудив богатых открыть их амбары;

6) обойтись без подарков, которые подносятся государям, и без расходов по представительству на празднествах;

7) запретить пышность и разорительную обстановку похорон;

8) смягчить строгость законов и закрывать глаза на те проступки, в которых нищета замешана больше, нежели злой умысел;

9) облегчить браки и не придерживаться формальностей, требуемых законом;

10) запретить празднества, увеселения и музыку;

11) издать указ о молебствиях, постах и пожертвованиях;

12) строго преследовать воров и бродяг.

Смягчить жестокости наказаний:

1) назначая смертную казнь лишь за тяжкие преступления;

2) устанавливая исключение для стариков, детей и единственных сыновей;

3) жалуя года прощения и уменьшения наказания;

4) соболезнуя слабости человеческой во всем, что представляется несчастьем, случайностью, несчастной минутной ошибкой;

5) не делая пытки из тюрьмы и допроса, в особенности для преступлений, относительно которых не имеется веских доказательств;

6) требуя, чтобы всякий приговор основывался на законных и полных доказательствах;

7) доверяя судопроизводство над виновными лишь таким судьям, честность, мудрость и бескорыстие которых всеми признаны;

8) оставляя себе последний приговор по всем преступлениям и проступкам, быстрое наказание которым не требуется интересами общественными;

9) никогда не приговаривая всех виновных, откладывая приговоры для некоторых и смягчая приговоры низших судей;

10) наконец, пуская в ход все средства мудрости и высшей

власти, чтоб предотвратить все преступления, отдалить возможность их, внушить отвращение к ним и заставить иссякнуть их источники[167].

Господи, Боже мой, вошли ми, и вразуми мя,
да сотворю суд людям Твоим
по закону Святому Твоему
судити в правду.

Избранные письма

Графу Станиславу Августу Понятовскому

2-го сего июля [1762]

Убедительно прошу вас не спешить приездом сюда, потому что ваше присутствие при настоящих обстоятельствах было бы опасно для вас и очень вредно для меня. Переворот, который только что совершился в мою пользу, походит на чудо. Прямо изумительно то единодушие, с которым это произошло. Я завалена делами и не могу сообщить вам подробную реляцию. Всю жизнь я буду только стремиться быть вам полезной и уважать и вас, и вашу семью; но теперь здесь все полно опасности, чревато последствиями. Я не спала три ночи и ела только два раза за четыре дня. Прощайте; будьте здоровы.

Екатерина

2-го августа 1762

Я отправлю немедленно графа Кейзерлинга послом в Польшу, чтобы сделать вас королем, по кончине теперешнего, и, если ему не удастся это по отношению к вам, я желаю, чтобы им стал князь Адам[168].

Все умы еще в брожении. Я вас прошу воздержаться от поездки сюда, из страха усилить его. Уже шесть месяцев, как замышлялось мое восшествие на престол. Петр III потерял ту незначительную долю рассудка, какую имел. Он во всем шел напролом; он хотел сломить гвардию, для этого он вел ее в поход; он заменил бы ее своими голштинскими войсками, которые должны были оставаться в городе. Он хотел переменить веру, жениться на Л.В.[169], а меня заключить в тюрьму. В день празднования мира, нанеся мне публично оскорбления за столом, он приказал вечером арестовать меня. Мой дядя, принц Георг[170], заставил отменить этот приказ.

С этого дня я стала вслушиваться в предложения, которые делались мне со времени смерти Императрицы. План состоял в том, чтобы схватить его в его комнате и заключить, как принцессу Анну и ее детей. Он уехал в Ораниенбаум. Мы были уверены в большом числе капитанов гвардейских полков. Узел секрета находился в руках трех братьев Орловых; Остен[171] вспомнил, что видел старшего, следовавшего всюду за мною и делавшего тысячу безумств. Его страсть ко мне была всем известна, и все им делалось с этой целью. Это – люди необычайно решительные и, служа в гвардии, очень любимые большинством солдат. Я очень

многим обязана этим людям; весь Петербург тому свидетель.

Умы гвардейцев были подготовлены, и под конец в тайну было посвящено от тридцати до сорока офицеров и около десяти тысяч солдат. Не нашлось ни одного предателя в течение трех недель, так как было четыре отдельных партии, начальники которых созывались на совещания, а главная тайна находилась в руках этих троих братьев; Панин хотел, чтоб это совершилось в пользу моего сына, но они ни за что не хотели согласиться на это.

Я была в Петергофе. Петр III жил и пьянствовал в Ораниенбауме. Согласились на случай предательства не ждать его возвращения, но собрать гвардейцев и провозгласить меня. Рвение ко мне вызвало то же, что произвела бы измена. В войсках двадцать седьмого распространился слух, что я арестована. Солдаты волнуются; один из наших офицеров успокаивает их.

Один солдат приходит к капитану Пассеку[172], главарю одной из партий, и говорит ему, что я погибла. Он уверяет его, что имеет обо мне известия. Солдат, все продолжая тревожиться за меня, идет к другому офицеру и говорит ему то же самое. Этот не был посвящен в тайну; испуганный тем, что офицер отослал солдата, не арестовав его, он идет к майору, а этот последний послал арестовать Пассека. И вот весь полк в движении. В эту же ночь послали рапорт в Ораниенбаум. И вот тревога между нашими заговорщиками. Они решают прежде всего послать второго брата Орлова ко мне, чтобы привезти меня в город, а два другие идут всюду извещать, что я скоро буду. Гетман[173], Волконский[174], Панин знали тайну.

Я спокойно спала в Петергофе, в 6 часов утра, двадцать восьмого. День прошел очень тревожно для меня, так как я знала все приготовления. Входит в мою комнату Алексей Орлов и говорит мне с большим спокойствием: «Пора вам вставать; все готово для того, чтобы вас провозгласить». Я спросила у него подробности; он сказал мне: «Пассек арестован». Я не медлила более, оделась как можно скорее, не делая туалета, и села в карету, которую он подал. Другой офицер под видом лакея находился при ее дверцах; третий выехал навстречу ко мне в нескольких верстах от Петергофа. В пяти верстах от города я встретила старшего Орлова с князем Барятинским-младшим[175]; последний уступил мне свое место в одноколке, потому что мои лошади выбились из сил, и мы отправились в Измайловский полк; там было всего двенадцать человек и один барабанщик, который забил тревогу. Сбегаются солдаты, обнимают меня, целуют мне ноги, руки, платье, называют меня своей спасительницей. Двое привели под руки священника с крестом; вот они начинают приносить мне присягу. Окончив ее, меня

просят сесть в карету; священник с крестом идет впереди; мы отправляемся в Семеновский полк; последний вышел к нам навстречу с криками vivat. Мы поехали в Казанскую церковь, где я вышла. Приходит Преображенский полк, крича vivat, и говорят мне: «Мы просим прощения за то, что явились последними; наши офицеры задержали нас, но вот четверых из них мы приводим к вам арестованными, чтобы показать вам наше усердие. Мы желали того же, чего желали наши братья».

Приезжает конная гвардия; она была в диком восторге, которому я никогда не видела ничего подобного, плакала, кричала об освобождении отечества. Эта сцена происходила между садом гетмана и Казанской. Конная гвардия была в полном составе, во главе с офицерами. Я знала, что дядю моего, которому Петр III дал этот полк, они страшно ненавидели, поэтому я послала к нему пеших гвардейцев, чтобы просить его оставаться дома, из боязни за его особу. Не тут-то было: его полк отрядил, чтоб его арестовать; дом его разграбили, а с ним обошлись грубо.

Я отправилась в новый Зимний дворец, где Синод и Сенат были в сборе. Тут наскоро составили манифест и присягу. Оттуда я спустилась и обошла пешком войска, которых было более 14 000 человек гвардии и полевых полков. Едва увидали меня, как поднялись радостные крики, которые повторялись бесчисленной толпой.

Я отправилась в старый Зимний дворец, чтобы принять необходимые меры и закончить дело. Там мы совещались и решили отправиться, со мною во главе, в Петергоф, где Петр Ill должен был обедать. По всем большим дорогам были расставлены пикеты, и время от времени к нам приводили лазутчиков.

Я послала адмирала Талызина в Кронштадт. Прибыл канцлер Воронцов, посланный для того, чтобы упрекнуть меня за мой отъезд; его повели в церковь для принесения присяги. Приезжают князь Трубецкой и граф Шувалов, также из Петергофа, чтобы удержать верность войск и убить меня; их повели приносить присягу безо всякого сопротивления.

Разослав всех наших курьеров и взяв все меры предосторожности с нашей стороны, около десяти часов вечера я оделась в гвардейский мундир и приказала объявить меня полковником – это вызвало неописуемые крики радости. Я села верхом; мы оставили лишь немного человек от каждого полка для охраны моего сына, оставшегося в городе. Таким образом, я выступила во главе войск, и мы всю ночь шли в Петергоф. Когда мы подошли к небольшому монастырю на этой дороге, является вице-канцлер Голицын с очень льстивым письмом от ПетраТретьего.

Я не сказала, что, когда я выступила из города, ко мне явились три гвардейских солдата, посланные из Петергофа, распространять манифест среди народа, говоря: «Возьми, вот что дал нам Петр III, мы отдаем это тебе и радуемся, что могли присоединиться к нашим братьям».

За первым письмом пришло второе; его доставил генерал Михаил Измайлов, который бросился к моим ногам и сказал мне: «Считаете ли вы меня за честного человека?» Я ему сказала, что да. «Ну так, – сказал он, – приятно быть заодно с умными людьми. Император предлагает отречься. Я вам доставлю его после его совершенно добровольного отречения. Я без труда избавлю мое отечество от гражданской войны». Я возложила на него это поручение; он отправился его исполнять. Петр III отрекся в Ораниенбауме безо всякого принуждения, окруженный 1590 голштинцами, и прибыл с Елисаветой Воронцовой, Гудовичем и Измайловым в Петергоф, где для охраны его особы я дала ему шесть офицеров и несколько солдат. Так как это было [уже] 29-е число, день Петра и Павла, в полдень, то нужно было пообедать, В то время как готовился обед для такой массы народу, солдаты вообразили, что Петр III был привезен князем Трубецким, фельдмаршалом, и что последний старался примирить нас друг с другом. И вот они поручают всем проходящим, и, между прочим, гетману, Орловым и нескольким другим [передать мне], что уже три часа, как они меня не видели, что они умирают со страху, как бы этот старый плут Трубецкой не обманул меня, «устроив притворное примирение между твоим мужем и тобою, как бы не погубили тебя, а одновременно и нас, но мы его в клочья разорвем». Вот их выражения. Я пошла к Трубецкому и сказала ему: «Прошу вас, сядьте в карету, между тем как я обойду пешком эти войска».

Я ему сказала то, что происходило. Он уехал в город, сильно перепуганный, а меня приняли с неслыханными восклицаниями; после того я послала под начальством Алексея Орлова в сопровождении четырех офицеров и отряда смирных и избранных людей низложенного Императора за 25 верст от Петергофа, в местечко, называемое Ропша, очень уединенное и очень приятное, на то время, пока готовили хорошие и приличные комнаты в Шлиссельбурге и пока не успели расставить лошадей для него на подставу. Но Господь Бог расположил иначе.

Страх вызвал у него понос, который продолжался три дня и прошел на четвертый; он чрезмерно напился в этот день, так как имел все, что хотел, кроме свободы. (Попросил он у меня, впрочем, только свою любовницу, собаку, негра и скрипку; но, боясь произвести скандал и усилить брожение среди людей,

которые его караулили, я ему послала только три последние вещи.) Его схватил приступ геморроидальных колик вместе с приливами крови к мозгу; он был два дня в этом состоянии, за которым последовала страшная слабость, и, несмотря на усиленную помощь докторов, он испустил дух, потребовав [перед тем] лютеранского священника.

Я опасалась, не отравили ли его офицеры. Я велела его вскрыть; но вполне удостоверено, что не нашли ни малейшего следа [отравы]; он имел совершенно здоровый желудок, но умер он от воспаления в кишках и апоплексического удара. Его сердце было необычайно мало и совсем сморщено.

После его отъезда из Петергофа мне советовали отправиться прямо в город. Я предвидела, что войска будут этим встревожены. Я велела распространить об этом слух, под тем предлогом, чтобы узнать, в котором часу приблизительно, после трех утомительных дней, они были бы в состоянии двинуться в путь. Они сказали: «Около десяти часов вечера, но пусть и она пойдет с нами». Итак, я отправилась с ними, и на полдороги я удалилась на дачу Куракина, где я бросилась, совсем одетая, в постель. Один офицер снял с меня сапоги. Я проспала два с половиной часа, и затем мы снова пустились в путь. От Екатериненгофа я опять села на лошадь, во главе Преображенского полка, впереди шел один гусарский полк, затем мой конвой, состоявший из конной гвардии; за ним следовал, непосредственно передо мною, весь мой двор. За мною шли гвардейские полки по их старшинству и три полевых полка.

В город я въехала при бесчисленных криках радости, и так ехала до Летнего дворца, где меня ждали двор, Синод, мой сын и все то, что является ко двору. Я пошла к обедне; затем отслужили молебен; потом пришли меня поздравлять. Я почти не пила, не ела и не спала с шести часов утра в пятницу до полудня в воскресенье; вечером я легла и заснула. В полночь, только что я заснула, капитан Пассек входит в мою комнату и будит меня, говоря: «Наши люди страшно пьяны; один гусар, находившийся в таком же состоянии, прошел перед ними и закричал им: «К оружию! Тридцать тысяч пруссаков идут, хотят отнять у нас нашу матушку». Тут они взялись за оружие и идут сюда, чтобы узнать о состоянии вашего здоровья, говоря, что три часа они не видели вас и что они пойдут спокойно домой, лишь бы увидеть, что вы благополучны. Они не слушают ни своих начальников, ни даже Орловых». И вот я снова на ногах, и, чтобы не тревожить мою дворцовую стражу, которая состояла из одного батальона, я пошла к ним и сообщила им причину, почему я выхожу в такой час. Я села в свою карету с двумя офицерами и отправилась к

ним; я сказала им, что я здорова, чтоб они шли спать и дали мне также покой, что я только что легла, не спавши три ночи, и что я желаю, чтоб они слушались впредь своих офицеров. Они ответили мне, что у них подняли тревогу с этими проклятыми пруссаками, что они все хотят умереть за меня. Я им сказала: «Ну, спасибо вам, но идите спать». На это они мне пожелали спокойной ночи и доброго здоровья и пошли, как ягнята, домой, и все оборачивались на мою карету, уходя. На следующий день они прислали просить у меня извинения и очень сожалели, что разбудили меня, говоря: «Если каждый из нас будет хотеть постоянно видеть ее, мы повредим ее здоровью и ее делам». Потребовалась бы целая книга, чтобы описать поведение каждого из начальствующих лиц. Орловы блистали своим искусством управлять умами, осторожною смелостью в больших и мелких подробностях, присутствием духа и авторитетом, который это поведение им доставило. У них много здравого смысла, благородного мужества. Они патриоты до энтузиазма и очень честные люди, страстно привязанные ко мне, и друзья, какими никогда еще не был никто из братьев; их пятеро, но здесь только трое было. Капитан Пассек отличался стойкостью, которую он проявил, оставаясь двенадцать часов под арестом, тогда как солдаты отворяли ему окна и двери, дабы не вызвать тревоги до моего прибытия в его полк, и в ежеминутном ожидании, что его повезут для допроса в Ораниенбаум: об этом приказ пришел уже после меня.

Княгиня Дашкова, младшая сестра Елисаветы Воронцовой, хотя и очень желает приписать себе всю честь, так как была знакома с некоторыми из главарей, не была в чести вследствие своего родства и своего девятнадцатилетнего возраста и не внушала никому доверия; хотя она уверяет, что все ко мне проходило через ее руки, однако все лица имели сношения со мною в течение шести месяцев прежде, чем она узнала только их имена. Правда, она очень умна, но с большим тщеславием она соединяет взбалмошный характер и очень нелюбима нашими главарями; только ветреные люди сообщили ей о том, что знали сами, но это были лишь мелкие подробности. И. И. Шувалов, самый низкий и самый подлый из людей, говорят, написал тем не менее Вольтеру, что девятнадцатилетняя женщина переменила правительство этой Империи; выведите, пожалуйста, из заблуждения этого великого писателя.

Приходилось скрывать от княгини пути, которыми другие сносились со мной еще за пять месяцев до того, как она что-либо узнала, а за четыре последние недели ей сообщали так мало, как только могли. Твердость характера князя Барятинского, который

скрывал от своего любимого брата, адъютанта бывшего Императора, эту тайну, потому что тот был бы доверенным не опасным, но бесполезным, заслуживает похвалы. В конной гвардии один офицер, по имени Хитрово, двадцати двух лет, и один унтер-офицер, семнадцати, по имени Потемкин, всем руководили со сметливостью, мужеством и расторопностью.

Вот приблизительно наша история. Все делалось, признаюсь вам, под моим ближайшим руководством, и в конце я охладила пыл, потому что отъезд на дачу мешал исполнению [предприятия], а все более чем созрело за две недели до того. Когда бывший Император узнал о мятеже в городе, молодые женщины, из которых он составил свою свиту, помешали ему последовать совету старого фельдмаршала Миниха, который советовал ему броситься в Кронштадт или удалиться с небольшим числом людей к армии, и, когда он отправился на галере в Кронштадт, город был уже в наших руках, благодаря исполнительности адмирала Талызина, приказавшего обезоружить генерала Девьера[176], который был уже там от имени Императора, когда первый туда приехал. Один портовый офицер, по собственному побуждению, пригрозил этому несчастному Государю, что будет стрелять боевыми снарядами по галере. Наконец, Господь Бог привел все к концу, предопределенному Им, и все это представляется скорее чудом, чем делом, предусмотренным и заранее подготовленным, ибо совпадение стольких счастливых случайностей не может произойти без воли Божией.

Я получила ваше письмо… Правильная переписка была бы подвержена тысяче неудобств, а я должна соблюдать двадцать тысяч предосторожностей, и у меня нет времени писать опасные billets-doux[177].

Я очень стеснена… Я не могу рассказать вам все это, но это правда.

Я сделаю все для вас и вашей семьи, будьте в этом твердо уверены.

Я должна соблюдать тысячу приличий и тысячу предосторожностей, и вместе с тем чувствую все бремя правления.

Знайте, что все проистекло из ненависти к иностранцам; что Петр III сам слывет за такового.

Прощайте, бывают на свете положения [очень] странные.

9 августа 1762

Я могу вам сказать лишь правду: я подвергаюсь тысяче опасностей благодаря этой переписке. Ваше последнее письмо, на

которое я отвечаю, чуть не было перехвачено. Меня не выпускают из виду. Я отнюдь не должна быть в подозрении; нужно идти прямо; я не могу вам писать; оставайтесь в покое. Рассказать все внутренние тайны – было бы нескромностью; наконец, я не могу. Не мучьте вы себя; я поддержу вашу семью. Я не могу отпустить Волконского; у вас будет Кейзерлинг, который будет служить вам как нельзя лучше. Я приму во внимание все ваши указания. Впрочем, я совсем не хочу вводить вас в заблуждение; меня заставят проделать еще много странных вещей, и все это естественнейшим в мире образом.

Если я соглашусь на это, меня будут боготворить; если нет, – право, я не знаю, что тогда произойдет. Могу вам сказать, что все это лишь чрезмерная ко мне любовь их, которая начинает быть мне в тягость. Они смертельно боятся, чтобы со мною не случилось малейшего пустяка. Я не могу выйти из моей комнаты без радостных восклицаний. Одним словом, это энтузиазм, напоминающий собою энтузиазм времен Кромвеля. <…>

[Осень 1762]

Вы читаете мои письма недостаточно внимательно. Я вам сказала и повторила, что я подвергнусь крайним опасностям с разных сторон, если вы появитесь в России. Вы отчаиваетесь; я удивляюсь этому, потому что в конце концов всякий рассудительный человек должен покориться. Я не могу и не хочу объясняться по поводу многих вещей. Я вам сказала, и я вам повторяю, что всю мою жизнь с вашей семьей и с вами я буду в самых дружественных отношениях, в соединении с признательностью и отменным уважением. Хотя я поссорилась из-за курляндских дел с вашим королем, однако я сделаю все рекомендации, каких вы требуете. Я думаю, что Кейзерлинг исполнил бы их лучше, чем Ржичевский[178], который, говорят, не предан вам; но так как вы этого хотите, то они также будут на него возложены.

Только мое поведение может, несомненно, меня поддерживать. Оно должно быть таким, какого я придерживаюсь. Впрочем, всякие затруднения на свете могут со мною приключиться, и ваше имя и ваш приезд способны произвести самые печальные результаты. Я вам это повторяла, и я говорю вам это еще раз; вы хотите быть обнадеженным, – я этого не могу и не хочу; я должна тысячу раз в день [проявлять] подобную твердость. Остен слишком умен; я предпочитаю дурака, с которым слажу; не говорите ему этого. Не давайте отнюдь письма Одару[179]. Дания мне подозрительна, и притом ее двор делает мне кляузы по делам моего сына, на которые я имею все поводы

жаловаться; несомненно, я не должна и не могу ни уступать, ни делиться в его делах ни с одною живою душой, и их трактат лишен значения, потому что младший в Германии без своего старшего ничего не может решить. Моисей[180] негодяй, и я уволила его в отставку. Я не могу менять таким образом со дня на день; Кейзерлинг назначен ехать к вам, а мне нужен Волконский. Мое существование состоит и будет состоять в том, чтобы, разве потеряю рассудок, не быть под игом ни у какого двора, – и я, слава Богу, не нахожусь под ним, – заключить мир, привести мое обремененное долгами государство в наилучшее состояние, какое только могу, и это все. Все те, кто говорят вам другое, – большие лжецы. Бестужев – сенатор и занимает свое место в Коллегии иностранных дел; с ним советуются и его чествуют столько, сколько следует. Все спокойны, помилованы, проникаются честными намерениями по отношению к отечеству, и нет другого имени, которое было бы в ходу. Гетман всегда со мною, и Панин – самый искусный, самый смышленый и самый ревностный человек при моем дворе. Ададуров – президент мануфактур-коллегии. Право, если дадут денег моим министрам, то ловко попадутся, потому что, что бы ни говорили, я могу вам поклясться, что они делают только то, что я им диктую. Я их всех выслушиваю, а сама вывожу свои заключения.

Прощайте. Будьте уверены, что я всегда буду питать особенную дружбу к вам и ко всему, что вам близко, и предоставьте мне выпутываться из моих хлопот. Если все затруднения в течение восемнадцати лет, от которых естественно я должна была бы погибнуть, свелись к тому, что сделали меня тем, что я есть, то чего же я не должна ожидать? Но я не хочу льстить, и не хочу погубить нас. Забыла вам сказать, что Бестужев очень любит и ласкает тех, которые послужили мне с таким усердием, какого можно было ожидать от благородства их характера. Поистине это герои, готовые положить свою жизнь за отечество, и столь же уважаемые, сколь достойные уважения.

Светлейшему князю Г. А. Потемкину-Таврическому[181]

Господин генерал-поручик и кавалер. Вы, я чаю, столь упражнены глазеньем на Силистрию[182], что Вам некогда письма читать. Я хотя и по сю пору не знаю, преуспела ли Ваша бомбардирада, но тем не менее я уверена, что все то, чего Вы сами предприемлете, ничему иному приписать не должно, как горячему Вашему усердию ко мне персонально и вообще к любезному Отечеству, которого службу Вы любите.

Но как с моей стороны я весьма желаю ревностных, храбрых, умных и искусных людей сохранить, то Вас прошу попусту не даваться в опасности. Вы, читав сие письмо, может статься,

сделаете вопрос, к чему оно писано? На сие Вам имею ответствовать: к тому, чтоб Вы имели подтверждение моего образа мысли об Вас, ибо я всегда к Вам весьма доброжелательна.

Декабря 4 числа 1773

Екатерина

Скажите и бригадиру Павлу Потемкину спасибо за то, что он хорошо турок принял, когда они пришли за тем, чтоб у Вас батарею испортить на острову[183].

[Середина апреля 1774]

Голубчик, при сем посылаю к Вам письмо к графу Алек [сею Григорьевичу] Орлову. Если в орфографии есть ошибка, то прошу, поправя, где надобно, ко мне возвратить. Тем, коим не нравится пожалованье господ Демидовых в советники Берг-коллегии[184], в которой части они, однако, сознания имеют довольные и с пользою могут быть употреблены, в ответ можно сказать, что Сенат часто откупщиков жалует по произволению своему в чины. Итак, чаю, и мне можно, по власти моей, жаловать разоренных людей, от коих (порядочным управлением заводов) торговле и казенным доходам принесена немалая и долголетняя прибыль, и оне, чаю, не хуже будут дурака генеральского господина Бильштейна, за которого весь город старался. Но у нас любят все брать с лихой стороны, а я на сие привыкла плевать и давно знаю, что те ошибаются, кои думают, что на весь свет угодить можно, потому что намерения их суть беспорочны. Юла моя дорогая, не прогневайся, что заочно написала того, чего Вы мне не дали договорить или б не выслушали, если б были со мною. Всякому человеку свойственно искать свое оправданье, окроме паче меня, которая подвержена ежечасно бесчисленным от людей умных и глупых попрекам и критикам. И так, когда уши мои сим набиты, тогда и мой ум около того же вертится, и мысли мои не столь веселы, как были бы с природою, если б на всех угодить могла. < … >

[Конец апреля 1774]

Какая тебе нужда сказать, что жив не останется тот, кто место твое займет. Похоже ли на дело, чтоб ты страхом захотел приневолить сердце? Самый мерзкий способ сей непохож вовсе на твой образ мысли, в котором нигде лихо не обитает. А тут бы одна амбиция, а не любовь действовала. Но вычерни сии строки и истреби о том и мысли, ибо все это пустошь. Похоже на сказку, что у мужика жена плакала, когда муж на стену повесил топор, что сорвется и убьет дитятю, которого на свете не было и быть не могло, ибо им по сто лет было. Не печалься. Скорее ты мною скучишь, нежели я. Как бы то ни было, я приветлива и

постоянного сложения, и привычка и дружба более и более любовь во мне подкрепляют. Vous ne Vous rendres pas justice, quoique Vous soyes un bonbon de profession. Vous etes excessivement aimable[185].

Признаться надобно, что и в самом твоем опасении есть нежность. Но опасаться тебе причины никакой нету. Равного тебе нету. Я с дураком пальцы обожгла[186]. И к тому я жестоко опасалась, чтобы привычка к нему не сделала мне из двух одно: или навек бессчастна, или же не укротила мой век. А если б еще год остался и ты б не приехал, или б при приезде я б тебя не нашла, как желалось, я б, статься могло, чтоб привыкла, и привычка взяла бы место, тебе по склонности изготовленное. Теперь читай в душе и сердце моем. Я всячески тебе чистосердечно их открываю, и если ты сие не чувствуешь и не видишь, то не достоин будешь той великой страсти, которую произвел во мне за пожданье. Право, крупно тебя люблю. Сам смотри. Да просим покорно нам платить такой же монетою, а то весьма много слез и грусти внутренней и наружной будет. Мы же, когда ото всей души любим, жестоко нежны бываем. Изволь нежность нашу удовольствовать нежностью же, а ничем иным. Вот Вам письмецо не короткое. Будет ли Вам так приятно читать, как мне писать было, не ведаю.

[Апрель 1774]

Великие дела может исправлять человек, дух которого никакое дело потревожить не может. Меньше говори, будучи пьян. Нимало не сердись, когда кушаешь. Спечи дело, кое спеет. Принимай великодушно, что дурак сделал.

[29 июля 1774]

Увидишь, голубчик, из приложенных при сем штук, что господин граф Панин из братца своего[187] изволит делать властителя с беспредельною властию в лучшей части Империи, то есть Московской, Нижегородской, Казанской и Оренбургской губернии, а sous entendu[188] есть и прочия; что если сие я подпишу, то не только князь Волконский будет и огорчен, и смешон, но я сама ни малейше не сбережена, но пред всем светом первого враля и мне персонального оскорбителя, побоясь Пугачева, выше всех смертных в Империи хвалю и возвышаю. Вот Вам книга в руки: изволь читать и признавай, что гордость сих людей всех прочих выше. При сем прилагаю и Бибикова инструкцию для confrontatie[189]. И тот пункт не худ, где сказано, что всех людей, где б ни было, он может как, где и когда хочет [казнить и миловать].

[18 августа 1774]

Позволь доложить, друг милый и любезный, что я весьма помню о тебе. А сей час, окончив тричасовое слушанье дел, хотела послать спросить. А понеже не более десяти часов, то пред тем опасалась, что разбудят тебя. И так не за что гневаться, но в свете есть люди, кои любят находить другим людям вины тогда, когда надлежало им сказать спасибо за нежную атенцию всякого рода.

Сударка, я тебя люблю, как душу.

[Конец августа 1774]

Заготовила я теперь к графу Петру Панину письмо в ответ на его от 19 числа и посылаю к нему реестр тех, кои отличились при Казанском деле и коих награждаю деревнями, как Вы то здесь усмотрите из приложенного письма. А впредь, как офицеров наградить, кои противу бунтовщиков? Крестьян не достанет, хотя достойны.

Пришла мне на ум следующая идея: в банк Дворянский орденская немалая сумма в проценты идет[190]. Я из процентов велю противу орденских классов производить им пенсии. Как Вам кажется? <…>

[Конец августа 1774]

Я думаю, что прямой злодейский тракт [Пугачева] на Царицын, где, забрав Артиллерию, как слух уже о его намерении был, пойдет на Кубань. А по сим известиям или сказкам десяти саратовских казаков, он намерен на Дон идти, который от Царицына в шестидесяти верстах, и, следовательно, уже сие бы было обратный ему путь. И если сие сбудется, то он столкнется с Пушкиным[191], и тут его свяжут, нежели ингде. Защищенье Керенска показывает, как сие легко противу толпищи черни. <…>

[Середина сентября 1774]

Вы, сколько я Вас знаю, желаете, чтоб не одна часть только была в хорошем состоянии, но все. Когда пришло до того, чтоб выбрать в магистратские члены порядочных людей, а не банкрутных купцов, тогда роптанье ото всех тех, кои, пользуясь купеческими выгодами, не хотят обществу служить. Когда же банкрутных и бездельников выбирали в члены, тогда не менее роптанья было, что ни суда, ни расправы нету в магистрате. Освободя всех лучших людей из сей должности, само собою, останутся плохие.

Прошу сыскать средства, как быть? <…>

[Сентябрь 1777]

Батя, ты иногда замысловато докладываешься. Мне куды девать 100 человек колодников, коих острог вода разнесла. Я говорю: в Карантинный дом, но не ведаю, крепок ли он. Канальи живы, а пятнадцать человек верных солдат в том месте у них потонули.

[Ноябрь 1777]

Указ я прочла и вижу, что полки командированы, куда приказала. О больных ничего не ведаю, а впредь, что до меня дойдет, Вам сообщу. Намерения теперь иного нет, как только смотреть, что турки предпримут, ибо о трактовании с ними теперь полномочия у Стахиева. В случае же войны иного делать нечего, как оборонительно бить турков в Крыму или где покажутся. Буде же продлится до другой кампании, то уже на Очаков, чаю, приготовить действие должно будет. Хорошо бы и Бендеры, но Очаков по реке нужнее. <…>

[Январь 1781]

Сравнивать прилично не ради трусости, но ради честности, что, имея обязательства, нарушить оные бесчестно. Трактат же равной дружбы[192] не есть безвестное дело по тому правилу, что всякая держава старается со всякой державой жить дружно, когда не в войне. Войну же не вчинять без причин и без нужды. Я ни от кого из держав зависима быть не желаю. Венский двор весьма может хвалиться, что я сравниваю с двадцатилетним союзником тогда, когда десять лет назад оный двор отказался ото всякой связи с нами в нужное для нас время и всякую пакость чинил во время оное.

Что слабеешь, о том от сердца жалею и не знаю, чему приписать. Ужо сама посмотрю тебя. Прощай, мой любезный друг. Проект трактата, который ты читал, представлен Кобенцелем. Наш контртрактат заготовляется.

[1781]

Прочтя сей проект[193], я нашла, что оный составлен по правилам всех монополистов, то есть захватить все в свои руки, несмотря на разорение вещей и людей, из того доследуемое. В начале моего царствования я нашла, что вся Россия по частям роздана подобным кампаниям. И хотя я девятнадцать лет стараюсь сей корень истребить, но вижу, что еще не успеваю, ибо отрыжки (авось-либо удастся) сим проектом оказываются. Буде

сам его не издерешь, то возврати его сочинителям с тем, чтоб и вперед о том и подобном не заикались.

25 сентября 1782

Письма твои, батенька, из Херсона от 16 сентября я имела удовольствие получить сего утра. И хотя подробностей не пишешь, но, как тебе самому кажется удивительно, сколько сии места после заключения мира переменились, то из того заключить уже можно, что сделано много. По известиям Веселицкого, Хан спешит своим переездом. И так думаю, что вы с ним уже виделись. Об уходе крымцев в Анатолию и цареградские вести гласят. Удивительнее всего, что посреди сумятицы тамошней после пожара, спешили уплачивать деньги, кои нам должны[194], и сие приписую трусости. Благодарствую за добрые вести, что провиант и сено заготовляются с успехом и что урожай был добрый.

30 сентября 1782

С сегодняшними твоими именинами поздравляю тебя от всего сердца. Сожалею, что не праздную их обще с тобою. Желаю тебе тем не меньше всякого добра, наипаче же – здоровья. О моей к тебе дружбе всегдашней прошу нимало не сомневаться, равномерно и я на твою ко мне привязанность считаю более, нежели на каменных стен. Письмо твое от 19 сентября из Херсона до моих рук доставлено. Неблистающее описание состояния Очакова, которое ты из Кинбурна усмотрел, совершенно соответствует попечению той Империи об общем и частном добре, к которой по сю пору принадлежит. Как сему городишке нос подымать противу молодого херсонского Колосса! С удовольствием планы нового укрепления Кинбурна приму и выполнение оного готова подкрепить всякими способами. Петр Первый, принуждая натуру, в Балтических своих заведениях и строениях имел более препятствий, нежели мы в Херсоне. Но буде бы он оных не завел, то мы б многих лишились способностей, кои употребили для самого Херсона. Для тамошнего строения флота как охтинских плотников, так и олончан я приказала приискать, и по партиям отправим. А сколько сыщутся, тебе сообщу. По письмам Веселицкого из Петровской крепости, я почитаю, что скоро после отправления твоего письма ты с ханом имел свидание. Батыр-Гирей и Арслан-Гирей исчезнут, яко воск от лица огня, так и они, и их партизаны, и покровители – от добрых твоих распоряжений. Что татары подгоняют свой скот под наши крепости, смею сказать, что я первая была, которая сие видела с удовольствием и к тому еще до войны поощряла всегда

предписанием ласкового обхождения, и, не препятствуя, как в старину делывали. <…>

[Конец ноября 1782]

Чаю, не оспоришь, буде генерал-кригскомиссара Дурнова вмещу в число Александровских кавалеров. Что же касается до мужа твоей племянницы, то прошу тебя отложить сие прошение до другого дня, а наипаче к праздникам всякие просьбы за неделю, а еще лучше – за две, доставить к моему сведению, дабы мысли время имели бродить, аки брага. Я, увидясь с тобою, объясню тебе мои мысли дружественно и дружески, саа, m'amour, je n'en ai point d'autres pour toi[195].

Из Царского Села. Мая 4 числа, 1783

По получении последнего твоего письма от 22 апреля из Дубровны я так крепко занемогла болью в щеке и жаром, что принуждена была, лежа на постели, кровь пустить. Но как круто занемогла, так поспешно паки оправилась, и вся сила болезни миновалась коликою в третьи сутки. И выздоровела Царица и без лекарства, похоже, как в сказке «О Февее»[196] написано.

Я уже писала к тебе, что от Цесаря ко мне два письма были, кои уже опять иным тоном. Я на него никак не надеюсь, а вредить не станет. На внутренних и внешних бурбонцев я нимало не смотрю, а думаю, что война неизбежна. Время у нас отменно хорошо и тепло, и, по тому судя, думаю, что и подножный корм у вас поспевает. В Малороссии сделано теперь распоряжение о платеже податей по душам. Таковые не худо делать и в местах Полтавского и Миргородского полков, кои приписаны к Новороссийской губернии, не касаясь новых поселений, которым даются льготные годы. <…>

Мая 5 числа, 1783

Голубчик мой князь, сейчас получила твое письмо из Кричева и из оного и прочих депеш усмотрела, что Хан отказался от ханства. И о том жалеть нечего, только прикажи с ним обходиться ласково и со почтением, приличным владетелю, и отдать то, что ему назначено, ибо прочее о нем расположение не переменяю. <…>

[Июнь 1785]

По полученному сегодня репорту от Якобия[197], китайцы закрыли торг на Кяхте с пушечною пальбою, что приписывать надлежит за некоторый род объявления войны. Сие подтверждает и сказание китайского купца. Я думаю, что не излишне будет: 1. Собрать Братских казаков и оных распределить, где Вам пособнее

окажется по ту сторону Байкала. Как их подкрепить, о сем помышлять. Подумать об обороне Нерчинских заводов. Каменогорскую крепость приводить на первый случай в лучшее оборонительное состояние, равномерно и Колыванские пограничные места. А как все сие распорядить и снабдить войсками на первый случай, о сем, подумавши, прошу мне представить скорее.

[После 29 июля 1785]

Турки в Грузии явно действуют – лезгинскими лапами вынимают из огня каштаны. Сие есть опровержение мирного трактата, который уже нарушен в Молдавии и Валахии. Противу сего всякие слабые меры действительны быть не могут. Тут не слова, но действие нужно, нужно, нужно, чтоб сохранить честь, славу и государства и пользу Государя.

Друг мой, князь Григорий Александрович. Когда из Москвы к тебе я сбиралась писать, тогда твои письма от 22 июня из Кременчуга так были засунуты, что я их, спеша, найти никак не могла. Наконец здесь, в Твери, куда я приехала вчера, я уже их открыла. Извини меня, мой друг, в такой неисправности. Теперь на оные имею ответствовать: во-первых, расположение умов и духов в Кременчуге по отъезде моем мне весьма приятно, а твои собственные чувства и мысли тем наипаче милы мне, что я тебя и службу твою, исходящие из чистого усердия, весьма, весьма люблю, и сам ты бесценный. Сие я говорю и думаю ежедневно.

Мы до Москвы и до здешнего места доехали здоровы, и дожди за нами следовали так, что ни от пыли, ни от жаров мы не имели никакого беспокойствия. Тебе казалось в Кременчуге без нас пусто, а мы без тебя во всей дороге, а наипаче на Москве, как без рук.

В Петров день на Москве, в Успенском соборе Платона[198] провозгласили мы митрополитом и нашили ему на белый клобук крест бриллиантовый в пол-аршина в длину и поперек, и он во все время был как павлин Кременчугский.

При великих жарах, кои у вас на полудни, прошу тебя всепокорно, сотвори милость: побереги свое здоровье ради Бога и ради нас и будь столь доволен мною, как я тобою.

Прощай, друг мой, Бог с тобою. После обеда еду ночевать в Торжок.

Тверь, 6 июля 1787

За четыре эскадрона регулярных казаков благодарствую. Ей-богу, ты молодец редкий, всем проповедую.

Друг мой, князь Григорий Александрович. Письмо твое от 17 июля я получила на сих днях и из оного увидела, сколько тебя обрадовало мое письмо из Твери. Между тобою и мною, мой друг, дело в кратких словах: ты мне служишь, а я – признательна. Вот и все тут. Врагам своим ты ударил по пальцам усердием ко мне и ревностию к делам Империи. Радуюсь, что ты здоров. От фруктов прошу иметь воздержание. Слава Богу, что нет болезни и больных.

Дела в Европе позапутываются. Цесарь посылает войска в Нидерландию. Король Прусский против голландцев вооружается. Франция, не имев денег, делает лагери. Англия высылает флот и дает принцу Оранскому денег. Прочие державы бдят, а я гуляю по саду, который весьма разросся и прекрасен. Прощай, Бог с тобою.

Из Царского Села. Июля 27, 1787

Друг мой, князь Григорий Александрович. Письмо твое от 1 августа я получила третьего дня. Я с неделю сюда приехала в город, и, пока Вы в Кременчуге праздновали мое благополучное возвращение, я праздновала здесь день Преображения, слушала обедню в полковой церкви, обедала с офицерами и пила за здоровье подполковников обще с подкомандующими. Причем не оставила и говорить о том, что я едучи видела и как старший отличается, аки генерал-губернатор. Я здорова, и все те, кои со мною приехали. Здесь с моего приезда, то есть месяц целый, все дожди идут, и, кроме одного дня, мы теплую погоду ниже издали здесь не видали. Облака непрестанно самые густые, и погода пасмурная. Такова Санкт-Петербургская каникула.

Я почти живу в Эрмитаже и там погоду оставляю быть погодою.

Желаю тебе счастливого успеха в сеянии лесов и сажании садов. Сделав сие, дашь тем местам точно то, чего им недостает, уменьшением зноя солнечного, и притянешь дожди. О прииске ключей также внимала я с удовольствием. <…>

По письмам Цареградским видно, что турки пошаливают. Кажется, будто англичане хотят воспользоваться французским недостатком в деньгах и для того замешались крепко в голландские дела. <…>

Августа 12 числа 1787 г. из города Святого Петра, что на берегах невских и который ужасно как хорош, но в дурном весьма климате построен.

24 августа 1787

<…> Итак, мысли мои единственно обращены к ополчению, и я начала со вчерашнего вечера в уме сравнивать состояние мое

теперь, в 1787 г., с тем, в котором находилась при объявлении войны в ноябре 1768 года. Тогда мы войну ожидали чрез год, полки были по всей Империи по квартерам, глубокая осень на дворе, приготовления никакие не начаты, доходы гораздо менее теперешнего, татары на носу и кочевья степных до Тору и Бахмута; в январе они въехали в Елисаветградский округ. План войны был составлен так, что оборона обращена была в наступление. Две армии были посланы. Одна служила к обороне Империи, пока другая шла к Хотину. Когда Молдавия и подунайские места заняты были в первой и второй кампании, тогда вторая взяла Бендер и заняли Крым. Флот наряжен был в Средиземное море и малый корпус в Грузию.

Теперь граница наша по Бугу и по Кубани. Херсон построен. Крым – область Империи и знатный флот в Севастополе. Корпуса войск в Тавриде, армии знатные уже на самой границе, и они посильнее, нежели были армии оборонительная и наступательная 1768 года. Дай Боже, чтоб за деньгами не стало, в чем всячески теперь стараться буду и надеюсь иметь успех. Я ведаю, что весьма желательно было, чтоб мира еще года два протянуть можно было, дабы крепости Херсонская и Севастопольская поспеть могли, такожды и армия, и флот приходить могли в то состояние, в котором желалось их видеть. Но что же делать, если пузырь лопнул прежде времени. Я помню, что при самом заключении мира Кайнарджийского мудрецы сомневались о ратификации визирской и султанской, а потом лжепредсказания от них были, что не протянется далее двух лет, а вместо того четверто на десятое лето началось было. Если войну турки объявили, то, чаю, флот в Очакове оставили, чтоб построенных кораблей в Херсоне не пропускать в Севастополь. Буле же сие не сделали, то, чаю, на будущий год в Днепровское устье на якоря стать им не так легко будет, как нынешний.

Надеюсь на твое горячее попечение, что Севастопольскую гавань и флот сохранишь невредимо, чрез зиму флот в гавани всегда в опасности. Правда, что Севастополь не Чесма. Признаюсь, что меня одно только страшит, то есть язва. Для самого Бога я тебя прошу – возьми в свои три губернии, в армии и во флоте всевозможные меры заблаговременно, чтоб зло сие паки к нам не вкралось слабостью. Я знаю, что и в самом Цареграде язвы теперь не слыхать, но как они у них никогда не пресекаются, то войски оныя с собою развозят. Пришли ко мне (и то для меня единой) план, как ты думаешь войну вести, чтоб я знала и потому могла размерить по твоему же мнению тебя. В прошлом, 1786-м, тебе рескрипт дан, и уведоми меня о всем подробно, дабы я всякого бреда могла всегда заблаговременно здесь унимать и

пресечь поступки и возможности. Кажется, французы теперь имеют добрый повод туркам отказать всякую подмогу, понеже против их домогательства о сохранении мира война объявлена. Посмотрим, что Цесарь сделает. Он по трактату обязан чрез три месяца войну объявить туркам.

Пруссаки и шведы – поддувальщики, но первый, чаю, диверсию не сделает, а последний едва ли может, разве гишпанцы деньги дадут, что почти невероятно. И чужими деньгами воевать – много сделаешь? К графу Салтыкову писано, чтоб ехал в Армию. Прощай, мой друг, будь здоров. У нас все здорово, а в моей голове война бродит, как молодое пиво в бочке. <…>

Настоящая причина войны есть и пребудет та, что туркам хочется переделать трактаты: первый – Кайнарджийский, второй – конвенцию о Крыме, третий – коммерческий. Быть может, что тотчас по объявлении войны они стараться будут обратить все дело в негоциацию. Они поступали равным образом в 1768. Но буде мой министр в Семибашни посажен, как тогда, то им по тому же и примеру ответствовать надлежит, что достоинство двора Российского не дозволяет подавать слух никаким мирным предложениям, дондеже министр сей державы не возвращен ей.

Еще пришло мне на мысль, кой час подтверждение о войне получу, отправить повеление к Штакельбергу[199], чтоб он начал негоциацию с поляками о союзе. Буде заподлинно война объявлена, то необходимо будет в Военном Совете посадить людей, дабы многим зажимать рта и иметь кому говорить за пользу дел. И для того думаю посадить во оном графа Вал [ентина] Пушкина, ген [ерала] Ник [олая] Салтыкова, гр [афа] Брюса, гр [афа] Воронцова, гр [афа] Шувалова, Стрекалова и Завадовского. Сии последние знают все производство прошедшей войны. Генерал-прокурора выписываю от Вод Царицынских. Иных же, окроме вышеописанных, я никого здесь не имею и не знаю.

Друг мой, князь Григорий Александрович. Собственноручное твое письмо от 2 августа я сего утра получила, из которого я усмотрела подтверждение молдавских известий об объявлении войны. Благодарю тебя весьма, что ты предо мною не скрыл опасное положение, в котором находишься. И Бог от человека не более требует, как в его возможности. Но русский Бог всегда был и есть, и будет велик, я несомненную надежду полагаю на Бога Всемогущего и надеюсь на испытанное твое усердие, что, колико можешь, все способы своего ума употребишь ко истреблению зла и препятствий родов разных. С моей же стороны, не пропущу ни единого случая подать помощи везде тут, где оная от меня

потребна будет. Рекрутский набор с пятисот двух уже от меня приказан, и прибавлять двойное число в оставшие полки в России велю и всячески тебя прошу и впредь с тою же доверенностью ко мне отписать о настоящем положении дел. Я знаю, что в трудных и опасных случаях унывать не должно, и пребываю, как и всегда, к тебе дружно и доброжелательно.

Августа 29 числа 1787
Екатерина

Друг мой любезный, князь Григорий Александрович. Услыша, что сегодня из канцелярии Вашей отправляют к Вам курьера, то спешу тебе сказать, что после трехнедельного несказанного о твоем здоровье беспокойства, в которых ниоткуда я не получала ни строки, наконец сегодня привезли ко мне твои письма от 13, 15 и 16 сентября, и то пред самою оперою, так что и порядочно оных прочесть не успела, не то чтобы успеть еще сего вечера на них ответствовать. Ради Бога, ради меня, береги свое драгоценное для меня здоровье. Я все это время была ни жива ни мертва оттого, что не имела известий. Молю Бога, чтоб Вам удалось спасти Кинбурн. Пока его турки осаждают, не знаю почему, мне кажется, что Александр Васильевич Суворов в обмен возьмет у них Очаков. С первым и нарочным курьером предоставляю себе ответствовать на Ваши письма.

Прощайте, будьте здоровы, и когда Вам самим нельзя, то прикажите кому писать вместо Вас, дабы я имела от Вас известия еженедельно.

Сентября 23, 1787

С Вашими именинами Вас от всего сердца поздравляю.

24 сентября 1787

Что Кинбурн осажден неприятелем и уже тогда четыре сутки выдержал канонаду и бомбардираду, я усмотрела из твоего собственноручного письма. Дай Боже его не потерять, ибо всякая потеря неприятна. Но положим так – то для того не унывать, а стараться как ни на есть отмстить и брать реванш. Империя останется Империею и без Кинбурна. Того ли мы брали и потеряли? Всего лучше, что Бог вливает бодрость в наших солдат тамо, да и здесь не уныли. А публика лжет в свою пользу и города берет, и морские бои, и баталии складывает, и Царьград бомбардирует Войновичем. Я слышу все сие с молчанием и у себя на уме думаю: был бы мой князь здоров, то все будет благополучно и поправлено, если б где и вырвалось чего неприятное.

Что ты велел дать вино и мясо осажденным, это очень хорошо. Помоги Бог генерал-майору Реку, да и коменданту

Тунцельману. Усердие Александра Васильевича Суворова, которое ты так живо описываешь, меня весьма обрадовало. Ты знаешь, что ничем так на меня не можно угодить, как отдавая справедливость трудам, рвению и способности. Хорошо бы для Крыма и Херсона, если б спасти можно было Кинбурн. От флота теперь ждать известия.

Несколько датских офицеров морских, услыша о войне, хотят к нам в службу идти. Писал ко мне князь Репнин[200], представляя свою готовность служить под кем и где мне угодно. Я отвечала, что с удовольствием вижу его расположение и что не премину тут его употребить, где случай предстанет. <…>

Один рекрутский набор уже делают, а теперь сделаю другой и почитаю, что не шестьдесят, но восемьдесят тысяч взято будет в обеих. Надеюсь, что сие достаточно.

Император [Иосиф II], как ты увидишь из бумаг, пред сим к тебе присланных, готовит 120 тысяч, с коими действовать намерен, и множество генералов пожаловал, в числе которых и Линь.

Ласкать англичан и пруссаков – ты пишешь. Кой час Питт[201] узнал об объявлении войны, он писал к Семену Воронцову, чтоб он приехал к нему, и по приезде ему сказал, что война объявлена и что говорят в Цареграде и в Вене, что на то подущал турок их посол, и клялся, что посол их не имеет на то приказаний от Великобританского министерства. Сему я верю, но иностранные дела Великобритании неуправляемы ныне Английским министерством, но самим ехидным Королем[202] по правилам ганноверских министров. Его Величество уже добрым своим правлением потерял пятнадцать провинций. Так мудрено ли ему дать послу своему в Цареграде приказания в противность интересов Англии? Он управляется мелкими личными страстьми, а не государственным и национальным интересом.

Касательно пруссаков, то им и поныне, кроме ласки, ничего не оказано, но они платят не ласкою, и то, может быть, не Король, но Герцберг[203]. Их войска действительно вступили в Голландию. Что французы теперь скажут, посмотрим. Они, кажется, вступятся либо впадут в презрение, чего, чаятельно, не захотят. Король Французский отдался в опеку, сделал Принципал-министра, отчего военный и морской министр пошли в отставку[204].

На тот год флот большой велю вооружить как для Архипелага, так и для Балтики, а французы скажут, что хотят. Я не привыкла учреждать свои дела и поступки инако, как сходственно интереса моей Империи и дел моих, и потому и державы – друг и недруг, как угодно им будет.

Молю Бога, чтоб тебе дал силы и здоровье и унял ипохондрию. Как ты все сам делаешь, то и тебе покоя нет. Для чего не берешь к себе генерала, который бы имел мелкий детайль. Скажи, кто тебе надобен, я пришлю. На то даются фельдмаршалу генералы полные, чтоб один из них занялся мелочью, а Главнокомандующий тем не замучен был. Что не проронишь, того я уверена, но во всяком случае не унывай и береги свои силы. Бог тебе поможет и не оставит, а Царь тебе друг и подкрепитель. И ведомо, как ты пишешь и по твоим словам, «проклятое оборонительное состояние», и я его не люблю. Старайся его скорее оборотить в наступательное. Тогда тебе, да и всем, легче будет. И больных тогда будет менее, не все на одном месте будут. Написав ко мне семь страниц, да и много иного, дивишься, что ослабел! Когда увидишь, что отъехать тебе можно будет, то приезжай к нам, я очень рада буду тебя видеть всегда.

По издании Манифеста об объявлении войны великий князь и великая княгиня писали ко мне, просясь: он – в армию волонтером, по примеру 1783 г., а она – чтоб с ним ехать. Я им ответствовала отклонительно: к ней, ссылаясь на письмо к нему, а к нему – описывая затруднительное и оборонительное настоящее состояние, поздней осенью и заботами, в коих оба фельдмаршала [Потемкин и Румянцев] находятся и коих умножают еще болезни и дороговизны, и неурожай в пропитании, хваля, впрочем, его намерение. На сие письмо я получила еще письмо от него с вторительною просьбою, на которое я отвечала, что превосходные причины, описанные в первом моем письме, принуждают меня ему отсоветовать нынешний год отъезд волонтером в армию. После сего письма оба были весьма довольны остаться, расславляя только, что ехать хотели.

16 октября 1787

Друг мой, князь Григорий Александрович. Вчерашний день к вечеру привез ко мне подполковник Баур твои письма от 8 октября из Елисаветграда, из коих я усмотрела жаркое и отчаянное дело, от турков предпринятое на Кинбурн. Слава Богу, что оно обратилось так для нас благополучно усердием и храбростью Александра Васильевича Суворова и ему подчиненных войск. Сожалею весьма, что он и храбрый генерал-майор Рек ранены. Я сему еще бы более радовалась, но признаюсь, что меня несказанно обеспокоивает твоя продолжительная болезнь и частые и сильные пароксизмы. Завтра, однако, назначила быть благодарственному молебствию за одержанную первую победу. Важность сего дела в нынешнее время довольно понимательна, но думаю, что ту сторону (а сие

думаю про себя) не можно почитать за обеспеченную, дондеже Очаков не будет в наших руках. Гарнизон сей крепости теперь, кажется, против прежнего поуменьшился; хорошо бы было, если б остаточный разбежался, как Хотинский и иные турецкие в прошедшую войну, чего я от сердца желаю.

Я удивляюсь тебе, как ты в болезни переехал и еще намерен предпринимать путь в Херсон и Кинбурн. Для Бога, береги свое здоровье: ты сам знаешь, сколько оно мне нужно. Дай Боже, чтоб вооружение на Лимане имело бы полный успех и чтоб все корабельные и эскадренные командиры столько отличились, как командир галеры «Десна».

Что ты мало хлеба сыскал в Польше, о том сожалительно. Сказывают, будто в Молдавии много хлеба, не придется ли войско туда вести ради пропитания?

Буде французы, кои вели атаку под Кинбурн, с турками были на берегу, то, вероятно, что убиты. Буде из французов попадет кто в полон, то прошу прямо отправить к Кашкину в Сибирь, в северную, дабы у них отбить охоту ездить учить и наставить турков.

Я рассудила написать к генералу Суворову письмо, которое здесь прилагаю, и если находишь, что сие письмо его и войски тамошние обрадует и не излишне, то прошу оное переслать по надписи. Также приказала я послать к тебе для генерала Река крест Егорьевский третьей степени. Еще посылаю к тебе шесть егорьевских крестов, дабы розданы были достойнейшим. Всему войску, в деле бывшем, жалую по рублю на нижние чины и по два – на унтер-офицеры. Еще получишь несколько медалей на егорьевских лентах для рядовых, хваленных Суворовым. Ему же самому думаю дать либо деньги – тысяч десяток, либо вещь, буде ты чего лучше не придумаешь или с первым курьером ко мне свое мнение не напишешь, чего прошу, однако, чтоб ты учинил всякий раз, когда увидишь, что польза дел того требует.

Друг мой, князь Григорий Александрович, твой курьер, отправленный по твоем возвращении в Елисавет [град] в 23 день октября, вчерашний день привез ко мне твои письма. Что ты, объехав семьсот верст, ослабел, – о сем весьма жалею. Желаю скорее слышать о совершенном твоем выздоровлении.

О важности победы под Кинбурном и заочно понимательно мне было, и для того отправлено молебствие. Знаменитую же заслугу Александра Васильевича в сем случае я предоставила себе наградить тогда, как от тебя получу ответ на мое письмо, о сем к тебе писанное. Из числа раненых и убитых заключить можно, каков бой упорен был. Я думаю, что огромный турецкий флот ушел к своим портам на зимование. Понеже Кинбурнская сторона

важна, а в оной покой быть не может, дондеже Очаков существует в руках неприятельских, то заневолю подумать нужно об осаде сей, буде инако захватить не можно, по Вашему суждению. Хорошо бы было, если бы то могло сделаться с меньшею потерею всего, паче же людей и времени. Обещанные о сем от вас планы Меллера и Корсакова ожидать буду.

Жаль, что для помещения войск, особливо конных, в подкрепление Кинбурна, жилья нет на той стороне. Я того и смотрю, что ты из тростника построишь дома и конюшни, видя, что из того делают в Херсоне. И сие для меня уже не было бы диво. Весьма мне нравится твое намерение: прежде нежели вступить в зимние квартиры, наведя мосты на Буге и переправя часть генерала Каменского до Бендер, от себя послать до Очакова, дабы очистить от турецких деташементов, и в это время бомбардировать Очаков. Дай Боже, тебе успеха и чтоб гарнизон выбежал, как Хотинский и иные подунайские. Приятно мне слышать, что больные в Херсоне выздоравливают: одинакие ли болезни в Херсоне и в Тавриде, или разные?

Одному из наших консулов с островов Венецианских случилось говорить с турецким каким-то начальником, который его принял за венецианца и ему сказывал, что в бытность мою в Тавриде мечетям и школам и всем их веры людям столько показано добра, щедрости и снисхождения, что и самые мусульмане того бы не делали. Вот как вести кругом ходят.

Надобно, чтоб буря, которая щелкала Севастопольский флот, велика была, что сделала оный совсем неупотребительным. О некомплекте в мушкетерских полках и по той причине о доставлении к ним рекрут, по мере как соберут, уже от меня приказано. Нассау[205] еще не приехал, я посмотрю, как его с лучшей пользою для нас употребить.

Прощай, Бог с тобою.

Ноября 2 числа, 1787

Действия на Кубани и за Кубанью я насилу на карте отыскала и, нашед, вижу, что они для безопасности Кавказской линии и самой Тавриды немаловажны, и надеяться надлежит, что после экспедиции Текеллия[206] уже чрез Тамань наезды не будут.

<…> Французские каверзы по двадцатипятилетним опытам мне довольно известны. Но ныне опознали мы и английские, ибо не мы одни, но вся Европа уверена, что посол английский и посланник прусский Порту склонили на объявление войны. Теперь оба сии дворы от сего поступка отпираются. Питт и Кармартен[207] клялись, что не давали о сем приказаний, и сами

почти признали, что подозревают на самого Короля и Ганноверское министерство.

В «Альтоновской» газете нашла я странный артикул, который я в иное время поставила бы за ложь, но ныне оный привлек мое внимание. Тут написано из Ливорно, что к английским консулам в Средиземном море писал посол Энсли[208], чтоб все английские вооруженные и военные суда, кои покажутся в портах, где английские консулы, прислали к нему. Я сей артикул послала к графу Воронцову, дабы его доставил до сведения Английского министерства, дабы узнать от них, как судят о таком поступке их посла, и если осталась в них хотя крошка доброго намерения, то не возьмут ли намерения отозвать такого человека, на которого вся Европа говорит, что он огонь раскладывал, а они сами говорят, что он то делал без их ведома, – следовательно, им ослушник. Левантская же компания английская, сказывают, что весьма жалуется на Энслий и его мздоимства и корыстолюбие.

Если английские министры желание имеют войти с нами в дружбу и доверенность, то, по крайней мере, не могут себя ласкать, чтоб мы дали доверенности тем (или тому), кои нам тайно и явно враждуют. Они же никогда и ни в какое время ни на какой союз с нами согласиться не хотели в течение двадцати пяти лет. Франция, конечно и бесспорно, находится в слабом состоянии и ищет нашего союза, но колико можно долее себя менажировать. С Франциею и с Англиею без союза нам будет полезнее иногда, нежели самый союз, тот или другой, – понеже союз навлечет единого злодея более. Но в случае, если бы пришло решиться на союз с той или другой державою, то таковой союз должен быть распоряжен с постановлениями, сходными с нашими интересами, а не по дуде и прихотям той или иной нации; еще менее – по их предписаниям.

Я сама того мнения, что войну сию укоротить должно, колико возможно. Я почитаю, что укрощение ея много зависит от Ваших, дай Боже, успехов. Вы столь благоразумно вели двухмесячную оборону, что враг имени христианского и нарушитель мира, приготовясь коварно и лукаво долгое время к войне и объявя ее внезапно, хотя начал тотчас действовать наступательно, не выиграл, однако нигде ни пяди. Буде Вам Бог поможет, как я надеюсь, в нынешних Ваших предприятиях, то тем самым откроется дорога к мирному трактованию и миру. Но к сему не одна наша, но и неприятельская склонность нужна. Теперь они еще горды и надуты своею спесиею и чужим наущением, а визирь, спасая свою голову, будет сутенировать, колико ему можно, им начатое. Но по смене его скорее достигнем. Я же от мира никогда не прочь, но Вы сами знаете, что возвращение Тавриды и

уничтожение всех трактатов и заключение новых – турецкий был предмет, которого не токмо на конференции предлагали, но и в свое объявление войны не постыдились вносить. Французскому двору сказано, что мы от мира не прочь и всегда готовы, когда только сходственно достоинствам Империи, слушать мирные предложения. Шаузель [Гуфье][209] пишет к Сегюру[210], что он старается привлечь паки доверенность турок.

За величайшее несчастие почитать бы можно, если б хлеба не было у нас. Сие несчастие велико во время мира, а еще более, конечно, в военное время, и тогда облегчило бы таковое внутреннее состояние и то, чтоб армию ввести в неприятельскую землю и тамо достать оный. Дабы же дороговизну для солдат облегчить и им доставить мясо, советую Вам на мой собственный счет закупить в Украине или где за удобнее найдете – тысяч на сто рублей или более – баранов и быков, и оными производить порции солдатам по стольку раз в неделю, как за благо рассудите.

Буде никакой надежды к миру чрез зиму не будет, то, как рано возможно, весной отправим отселе флот. Нужно, чтоб оному от Англии не было препятствия, конечно; но, когда мои двадцать кораблей пройдут Гибралтарский залив, тогда, признаюсь, что бы и лестно, и полезно быть могло, чтоб авангард его была эскадра французская, и арьергард оной же нации, а наши бы корабли составляли Кордарме и так бы действовали и шли кончить войну, проходя проливы. За сию услугу и заслужа грехи, французам бы дать можно участие в Египте, а англичане нам в сем не подмогут, а захотят нас вмешать в свои глупые и бестолковые германские дела, где не вижу ни чести, ни барыша, а пришлось бы бороться за чужие интересы. Ныне же боремся, по крайней мере, за свои собственные, и тут, кто мне поможет, тот и товарищ. Касательно же наших торгов с Англиею, тут себе руки связывать не должно. Прощай, мой друг, вот тебе мои мысли.

Ноября 6 числа, 1787

Король Шведский поехал в Копенгаген и в Берлин. Знатно, он у французов ушел, а поехал достать на место французских субсидий – прусских или английских. Странно будет, если Англия ему даст деньги противу датчан.

Il faut avouer que l’Europe est un salmigondis singulier bien dans ce moment[211].

Они, как хотят, лишь бы Бог дал нам с честью выпутываться из хлопот. <…>

9 ноября 1787

Друг мой, князь Григорий Александрович. Я получила

сегодня твои письма от 1 ноября в самое то время, когда я собиралась говорить с Нассау, и теперь, переговоря с ним, так много имею к тебе писать, что воистину не знаю, с чего начать. Сегюр здесь предлагал также готовность его двора войти с нами в союз, как ты уже мог усмотреть из посланных к тебе сообщений и ответ – ему сделанный.

Нассау, говоря со мною, сказал мне теперешние расположения Французского двора и перемены в их образе мысли. Я приняла все сие с приятным видом и сказала, что с удовольствием вижу, что инако думают, нежели думали, и благодарила его за оказанное его усердие и добрые старательства и показывала опасение, чтоб тот двор паки не переменял свое доброе расположение. На что он сам отозвался, что если по получении первого курьера он приметит малейшее колебание в мыслях Французского министерства, то он паки поскачет во Францию, чтоб употребить все свои силы к подкреплению того двора в добрых к нам расположениях. Когда он говорил о сближении союзом, я сказала, что я от него не скрою, что мы в весьма деликатных обстоятельствах в рассуждении нашего торга с Англиею и относительно великого морского нашего отселе вооружения и что для сего мы привыкли находить прибежища в аглинских портах. На сие он предлагал французские, а я сказала, что локальное положение первых удобнее, что все сие, однако, говорится для того более, чтоб изыскивать с ним удобности и неудобности в том или другом положении, и что я признаю и уже видела разные выгоды от дружбы Людовика XVI. И мы расстались весьма ладно, и все говорено, что можно было. Оне вооружаются и войну иметь будут, ибо сами чувствуют, что от голландского дела, если его оставить так, потеряют всю свою консидерацию.

Нассау мне сказал, что французы считают иметь Короля Шведского в своем кармане, а я ему говорила, чтоб они лишне на сего человека не надеялись, что доказывает езда сего в Копенгаген и даже, говорят, в Берлин, и что Король Шведский будет в кармане того, кто ему дает денег, чем иногда и неприятели Франции могут воспользоваться. Вот тебе, друг мой любезный, чистая исповедь происходящего между мною и Нассау.

Возвращаюсь к твоим письмам. Во-первых, спасибо тебе за оные, и что ты так откровенно и прямо дружески ко мне пишешь, и при всех хлопотах по месту и должности, однако, и сердечным чувством, и тобою чрезвычайно довольна, и ты развернул свету в нынешнее время такое обширное и искусное знание и поведение, которое моему выбору и тебе делает честь, и я тебя люблю вдвое более еще. Вижу, что Очаков тебе делает заботу: я, тут уже отдавая тебе полную волю, лишь Бога прошу, чтоб благословил

твои добрые предприятия.

Я, видя из твоих писем подробную службу Александра Васильевича Суворова, решилась к нему послать за веру и верность Святого Андрея, который сей курьер к тебе и повезет.

Помоги тебе Бог очистить степь за Очаков и к Бендерам и побить и отогнать нового хана от наших жилищ.

Сегюр имеет от Шаузеля письмо, будто визирь уже в колебленном состоянии и будто на него ропщут за объявление войны и что доныне остается в недействии.

Что хлопоты тебя не допустят побывать здесь, хотя на короткое время, о сем весьма жалею. Я б к тебе бы поскакала, если сие можно было делать без прибавления хлопот.

Что твое здоровье поправляется, сие служит мне к великому утешению, понеже люблю тебя весьма и тобою очень, очень довольна.

Фрегаты построить велю с большой артиллериею и по твоему чертежу. О потере корабля «Мария Магдалина» более говорить не буду: что сделано, то сделано, так же и о других потерянных судах. <…>

Отпиши, пожалуй, каковы раненые и больные, и посылал ли ты мое первое письмо к Суворову?

Друг мой, князь Григорий Александрович. Тебе известно, с чем Нассау сюда приехал, и, приехавши, я его выслушала. Вскоре потом Сегюр послал курьера во Францию, которого он и Нассау нетерпеливо ждали. Сей курьер на сих днях и действительно возвратился, и Сегюр после того имел конференцию с Вице-канцлером, в которой искал своему разговору дать вид такой, будто я ищу со Францией установить союз и чтоб для того отселе посланы были полномочия во Францию, чтоб о том деле тамо трактовать, а не здесь. Нассау же просил, чтоб я его к себе допустила, и, пришед, мне сказал, что он в крайней откровенности и с глубоким огорчением долженствует мне сказать, что Французский двор его во всем здесь сказанном совершенно desavouepoeyet[212] и что оный двор с Лондонским в негосиации находится, чего он от меня не скроет. Сколько во всех сих или предыдущих разговорах правды или коварства, оставляю тебе самому разбирать: но о том нимало не сомневаюсь, что то и другое – более со стороны двора, нежели Нассау и Сегюра. Первый теперь едет к тебе, ибо более здесь остаться не хочет. И если поступит сходственно желанию его двора, то будет искать тебя отвратить ото всякого предприятия противу турок, к которым, кажется, наклонность как Французского, так и Английского министерства и двора равносильна в нынешнее

время. Гордое и надменное письмо лорда Кармартена к здешнему политичному щенку Фрезеру к тебе послано. Отчет подобный никакой двор у другого требовать не властен. Они же нам взамен ничего не предлагают, да и посла своего бешеного нам в сатисфакцию не отзывают: одним словом, и тот, и другой двор поступают равно коварно и огорчительно тогда, когда они от нас никогда не видали огорчения или каверзы против себя, и мы их во всяком случае менажировали.

О неудачном предприятии на Белград со стороны цесарской Вам, чаю, уже известно. Лучшее в сем случае есть то, что сей поступок обнаружил намерение Цесаря пред светом и что за сим уже неизбежно война воспоследует у него с турками.

Я тобою, мой друг, во всем была бы чрезвычайно довольна, если б ты мог себя принудить чаще ко мне писать и непременно отправить еженедельно курьера. Сей бы успокоил не токмо мой дух, сберег бы мое здоровье от излишних беспокойств и отвратил бы не одну тысячу неудобств. В сей час ровно месяц, как от Вас не имею ни строки. Из каждой губернии, окромя имени моего носящей, получаю известия дважды в месяц, а от Вас и из Армии – ни строки, хотя сей пункт есть тот, на который вся мысль и хотение устремлены. C'est me faire mourir de mille morts, mais pas d'une[213]. Вы ничем живее не можете мне казать привязанность и благодарность, как писать ко мне чаще, а писать из месяц в месяц, как ныне, – сие есть самый суровый поступок, от которого я страдаю ежечасно и который может иметь самые злые и неожидаемые и нежелаемые от Вас следствия.

Прощайте, Бог с Вами.

Декабря 30 числа, 1787

С Новым годом Вас поздравляю.

11 января 1788

Друг мой, князь Григорий Александрович. Письма твои от 25 декабря и от 3 января до моих рук доставлены. Из первого с удовольствием усматриваю, что ты с оскорблением принял мысли, будто бы в твоих мыслях колебленность место иметь могла, чего и я не полагала. Прусский двор менажируем, но, на его вражеское поведение при разрыве в Цареграде смотря, немного доброго от него ожидать нам. При сем посылаю тебе примечания о польском плане. Что ты был болен, возвратясь из Херсона, о том весьма жалею; и я несколько похворала, но теперь оправилась. Здесь в один день и оттепель, и от двадцати до двадцати пяти градусов мороза.

Что твои заботы велики, о том нимало не сомневаюсь, но тебя, мой свет, станет на все большие и малые заботы. Я дух и

душевные силы моего ученика знаю и ведаю, что его на все достанет. Однако будь уверен, что я тебя весьма благодарю за твои многочисленные труды и попечения. Я знаю, что они истекают из горячей твоей любви и усердия ко мне и к общему делу.

Пожалуй, отпиши ко мне, что у тебя пропало судов в прошедшую осень, чтоб я могла различить всеместное вранье от истины, и в каком состоянии теперь эскадра Севастопольская и Днепровская? Дай Бог тебе здоровья в таких трудных заботах. Будь уверен, что хотя заочно, но мысленно всегда с тобою и вхожу во все твои беспокойства по чистосердечной моей к тебе дружбе. И то весьма понимаю, что будущие успехи много зависят от нынешних приготовлений и попечений. Помоги тебе Всевышний во всем и везде.

Если тебе удастся переманить запорожцев, то сделаешь еще дело доброе, если их поселишь в Тамани, je crois que c'est vraiment leur place[214]. <…> Что пишешь об окончании укрепления Кинбурна, об оборонительном состоянии Херсона и о заготовлении осады Очаковской, – все сие служит к моему успокоению и удовольствию. Предприятия татарские авось-либо против прежних нынешний раз послабее будут, а если где и чего напакостят, то и сие вероятно, что будет немного значущее и им дорого станет.

13 января 1788

<…> С чужестранными консулами в Херсоне можешь поступать без церемонии. Вели им сказать учтиво, что до заключения мира Херсон не торговый город, но крепость военная, в которой пребывание их более не может иметь места по военным обстоятельствам, и чтоб ехали восвояси, а здесь дворам о сем же дастся знать. <…>

Друг мой, князь Григорий Александрович. В американской войне именитый английский подданный Пауль Жонес[215], который, служа Американским колониям, с весьма малыми силами сделался самим англичанам страшным, ныне желает войти в мою службу. Я, ни минуты не мешкав, приказала его принять, и велю ему ехать прямо к вам, не теряя времени. Сей человек весьма способен в неприятеле умножить страх и трепет. Его имя, чаю, Вам известно. Когда он к Вам приедет, то Вы сами лучше разберете, таков ли он, как о нем слух повсюду. Спешу тебе о сем сказать, понеже знаю, что тебе небесприятно будет иметь одною мордашкою более на Черном море. Дай Боже тебе здоровья, а мне – скорее получить известие о твоем

выздоровлении. Последнее твое письмо меня тревожит, понеже ты разнемогался. Обещанный курьер чрез дни – доныне не бывал. Прощай, мой друг.

Февраля 13 числа, 1788

22 февраля 1788

Друг мой, князь Григорий Александрович. К тебе князь Василий Долгорукий везет мое письмо, чрез которое тебя уведомляю, что именитый Пауль Жонес хочет к нам войти в службу. А как я вижу, что приезд Кингсбергена весьма вдаль тянется, и буде приедет, то приедет поздно, а быть может, что и вовсе не приедет, то я приказала Пауля Жонеса принять в службу, и прямо поедет к Вам. Он у самих англичан слывется вторым морским человеком: адмирал Гов[216] – первый, а сей – второй. Он четырежды побил, быв у американцев, англичан. Кингсбергена[217] же постараюсь достать, но по причине того, во-первых, что он от генеральных Штатов имеет лишь годовой отпуск, по конец которого он должен в мае явиться в Голландию (где имеет расчетное по Средиземному морю своей экспедиции дело) и потом взять увольнение, которое еще неизвестно получит ли; также тестя своего, Ван Гофта, которого хочет вывезти или на покое заставить жить, ибо боится, чтоб его за патриотизм не повесили на восьмидесятом году, из чего Вы сами увидите, что Кингсберген к весенним действиям никак не поспеет, а другой авось-либо доедет ранее первого.

Что ты, мой друг, при отпуске последнего своего письма был слаб и что у тебя больных много, о том весьма жалею. О сих пришли ко мне хотя ежемесячный репорт, также об убыли. Что ты об больных печешься, о сем я весьма уверена. Подкрепи Бог твои силы.

Татарской предприимчивости, по-видимому, против прежних лет и веков поубавилось. По заграничным известиям, везде христиане единоверных своих ожидают, как израильтяне Мессию. Что верные запорожцы верно служат, сие похвально, но имя запорожцев со временем старайся заменить иным, ибо Сеча, уничтоженная манифестом, не оставила по себе ушам приятное прозвание. В людях же незнающих, чтоб не возбудила мечты, будто за нужно нашлось восстановить Сечу либо название.

Достохвальные твои распоряжения держали во всю зиму неприятеля в великом респекте. Зима здесь очень сурова, и вижу, что и у вас на оную жалуются. Мне кажется, что цесарцы под Хотином сделали петаду [беспорядок], немного разнствующую от белградской. Манифест их об объявлении войны повсюду публикован.

Поляков решить теперь приказано будет. Графа Броницкого бригада примкнет к войскам, под твоим руководством и командою находящимся, да и прочих поляков отдать под команду тебе не трудно уже будет тогда. Касательно волонтеров я тебе скажу, что я доныне не давала дозволения ни нашим, ни чужестранным ехать в армии по той причине, что в прошедшей войне в последней кампании уже положено было волонтеров никаких не принимать. Знатнейшие – были командирам в тягость. Ныне же, когда повсюду недостаток и дороговизна в хлебе (а подымалось волонтеров сотнями), то я думала, что много едунов излишних в армии умножат дороговизну и недостаток. Вы же жаловались на писателей ложных вестей. Из Херсона и консулов я велела выслать, а тут бы нашлось число их еще умножено. Представить себе не можете, сколько их подымалось: действительно сотнями. Тут же разбора делать нельзя и сказать – добрый поезжай, худой останься. Датчан ехало тридцать, пруссаков – пятьдесят, наши целыми полками записались; французов, итальянцев, испанцев, немцев, шведов, голландцев – дождь волонтеров шел. Сим я отделалась, что никого не приняла. Когда Бог даст пропитание достаточное и не скудное, тогда можно будет повсюду сообщенный уже отказ разрешить. <…>

Севастопольской гавани неудобство то, что не имеет реки, по которой довезти бы можно, но сие не в нашей возможности поправить, и Вы делаете, подвозя сухим путем таковые тягости, конечно, сверх возможности. <…>

Друг мой, князь Григорий Александрович. Из письма твоего от 15 февраля вижу я, что при несовершенном здоровье твоем ты принужден по причине болезни твоей канцелярии все сам писать; а как и Попов очень болен, то пришло мне на ум прислать к тебе на время твоего старого правителя канцелярии Турчанинова; если иного нет, то, по крайней мере, он проворен, как сам знаешь. Употреби его либо возврати его обратно, как тебе угодно.

Пока у вас реки вскрываются и грязи, у нас еще зима глубокая, лед толстый, и снег ежедневно умножается. Добрым твоим распоряжением сия война с турками есть первая еще, в которой татары в Россию не ворвались никуда. Происшествия Хотинские суть третья петада, по моему счету, которую цесарцы сделали. Послу со всякою благопристойностью сказано, что мы имя Цесаря без его дозволения или согласия не употребляем никогда и для того на сии польские вести мало полагаемся, ибо оттудова часто приходят ложные и непристойные.

Касательно польских дел – в скором времени пошлются приказания, кои изготовляются для начатия соглашения; выгоды

им обещаны будут; если сим привяжем поляков и они нам будут верны, то сие будет первый пример в истории постоянства их. Если кто из них (исключительно пьяного Радзивилла[218] и гетмана Огинского[219], которого неблагодарность я уже испытала) войти хочет в мою службу, то не отрекусь его принять, наипаче же гетмана графа Броницкого, жену которого я от сердца люблю и знаю, что она меня любит и памятует, что она русская. Храбрость же его известна. Также воеводу Русского Потоцкого[220] охотно приму, понеже он честный человек и в нынешнее время поступает сходственно совершенно с нашим желанием. Впрочем, поляков принять в армию и сделать их шефами подлежит рассмотрению личному, ибо ветреность, индисциплина или расстройство и дух мятежа у них царствуют. Оной же вводить к нам, наипаче же в армии и корпуса, ни ты, ни я и никто, имея рассудок, желать не может, но всячески стараемся оные отдалить от службы, колико можно. Впрочем, стараться буду, чтобы соглашение о союзе не замедлилось, дабы нация занята была.

Что рекруты собраны поздно, сему причиною отдаленность мест и образ и время, когда объявлена война. Я о сем сведала в конце августа, а в первых числах сентября первый набор приказан был, который, я думала по первым известиям, достаточен. Вскоре же потом и второй последовал. Дай Боже, чтоб болезни прекратились. Если роты сделать сильнее, то и денег, и людей более надобно. Вы знаете, что последний набор был со ста душ. Деньгами же стараемся быть исправны, налогов же наложить теперь не время, ибо хлебу недорода, и так недоимок немалое число. Отгон скота в семи верстах от Очакова донцами и верными запорожцами и прогон турецкой партии я усмотрела с тем удовольствием, которое чувствую при малейшем успехе наших войск. <…>

Признаться должно, что мореходство наше еще слабо и люди непривычны и к оному мало склонны. Авось-либо в нынешнюю войну лучше притравлены будут. Морские командиры нужны паче иных. На Кингсбергена не считаю, понеже разные связи его вяжут доныне. Дела в Голландии не кончены. Принц Оранский старается сделаться владетелем, жена его собирает под рукою себе партию, а патриоты паки усиливаются. Надо ждать весны, что там покажет.

Прощай, мой друг, будь здоров. Бог с тобою. Я здорова.

Февраля 26 числа, 1788

24 марта 1788

Друг мой, князь Григорий Александрович. Слух носится у Швеции, будто Король Шведский в намерении имеет нас

задирать. Граф Разумовский, о сем слухе говоря с старым графом Ферзеном[221], сей ему сказал, что без сумасшествия сему верить нельзя, mais que d'un cerveau un peu derange on peut tout attendre[222]. Что заподлинно в сем деле есть, – то, что в Карлскрону послано приказание вооружить двенадцать военных кораблей и несколько фрегатов. Деньги в Голландии негосиирует, и в Финляндии Шведской делаются приготовления к лагерям. Также три полковника из Финляндии призваны к Королю в Стокгольм и паки отправлены в Финляндию. Генерал Поссе[223] объезжает границу и делает магазин – 14 000 бочек всякого хлеба; сам же Король поехал в Упсалу на несколько времени. Все сие видя и слыша, благоразумие требует, не тревожась, взять приличные случаю осторожности, дабы пакости какой неприличной не учинил. И для того, окроме вооружения флота, который пойдет в Архипелаг, вооружить здешние пять да от города Архангельского – столько же кораблей и фрегат, держать наготове галеры и гребные суда и оным предписать разъезд для сбережения наших берегов от нечаянной высадки и тому подобного. Здешние полки и остзейские гарнизоны приводить в комплектное состояние, такожде артиллерию и тому принадлежащее. На все сие, касательно людей, требуется до осьмнадцати тысяч рекрут. От архиереев подано еще прежде сего, что излишних церковников есть до двадцати четырех тысяч; из оных годные в военной службе быть могут, иные сами требуют записаться в оную.

Петербургская губерния еще никогда не давала рекрут, с нее брать и набрать можно до семи сот. Я перечитала на сие время все прежние планы и почитаю, что ныне остаться должно при демонстрации на демонстрацию. Буде же заподлинно вздумает нас задирать, то оборону обратить в наступление. Есть подозрение, будто целит на Лифляндию: он туда посылал полковника Армфельда, нивесть, чтоб его сбыть либо заподлинно узнать тамошние места, но потом отменил. Еще бы был способ к комплектованию, но к сему также приступить еще опасаюсь по причине родить могущие неудобности: то есть в столицах обеих находящихся беглых, к ружью способных, отдать в полки, чтоб служили, дондеже хозяев отыщут, либо с засчетом. Из сего родиться будет ропот, сие известно, и умножить может побеги, а люди надобны. Буде бы крайность была, я чаю, и по подписке самих помещиков в городе здесь соберется великое число, но во всем недели две розницы не сделают большой розницы. Рассудила писать к тебе: дай совет, как комплектовать? Магазины мы соберем и все приготовления прочие сделаем без огласки. Пока флот еще в Балтике, опасаться нечего. Если пакости быть, то

по выходе оного. Шевелить Его Величеству нельзя, чтоб и датчане с нами общего дела не делали; итак, чаю, поодумывается, но хорошо на всякий случай приводить здешний край в почтительное состояние. Башкир и калмыков приведем сюда хотя тысячи две.

Письма твои от 4 марта я получила и на оные не ответствовала доныне, чтоб приводить в некоторую ясность вышеописанное. Видно, что грек, который взял в Аджибее судно, а тобою произведен мичманом[224], отревожил весь тот берег и до самого Очакова, что пальба их везде слышна была. Добрым твоим распоряжением, надеюсь, что все ко времени поспеет. Жалею лишь о том, что ты из сил выбился. Морских офицеров надеюсь до тебя доставить добрых. Пауль Жонес приехал уже в Копенгаген, и думаю, что скоро получу известие, что принят и к тебе поедет. Принц Оранский к Кингсбергену послал увольнение: я думаю, что он ему в тягость, понеже не переставал ему твердить о умножении флота, а сей ту часть терпеть не может, а старается о сухопутной, чтоб иметь, чем обуздать голландцев.

27 мая 1788

Друг мой любезный, князь Григорий Александрович. Вчерашний день, когда я сбиралась ответствовать обстоятельно на твое письмо от 10 сего месяца, тогда приехал Рибопьер[225] с его отправлением от 19 мая. Исправное и подробное твое описание состояния дел и действий, также отправление курьеров чаще прежнего служит к моему удовольствию и спокойствию душевному. Я вижу из твоих писем вообще разумные твои распоряжения, что все уже в движении и что во всех случаях и везде соответствуешь в полной мере моей к тебе доверенности и моему выбору. Продолжай, мой друг, как начал. Я надеюсь, что Бог благословит твою ревность и усердие ко мне и к общему делу и увенчает твои предприятия успехами. А во мне, будь уверен, – имеешь верного друга.

От фельдмаршала Румянцева давным-давно я писем не имею и не ведаю, что он делает, а только о сем знаю чрез письма его, которые ты ко мне присылаешь. Уже скажет, я чаю, что смерть матери его погрузила в такую печаль, что писать не мог.

Мичману Глези и полковнику Платову Владимирские кресты даны в крестины Великой Княжны Екатерины. Мне Рибопьер сказал, что ты Пауля Жонеса весьма ласково принял, чему я тем паче радуюсь, что он несколько опасался, что он тебе не понравится. Но я его уверила, что с усердьем и ревностью тебе весьма легко угодить можно и что ты его приезд ожидаешь нетерпеливо, с чем и поехал.

И вслед за ним для подкрепления его в добрых расположениях я к нему послала оригинальное письмо Симолина[226], тогда полученное, в котором прописано было, как ты домогался Пауля Жонеса достать, что служить могло ему доказательством, как ты к нему расположен и об нем думаешь.

На оставление Крыма, воля твоя, согласиться не могу. Об нем идет война; если сие гнездо оставить, тогда и Севастополь, и все труды, и заведения пропадут, и паки восстановятся набеги татарские на внутренние провинции, и Кавказский корпус от тебя отрезан будет, и мы в завоевании Тавриды паки упражнены будем, и не будем знать, куда девать военные суда, кои ни во Днепре, ни в Азовском море не будут иметь убежища. Ради Бога, не пущайся на сии мысли, коих мне понять трудно и мне кажутся неудобными, понеже лишают нас многих приобретенных миром и войною выгоды и пользы. Когда кто сидит на коне, тогда сойдет ли с оного, чтоб держаться за хвост? Впрочем, будь благонадежен, что мысли и действия твои, основанные на усердии, ревности и любви ко мне и к Государству, каков бы успех ни был, тебе всеконечно в вину не причту.

В Польшу давно курьер послан и с проектом трактата, и думаю, что сие дело уже в полном действии. Универсал о созыве Сейма уже в получении здесь. Граф Чернышев сюда возвратился.

Из письма твоего от 19 мая вижу, что ты получил мое извещение о рождении моей внуки Екатерины. При сем случае родители ея оказались против прежнего ко мне гораздо ласковее, понеже почитают некоторым образом, что я матери спасла живот, ибо жизнь ея была два часа с половиною в немалой опасности от единого ласкательства и трусости окружающих ее врачей, и, видя сие, ко времени и кстати удалось мне дать добрый совет, чем дело благополучно кончилось, и теперь она здорова, а он [великий князь Павел Петрович] собирается к вам в армию, на что я согласилась, и думает отселе выехать двадцатого июня, то есть после шести недель чрез день, буде шведские дела его не задержат. Буде же полуумный Король Шведский начнет войну с нами, то великий князь останется здесь, и я графа Пушкина назначу командиром армии против шведов, а Брюс[227] – бесись, как хочет: как мне дураку, который неудачу имел, где был, вверить такую важную в теперешнее время часть.

Шведские дела теперь в самом кризисе. Что по оным делается и делалось – усмотришь из сообщаемых тебе с сим курьером бумаг. О вооружениях наших для Средиземного моря, о которых всем дворам сообщено и, следовательно, и шведскому, Король Шведский притворяется, будто принимает, что то все против него, и в Карлскроне делает заподлинно великое вооружение. Команду

сего флота дал своему брату, поехал теперь в Карлскрону выводить корабли на рейд, а пред тем собрал Сенат и оному объявил, что как Россия против него вооружается и его всячески к войне провоцирует (к сему прибавил лжей и клеветы на нас и на своего министра Нолькена), то он должен готовиться к войне же. Все сенаторы хвалили его бдение. Выехавши из Сената, приказал галеры вооружить и его гвардии и еще шести полкам готовиться к переправе в Финляндию, куда, возвратясь из Карлскроны, сам отправиться намерение имеет. Подозревают, что Порта ему дала денег на сие вооружение. Пока Король сии распоряжения делал, его министр призвал датского министра и ему говорил, что, видя российское вооружение, он должен вооружиться, и что надеется на их дружбу, что ему сие не почтут в недружбу. С сими вестьми курьер приехал от Разумовского. К сему разговору Оксеншерны[228] с датским министром и от сего последнего сюда сообщенного теперь возьмем повод к объяснению: Вице-канцлер скажет Нолькену, а Разумовский в Стокгольме Оксеншерну, как ты увидишь из бумаг, и может быть, что дело кончится тем, что Король, приехавши в Финляндию, со мною обошлется, как обыкновенно, комплиментом и своею демонстрациею будет доволен. Но буде вздумает воевать, то стараться будем обороняться, а что с кого-нибудь получил денег, о том сомнения нет. Средиземную эскадру теперь выводят на рейд, такожде войска отчасти уже посажены на суда. Датские и английские транспортные к нам явились с тем только, чтоб имели наш флаг. Сей им я дозволила, и о том и спора нет. Посмотрим, будут ли шведы сему флоту препятствовать выйти из Балтики или нет, и получили ли на то денег. Все сие в скором времени откроется.

Что греки у тебя весьма храбро поступают – сему радуюсь, а что наших наука погубила, быть легко может. Турки кажутся в немалом замешательстве. Странно, что чужестранные у тебя захотели лучше гусарский наряд, нежели иной, а с сим нарядом пошли в передовую конницу. Александр Васильевич Суворов сделает, как я вижу, контрвизит Очакову. Бог да поможет вам.

Кто, мой друг, тебе сказывал, будто Император мне и чрез своего посла Вице-канцлеру жаловался на несодействие твоей армии, тот совершенно солгал. О сем ни единого слова ни я, ни Вице-канцлер ни в какое время не слыхали ни прямо, ни стороною. Впрочем, кому известно столько, как мне самой, – с открытия войны сколько ты трудов имел: флот чинил и строил, формировал снова пехоту и конницу, собрал в голодное время магазины, снабдил артиллерию волами и лошадьми, охранял границу, так что во всю зиму ни кота не пропускал. (<…> Сему еще примеру не было, и сему же я многократно дивилась) и

Кинбурн предохранил. <…>

26 июня 1788

Друг мой любезный. Сего утра я получила чрез графа Апраксина твои письма, коими меня уведомляешь, что Всевышний даровал нам победу, что флот капитан-паши гребною флотилиею разбит; шесть кораблей линейных сожжены, два посажены на мель, а тридцать судов разбитых спаслись под своею крепостию; что капитан-пашинский и вице-адмиральский корабли истреблены и более трех тысяч в плен нам попались и что батареи генерала Суворова много вреда сделали неприятелю. Сему я весьма обрадовалась. Великая милость Божия, что дозволил чудесно гребными судами победить военные корабли. Ты получишь рескрипт, в котором написаны награждения. Нассау даю три тысячи душ, Алексиано – шестьсот, и кресты посланы. Тебя, моего друга, благодарю за твои труды и попечения, и да поможет тебе сам Бог. С нетерпением будем ждать подробностей всего сего, и прошу всем сказать от меня величайшее спасибо. <…>

Друг мой, князь Григорий Александрович. Письма твои от 17 ноября вчерашний день я получила и из оных вижу, что у вас снег и стужа, как и здесь. Что Вы людей стараетесь одевать и обувать по-зимнему, то весьма похваляю. О взятии Березани усмотрела с удовольствием. Молю Бога, чтоб и Очаков скорее сдался. Кажется теперь, когда флот турецкий уехал, уже им ждать нечего. Пленному, в Березани взятому двубунчужному Осман-паше, жалую свободу и всем тем, кому ты обещал. Прикажи его с честью отпустить. Из Царяграда друзья капитан-паши домогаются из плена нашего освободить какого-то турецкого корабельного капитана, как увидишь из рескрипта, о том к тебе писанного. <…>

Ненависть противу нас в Польше восстала великая. И горячая любовь, напротив, – к Его Королевскому Прусскому Величеству. Сия, чаю, продлится, дондеже соизволит вводить свои непобедимые войска в Польшу и добрую часть оной займет. Я же не то чтоб сему препятствовать, и подумать не смею, чтоб Его Королевскому Прусскому Величеству мыслями, словами или делом можно было в чем поперечить. Его Всевысочайшей воле вся вселенная покориться должна.

Ты мне повторяешь совет, чтоб я скорее помирилась с Шведским Королем, употребя Его Королевское Прусское Величество, чтоб он убедил того к миру. Но если бы Его Королевскому Прусскому Величеству сие угодно было, то бы

соизволил Шведского не допустить до войны. Ты можешь быть уверен, что сколько я ни стараюсь сблизиться к сему всемогущему диктатору, но лишь бы я молвила что б то ни было, то заверно уничтожится мое хотение, а предпишутся мне самые легонькие кондиции, как, например: отдача Финляндии, а может быть, и Лифляндии – Швеции; Белоруссии – Польше, а по Самаре-реке – туркам. Я если сие не приму, то войну иметь могу. Штиль их, сверх того, столь груб, да и глуп, что и сему еще примеру не бывало, и турецкий – самый мягкий в рассуждении их.

Я Всемогущим Богом клянусь, что все возможное делаю, чтоб сносить все то, что эти дворы, наипаче же всемогущий прусский, делают. Но он так надулся, что если лоб не расшибет, то не вижу возможности без посрамления на все его хотения согласиться: он же доныне сам не ведает, чего хочет, либо не хочет.

Теперь Английский Король умирает, и если он околеет, то авось-либо удастся с его сыном (который Фокса[229] и патриотической английской партии доныне слушался, а не ганноверцев) установить лад. Я ведаю, что лиге немецкой очень не нравились поступки прусские в Дании.

Позволь сказать, что я начинаю думать, что нам всего лучше не иметь никаких союзов, нежели переметаться то туды, то сюды, как камыш во время бури. Сверх того, военное время не есть период для сведения связи. Я ко мщению несклонна, но что чести моей и Империи и интересам ее существенным противно, то ей и вредно: провинции за провинциею не отдам; законы себе предписать – кто даст – они дойдут до посрамления, ибо никому подобное никогда еще не удавалось, они позабыли себя и с кем дело имеют. В том и надежду дураки кладут, что мы уступчивы будем!

Возьми Очаков и сделай мир с турками. Тогда увидишь, как осядутся, как снег на степи после оттепели, да поползут, как вода по отлогим местам. Прощай, Бог с тобою. Будь здоров и благополучен. О Максимовиче[230] жалею очень.

Ноября 27, 1788

16 декабря 1788

За ушки взяв обеими руками, мысленно тебя целую, друг мой сердечный, князь Григорий Александрович, за присланную с полковником Бауром весть о взятии Очакова. Все люди вообще чрезвычайно сим счастливым происшествием обрадованы. Я же почитаю, что оно много послужит к генеральной развязке дел. Слава Богу, а тебе хвалу отдаю и весьма тебя благодарю за сие важное для Империи приобретение в теперешних обстоятельствах. С величайшим признанием принимаю рвение и

усердие предводимых Вами войск от вышнего до нижних чинов. Жалею весьма об убитых храбрых мужах; болезни и раны раненых мне чувствительны, желаю и Бога молю об излечении их. Всем прошу сказать от меня признание мое и спасибо. Жадно ожидаю от тебя донесения о подробностях, чтоб щедрою рукою воздать кому следует по справедливости. Труды армии в суровую зиму представить себе могу, и для того не в зачет надлежит ей выдать полугодовое жалованье из экстраординарной суммы. <…>

[Конец апреля 1789]

Когда мне скажешь, какие недостатки во флоте, тогда поправить приказания дать можно будет.

Касательно артиллерии скажу, что теперь весьма трудно в ней сделать перемену, ибо, не знав куда чего повезешь, в нужде здесь не сыщу, в чем иногда крайность быть может. Я в прошедшее лето видела таковые обстоятельства, что, когда об них вздумаю, так волосы дыбом станут. Тогда писать к тебе некогда и ждать от тебя, что нужно, за собою потянуть может великие неудобности, а мимо тебя никто не осмелится за чего взяться. Бога для, на теперешний случай и когда так близко возле столицы театр войны, оставь вещи как есть. Теперь ли время завода и перемен частей.

Награждение я тебе с радостью уделю. Но от сего, любя меня, теперь откажись. Если б в мирное время ты б разделил Военную Коллегию, как мой проект был, на столько департаментов, как служба требовала, то бы и артиллерия тут же давно входила. Ты знаешь мое к тебе расположение. Мне об ней говорить нечего. Доверенность равно велика, но необходимость переменить не могу.

24 июля 1789

Друг мой сердечный, князь Григорий Александрович. Письмо твое от 9 июля с приложенной запискою я получила исправно. Что враги России и мои равномерно и тебе ищут делать досады – сему дивиться нечего, ибо ты им опаснее всех по своим качествам и моей к тебе доверенности. Авось-либо Бог нам будет заступником. Не упущу случая, будь уверен, где только можно будет, выводить на белый свет коварства Прусского двора. Охранительный, от тебя обещанный план ожидаю теперь, и что скорее пришлешь, то лучше.

Бог да будет тебе помощником. Будь здоров и весел, а мы ждем от тебя ответа на посланные отселе пред сим письма.

21 июля 1790

Друг мой сердечный, князь Григорий Александрович. Дарованная нам от Бога над турецким флотом победа[231], о которой ты краткую записку приложил при отправлении твоих писем от 13 июля, меня много обрадовала. Теперь живу во ожидании присылки от тебя обстоятельного известия о сем деле. Между тем получишь с сим курьером о здешних происхождениях уведомления. Чрез несколько дней узнаем, коварно ли или с прямым намерением заключить мир Король Шведский завел беспосредственные переговоры о сем деле. Если заподлинно правда, как слух носится, что в Швеции завелись замешательства, то чаю, что непродолжительно мир совершится. По пленным судя, кои при Выборгском деле взяты, то Его Величество у них ныне не в лучшем кредите. Я чаю, когда турки услышат, что он мирится, а пруссак мешкает, поляки же от наступления отнекиваются, то неужели что они глаза не откроют. Чего им ждать лучшее, как получить мир, потеряв лишь по Днестр, а Король Шведский, да и Прусский, с них бездну денег возьмут, а на пядень барыша не принесут. Прощай, Бог с тобою, пиши почаще.

Англичане или, лучше сказать, Король Английский слепо предался в веление Прусского. Ежели же Венский двор особенно помирится, мы останемся, как были в прошедшей войне, и хуже не будет, как доныне было. А ежели пруссаки нас задерут, то Венский двор должен будет вступиться. Но до сего, вероятно, что не дойдет, ибо наступательно ежели ему поступать, то его союзники поодумаются.

У нас три дни лето было, а вчера опять стало дождливо. Однако хлеба и сено повсюду весьма изобильны. Будь здоров. Я при всех хлопотах довольно здорова. <…>

Друг мой сердечный, князь Григорий Александрович. Сегодня разменяют в Вереле ратификации мирные со шведом, и сей курьер отправляется к тебе, чтоб тебе сообщить сюда присланные, по-моему, постыдные декларации, размененные в Рейхенбахе. Касательно до нас предписываю тебе непременно отнюдь не посылать никого на их глупый конгресс в Бухарест, а постарайся заключить свой особенный для нас мир с турками, в силу тебе данной и мною подписанной инструкции.

Пруссак паки заговаривает полякам, чтоб ему уступили Данциг и Торун, сей раз на наш счет лаская их, им отдает Белоруссию и Киев. Он всесветный распорядитель чужого. Гольцу[232] сделан будет учтивый ответ, ничего не значущий, на его сообщение о Рейхенбахской негосиации. Прощай, мой друг, Бог с тобою.

Августа 9 числа, 1790

Одну лапу мы из грязи вытащили. Как вытащим другую, то пропоем Аллилуйя. <…>

Друг мой любезный, князь Григорий Александрович. Чрез сии строки ответствую на письма твои от 3, 16 и 18 августа. Касательно несчастной потери части флотилии[233], о коей упоминаешь, вот каково мое было поведение в сем деле: кой час Турчанинов ко мне приехал с сим известием, я более старалась умалять несчастье и поправить как ни на есть, дабы неприятелю не дать время учинить нам наивящий вред. И для того приложила всевозможное попечение к поднятию духа у тех, кои унывать бы могли. Здесь же выбрать было не из много излишних людей, но вообще действовано с наличными, и для того я писала к Нассау, который просил, чтоб я его велела судить военным судом, что он уже в моем уме судим, понеже я помню, в скольких битвах победил врагов Империи; что нет генерала, с коим не могло случиться несчастье на войне, но что вреднее унынья ничего нет; что в несчастии одном дух твердости видно. Тут ему сказано было, чтоб он собрал, чего собрать можно, чтоб истинную потерю описал и прислал, и все, что надлежало делать и взыскать, и, наконец, сими распоряжениями дело в месяц до того паки доведено было, что шведский гребной флот паки заперт был, и в таком положении, что весь пропасть мог, чего немало и помогло к миру.

Что ты сей мир принял с великой радостью, о сем нимало не сомневаюсь, зная усердие твое и любовь ко мне и к общему делу. Ласкательно для меня из твоих уст слышать, что ты оный приписуешь моей неустрашимой твердости. Как инако быть Императрице Всероссийской, имея шестнадцать тысяч верст за спиною и видя добрую волю и рвение народное к сей войне. Теперь что нас Бог благословил сим миром, уверяю тебя, что ничего не пропущу, чтоб с сей стороны нас и вперед обеспечить, и доброе уже начало к сему уже проложено. От Короля Шведского сюда едет генерал Стединг[234], а я посылаю фон дер Палена[235] на первый случай.

Я уверена, что ты со своей стороны не пропустишь случай, полезный к заключению мира: неужто султан и турки не видят, что шведы их покинули, что пруссаки, обещав им трактатом нас и Венский двор атаковать в прошедшую весну, им чисто солгали? С них же требовать будут денег за издержки, что вооружились. Чего дураки ждать могут? Лучше мира от нас не достанут, как мы им даем, а послушают Короля Прусского – век мира не достанут, понеже его жадности конца не будет. Я думаю, ежели ты все сие к ним своим штилем напишешь, ты им глаза откроешь.

У вас жары и засуха, и реки без воды, а у нас с мая месяца как дожди пошли, так и доныне нет дня без дождя, и во все лето самое несносное время было, и мы руки не согрели. С неслыханной скоростью ты перескакал из Очакова в Бендеры. Мудрено ли ослабеть после такой скачки? Рекомендованных от тебя, а именно – твоего достойного корнета и графа Безбородка, о которых просишь, – будь уверен, не оставлю без оказания милости и отличия. За присланную ко мне прекрасную табакерку и за хороший весьма ковер благодарствую. То и другое весьма мне нравится, и, следовательно, сдержи слово: ты обещался быть весел, ежели понравятся, а я люблю, чтоб ты был весел.

Празднование шведского мира здесь я назначила в осьмой день сентября и стараться буду, сколько смысл есть, изворотиться. Но часто, мой друг, чувствую, что во многих случаях хотелось бы с тобою говорить четверть часа. Игельстрома пошлю с полками, финскую войну отслужившими, в Лифляндию. Что болезни у вас в людях умножаются, о сем очень жалею. Несказанно сколько больных было и здесь с весны.

Касательно до фельдмаршала Румянцева и его пребывания под разными выдумками в Молдавии, я думаю, что всего лучше послать ему сказать, что легко случиться может, что турки его вывезут к себе скоро, ежели он не уедет заранее. А ежели сие не поможет, то послать к нему конвой, который бы его, сберегая, выпроводил. Но воистину, ради службы прежней сберегаю, колико можно, из одной благодарности и памятую заслуги его персоны, а предки мои инако бы поступили.

Булгаков[236] уже должен теперь быть в Варшаве. Мир со шведами тамо, так, как везде, порасстроил злостные умы. Увидим, какие меры возьмут, а ежели тебе Бог поможет турок уговаривать, то наивяще враги уймутся. Прощай, мой друг, Христос с тобою.

Завтра, в день святого Александра Невского, кавалеры перенесут мощи его в соборную того монастыря церковь и ее освятят в моем присутствии. И стол кавалерский будет в монастыре, а за другим с Великою Княгинею будет духовенство и прочие пять классов, как бывало при покойной Императрице Елисавете Петровне. Пребываю с непременным доброжелательством.

Августа 29 числа, 1790

Завтра, даст Бог здоровья, при столе в Невском монастыре будут петь со всеми инструментами «Тебе, Бога, хвалим», что ты ко мне прислал. Новгородскому и Петербургскому митрополиту я в знак моего признания пристроении церкви сегодня вручила

панагию с изумрудами, гораздо хорошую. <…>

Позабыла я тебе, мой друг, в сегодняшнем письме сказать, что ко мне прислана из Голландии от купца в подарок выкраденная из Архива французских дел военных книга:

«Описание, французскими инженерами деланное, турецких набережных мест». Планов, однако же, и карт по сю пору нет. Она довольно любопытна, и для того ее к тебе посылаю в подарок. Авось-либо в чем ни на есть тебе пригодится. Прощай, Бог с тобою.

Августа 29 числа, 1790

Сентября 16 числа, 1790

Друг мой сердечный, князь Григорий Александрович. Вчерашний день от меня назначен был для обеда со всеми офицерами четырех полков гвардии, коим давно обеда не было. Я шла одеваться, когда прискакал твой генерал-адъютант Львов с отлично добрыми вестьми о разбитии турецкого флота между Тендров и Аджибея, чему я, много обрадована быв, тотчас приказала, понеже сей день был воскресенье, после обедни отпеть молебен при большой пушечной пальбе, и за столом пили при такой же пальбе здоровье победоносного Черноморского флота. Награждения же оному прочтешь в рескрипте, мною сегодня подписанном. И так мой пир твоими радостными вестьми учинился торжеством редким. Я совершенно вхожу в ту радость, которую ты должен чувствовать при сем знаменитом случае, понеже Черноморский флот на Днепре строился под твоим попечением, а теперь видишь плоды оного заведения: и капитан-паша взят, и корабли турецкие взяты, прогнаны и истреблены.

Я всегда отменным оком взирала на все флотские вообще дела. Успехи же оного меня всегда более обрадовали, нежели самые сухопутные, понеже к сим исстари Россия привыкла, а о морских Ее подвигах лишь в мое царствование прямо слышно стало, и до дней оного морская часть почиталась слабейшею. Черноморский же флот есть наше заведение собственное, следственно, сердцу близко.

Контр-адмиралу Ушакову посылаю по твоей просьбе орден Святого Егоргия второй степени и даю ему 500 душ в Белоруссии за его храбрые и отличные дела. Львову я дала крест же и подарок, а к тебе не посылаю крестов егорьевских, понеже пишешь, что еще имеешь.

Спасибо тебе, мой друг, и преспасибо за вести и попечение и за все твои полезные и добрые дела. К тебе пошлю, когда бы только поспел скорее, прибор кофейный золотой для подчинения пашей, кои к тебе приедут за сим для трактования мира. Я

надеюсь, что, за действиями морскими и когда увидят, что сухопутные корпуса идут, они скоро за ум возьмутся, а лесть покинут. Но при сем весьма желаю, чтоб ты был здоров. Я сама захворала было, но теперь поправляюсь. От мирного торжества грудь залегла и кашлять стала. Прощай, мой друг, Бог с тобою.

Ноября 1790

<…> О польских делах тебе скажу, что деньги на оные я приказала ассигновать до пятидесяти тысяч червонных, из которых Булгаков тебе возвратит те двадцать тысяч червонных, кои ты ему дозволил употребить из ассигнованных тебе сумм. Барон Сутерланд[237] пошлет с курьером в Варшаву вексель сей. Чтоб умы польские обращать на путь, нами желаемый, о сем Булгаков имеет от меня за моим подписанием довольные предписания. На сеймиках же ему самому действовать не должно и нельзя, а посредством приятелей наших, что ему также предписано. Ничего бы не стоило обещать Польше гарантию на ее владения, если бы то было удобно на нынешнее время. Но они сами торжественным актом отвергли всякое ручательство. Воли учреждать внутренние дела я от них, конечно, не отнимаю, но в нынешнем положении все подобные обнадеживания инако давать нельзя, как в разговорах министра нашего с нашими друзьями, и внушая им, что, когда нации часть хотя образумится и станет желать ручательства и прочее, тогда могут получить подтверждения оного. Равно и о связи с нами он им может внушать, что, если они, видя, в какую беду их ведет союз с Королем Прусским, предпочтут сей пагубе наш союз и захотят с нами заключить союз, мы не удалены от оного, как и прежде, готовы были с разными для них выгодами и пользою. Кажется, что обещаниями таковыми, не точно определенными, избежим о Молдавии противоречия, в котором мы бы нашлись пред всей Европой, обещав возвратить все завоевания Порте, удержав только границу нашу по реке Днестр. При всех действиях наших в Польше, хотя и не открытых, надлежит нам остерегаться, паче не дать орудия врагам нашим, чтоб не могли нас предъявить свету, яко начинателей новой войны и наступателен, дабы Англия в деятельность и пособие Королю Прусскому не вступала, в Балтику кораблей не прислала, да и другие державы от нас не отвратились, и самый наш союзник не взял повод уклониться от соучастия. Что касается до хлеба польского, то, по последним известиям варшавским, хотели на Сейме сделать Конституцию и разрешить ее выпуск. И так, кажется, что на сей раз все наши действия в Польше должны к тому стремиться, чтоб составить, ежели можно, сильную партию, посредством которой не

допустить до вреднейших для нас перемен и новостей, и восстановить тако связи с нею, обоим нам полезные и безопасные. А между тем обратить все силы и внимание и старание достать мир с турками, без которого не можно отважиться ни на какие предприятия. Но о сем мире с турками я скажу, что ежели Селиму[238] нужны по его молодости дядьки и опекуны, а сам не умеет кончить свои дела и для того избрал себе пруссаков, англичан и голландцев, дабы они более еще интригами завязали его дела, то я не в равном с ним положении, и с седой головой не отдамся им в опеку. Королю Прусскому теперь хочется присоединить себе Польшу и старается быть избран преемником той короны, а чтоб я на сие согласилась, охотно бы склонился на раздробление Селимовой посессии, хотя с ним недавно заключил союз и обещал ему Крым возвратить из наших рук. Но ему Польшу, а туркам Крым – не видать, я на Бога надеюсь, как ушей своих. А слабые турки одни обмануты союзником, и продержит их в войне, как возможно долее. Король Шведский был в подобном положении, но вскоре, видя свое неизбежное разорение, взялся за ум и заключил свой мир беспосредственный с нами. Если рассудишь за полезно, сообщи мое рассуждение туркам и вели визирю сказать, что тому дивимся, что за визирь ныне у них, который ни на что не уполномочен, окроме того, что пруссаки, англичане и голландцы ему предписывают, будто это все равно – иметь дело с интригами всей Европы либо разобраться с ними запросто. Русская есть пословица: «Много поваров кашу испортят», да другая – «У семерых нянь дитя без глаза».

Ласковое с Польшею обращение, обещание ей гарантии и разных выгод, буде они того потребуют, и все, что об них выше сказано, я кладу на такой случай, ежели республика не приимет сторону неприятелей наших образом явным; но, буде совершит договор свой с Портою и пристрастие окажет на деле с Королем Прусским, ежели он решится против нас действовать, в то время должно будет приступить к твоему плану и стараться, с одной стороны, доставить себе удовлетворение и удобности против нового неприятеля насчет той земли, которая служила часто главным поводом ко всем замешательствам.

Вот тебе мои мысли. Бог да поможет нам. Прощай, мой друг, Христос с тобою. <…>

Фон дер Пален приехал во Швецию, а Стединг здесь, и дела со Швециею на лад идут.

Стединга я ласкаю весьма, и он человек изрядный. Потоцкого[239] проект, дабы сделать Прусского Короля Королем Польским и соединить Пруссию с Польшею, – не рассудишь ли за благо сообщить туркам, дабы яснее усмотрели каверзы своего

союзника, о котором и его адской политике уже вся Европа глаза открывает, и ближние его содрогаются, и сама Голландия, да и Англия не во всем с ним согласна.

Друг мой сердечный, князь Григорий Александрович. Письма твои от 15 августа до моих рук доставлены, из которых усмотрела пересылки твои с визирем, и что он словесно тебе сказать велел, что ему беда и что ты ответствовал, почитая все то за обман. Но о чем я всекрайне сожалею и что меня жестоко беспокоит – есть твоя болезнь и что ты ко мне о том пишешь, что не в силах себя чувствуешь оную выдержать. Я Бога прошу, чтоб от тебя отвратил сию скорбь, а меня избавил от такого удара, о котором и думать не могу без крайнего огорчения.

О разогнании турецкого флота здесь узнали с великою радостью, но у меня все твоя болезнь на уме.

Смерть Принца Виртембергского[240] причинила Великой Княгине немалую печаль. Прикажи ко мне писать кому почаще о себе. Означение полномочных усмотрела из твоего письма. Все это хорошо, а худо то только, что ты болен. Молю Бога о твоем выздоровлении. Прощай, Христос с тобою.

Августа 28 дня, 1791

Платон Александрович[241] тебе кланяется и сам пишет к тебе.

Примечания

[1] Анна Петровна (1708–1728) – старшая дочь Петра I, в замужестве герцогиня Голштейн-Готторпская.

[2] Берхгольц (Бергхгольц), Фридрих Вильгельм, фон (1699–1765) – камер-юнкер герцога Голштейн-Готторпского, автор «Дневника», содержащего ценные сведения о России последних лет царствования Петра I.

[3] Бюшинг, Антон Фридрих (1724–1793) – немецкий ученый и литератор, издатель «Магазина», в котором был напечатан в 1785–1787 гг. «Дневник» Ф. В. фон Берхгольца.

[4] Корф, Николай Андреевич (1710–1766) – генерал-аншеф, с 1760 г. петербургский генерал-полицеймейстер, с 1762 г. главный директор над полициями.

[5] Бестужев-Рюмин, Алексей Петрович (1693–1766) – выдающийся государственный деятель, дипломат, генерал-фельдмаршал; с 1741 г. вице-канцлер, в 1744–1758 гг. великий канцлер.

[6] Панин, Никита Иванович (1718–1783) – выдающийся государственный деятель, дипломат; воспитатель Павла I.

[7] Иоганна Елизавета, княгиня Ангальт-Цербтская, урожденная принцесса Голштейн-Готторпская (1712–1760).

[8] Карл Август, принц Голштинский (1706–1727).

[9] Симеон Теодорский (Тодорский) (1700–1754) – церковный деятель, духовный писатель, переводчик.

[10] Веселовский, Исаак Павлович (?–1754) – член Коллегии иностранных дел. Брат видных дипломатов Петровского времени А. П. и Ф. П. Веселовских.

[11] Штелин, Якоб (Яков Яковлевич) (1709–1785) – искусствовед, профессор элоквенции и поэзии Петербургской академии наук, гравер.

[12] Ланге (Ленде), Жан Батист (?—?) – придворный балетмейстер.

[13] Фридрих II Великий (1712–1786) – король Пруссии с 1740 г.

[14] Шетарди, Жак Иоахим Тротти (1705–1758) – французский дипломат, в 1739–1744 гг. посланник в России.

[15] Лесток, Иоганн Герман (1692–1767) – лейб-медик, на русской службе с 1713 г.

[16] Воронцов, Михаил Илларионович (1714–1767) – государственный деятель, дипломат, камергер; с 1754 г. вице-канцлер, в 1758–1762 гг. канцлер. Брат графа Р. И. Воронцова.

[17] Скавронская, в замужестве Воронцова, Анна Карловна

(1722–1775) – статс-дама; двоюродная сестра Елизаветы Петровны, жена графа М. И. Воронцова.

[18] Румянцев, Александр Иванович (1679/1680—1749) – государственный деятель, дипломат; отец графа П. А. Румянцева-Задунайского.

[19] Трубецкой, Никита Юрьевич (1699–1767) – генерал-фельдмаршал; в 1740–1760 гг. генерал-прокурор.

[20] Людвиг Вильгельм, ландграф (принц) Гессен-Гомбургский (1704–1745) – с 1723 г. на русской службе; генерал-фельдмаршал.

[21] Трубецкая, Анастасия Ивановна (1700–1755) – княжна, дочь фельдмаршала князя И. Ю. Трубецкого; в первом браке княгиня Кантемир, во втором – ландграфиня (принцесса) Гессен-Гомбургская.

[22] Разумовский, Алексей Григорьевич (1709–1771) – генерал-фельдмаршал; морганатический супруг Елизаветы Петровны.

[23] Черкасов, Иван Антонович (1692–1752) – барон, кабинет-секретарь Елизаветы Петровны.

[24] Лопухина, урожденная Балк-Полева, Наталья Федоровна (1699–1763) – статс-дама; в 1743 г. обвинена в заговоре, бита кнутом и сослана в Сибирь.

[25] Ададуров, Василий Евдокимович (1709–1780) – математик, языковед, переводчик; с 1744 г. сенатор, с 1759 г. в ссылке; при Екатерине II куратор Московского университета, президент Мануфактур-коллегии.

[26] Румянцева, урожденная графиня Матвеева, Мария Андреевна (1698–1788) – статс-дама; жена А. И. Румянцева.

[27] Санхец (Санше), Рибейро (?—?) – лейб-медик.

[28] Бецкой, Иван Иванович (1704–1795) – государственный деятель, камергер, президент Петербургской академии наук, директор Канцелярии от строений. Побочный сын фельдмаршала князя И. Ю. Трубецкого, брат Анастасии, ландграфини Гессен-Гомбургской, урожденной Трубецкой.

[29] Голицын, Александр Михайлович (1718–1783) – камергер, впоследствии военачальник, генерал-фельдмаршал, петербургский генерал-губернатор, сенатор.

[30] Чернышев, Захар Григорьевич (1722–1784) – камергер, впоследствии военачальник, генерал-фельдмаршал, московский генерал-губернатор.

[31] Цедеркрейц, Герман (?—?) – барон, впоследствии граф; шведский государственный деятель, дипломат, сенатор.

[32] Гюлленборг, Тените-Адольф (?—?) – шведский дипломат.

[33] Каравак, Луи (?–1754) – французский художник, с 1716 г. работал в России.

[34] Фальконе, Этьен Морис (1716–1791) – французский

скульптор; в 1766–1778 гг. работал в России, автор памятника Петру Великому в Петербурге (Медного Всадника).

[35] Карл VII Альбрехт (1697–1745) – австрийский император (император Священной Римской империи), ранее – баварский курфюрст.

[36] Франц I (1708–1765) – австрийский император (император Священной Римской империи), муж и соправитель Марии Терезии. Согласие императора было необходимо в связи с тем, что Голштинское герцогство формально входило в состав Священной Римской империи.

[37] Княжны Гагарины, Анастасия Алексеевна (?–1746) и Дарья Алексеевна, в замужестве княгиня Голицына (1724–1798), – фрейлины великой княжны, затем великой княгини Екатерины Алексеевны.

[38] Кошелева, Мария Иродионовна (?—?) – фрейлина великой княжны, затем великой княгини Екатерины Алексеевны.

[39] Шенк, в замужестве Бастиан (?—?), – камер-юнгфера великой княжны, затем великой княгини Екатерины Алексеевны.

[40] Жукова, в замужестве Травина, Мария Петровна (?—?), – камер-юнгфера великой княжны, затем великой княгини Екатерины Алексеевны.

[41] Балк, в замужестве Сумарокова, Иоганна Христина (?—?) – камер-юнгфера великой княжны, затем великой княгини Екатерины Алексеевны.

[42] Сумароков, Александр Петрович (1717–1777) – русский писатель, один из крупнейших представителей классицизма.

[43] Кашкин, Аристарх Петрович (?—?) – генерал-майор.

[44] Бирон, Эрнст Иоганн (1690–1772) – фаворит императрицы Анны Ивановны, герцог Курляндский (с 1737 г.). После дворцового переворота 1740 г. лишен званий, чинов и имений, сослан; помилован Петром III. В мемуарах Екатерины II идет речь и о дочери Бирона Екатерине (Гедвиге Елизавете), принцессе Курляндской, в замужестве баронессе Черкасовой (1723–1796), камер-фрейлине.

[45] Татищев, Алексей Данилович (1699–1760) – генерал-аншеф, генерал-полицмейстер Петербурга.

[46] Измайлова, урожденная Нарышкина, Анастасия Михайловна (1693–1761) – статс-дама.

[47] Аргус – в древнегреческой мифологии многоглазый (нередко стоглазый) страж.

[48] Репнин, Василий Аникитич (1696–1748) – генерал-фельдцейхмейстер, обер-гофмейстер великого князя Петра Федоровича, начальник шляхетного Кадетского корпуса.

[49] Чоглокова, урожденная графиня Гендрикова, Мария

Семеновна (Симоновна) (1724–1756) – обер-гофмейстерина; двоюродная сестра императрицы Елизаветы Петровны (их матери – Христина и Марта Скавронские – были родными сестрами). Овдовев, вышла замуж за А. И. Глебова.

[50] Чоглоков, Николай Наумович (1718–1754) – камергер, тайный советник.

[51] Имеются в виду братья Чернышевы: Захар Григорьевич (см. ранее) и Иван Григорьевич (1726–1797) – государственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал от флота, президент Адмиралтейской коллегии; а также их кузен Чернышев Андрей Гаврилович (1720–1797) – камер-лакей, впоследствии генерал-адъютант при Петре III, генерал-аншеф.

[52] Парк и дворец под Таллином.

[53] Бретлах (?—?) – австрийский посланник.

[54] Ныне город и порт Палдиски, Эстония.

[55] Ораниенбаум (ныне г. Ломоносов) был основан в 1714 г. А. Д. Меншиковым; здесь находился его загородный дворец. Подарен Елизаветой Петровной великому князю Петру Федоровичу.

[56] Севинье, Мари де Рабютен-Шанталь (1626–1696) – маркиза, чьи «Письма» в XVIII в. были признаны образцом эпистолярного стиля и выдающимся произведением французской литературы.

[57] Матюшкин, Дмитрий Михайлович (1725–1800) – тайный советник; жена – Анна Алексеевна, урожденная княжна Гагарина (1722–1804), фрейлина великой княгини Екатерины Алексеевны, впоследствии статс-дама, обер-гофмейстерина.

[58] Санти, Франц (1683–1758) – обер-церемониймейстер; в России с 1724 г.

[59] Вильбуа, Александр Никитич (?–1781) – камер-юнкер, впоследствии генерал-фельдцейхмейстер.

[60] Гендриков, Иван Семенович (1719–1778) – камергер, генерал-аншеф, шеф Кавалергардского полка. Родной брат М. С. Чоглоковой и двоюродный брат императрицы Елизаветы Петровны.

[61] Овцын, Илларион Яковлевич (?—?) – камер-юнкер, гвардии поручик, впоследствии камергер.

[62] Олсуфьев, Адам Васильевич (1721–1784) – чиновник Коллегии иностранных дел, впоследствии статс-секретарь Екатерины II, сенатор, литератор, переводчик.

[63] Шепелев, Дмитрий Андреевич (?–1759) – обер-гофмаршал, генерал-аншеф.

[64] Речь идет о мемуарах французского писателя Пьера де Бурдей Брантома (ок. 1535–1614).

[65] Речь идет об «Истории Генриха IV» Перефикса (1605–1670),

наставника Людовика XIV, архиепископа Парижского.

[66] Владиславова, Прасковья Никитична (?—?) – камер-фрау.

[67] Лонуа-ла-Тур, по второму мужу Марвиль (?—?) – гувернантка Елизаветы Петровны и Анны Петровны.

[68] Менгден, Мария Аврора (?—?) – фрейлина императрицы Елизаветы Петровны. Сестра Юлии Менгден, любимой фрейлины правительницы Анны Леопольдовны.

[69] Апраксин, Степан Федорович (1702–1760) – государственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал, главнокомандующий русскими войсками в начальный период Семилетней войны.

[70] Шувалов, Александр Иванович (1710–1771) – генерал-фельдмаршал, начальник Тайной канцелярии; жена – Екатерина Ивановна, урожденная Костюрина.

[71] Брат князя Н. Ю. Трубецкого.

[72] Голицын, Александр Михайлович (1723–1807) – дипломат, сенатор, обер-камергер; в 1762–1775 гг. вице-канцлер.

[73] Шувалова, урожденная Шепелева, Мавра Егоровна (1708–1759) – фрейлина, позднее статс-дама.

[74] Долгоруков, Михаил Владимирович (1667–1750) – сенатор; при императрице Анне Ивановне в ссылке, возвращен Елизаветой Петровной.

[75]Долгоруков, Василий Владимирович (1667–1746) – генерал-фельдмаршал; при императрице Анне Ивановне в ссылке и заточении; с 1741 г. президент Военной коллегии.

[76] Куракин, Борис Александрович (1733–1764) – генерал-поручик, гофмейстер.

[77] «Всеобщая история Германии» Жозефа Барра (1697–1758) вышла в одиннадцати томах на французском и немецком языках.

[78] Разумовский, Кирилл Григорьевич (1728–1803) – генерал-фельдмаршал; в 1750–1764 гг. гетман Украины, президент Петербургской академии наук. Брат графа А. Г. Разумовского.

[79] Бутурлин, Александр Борисович (1694–1767) – генерал-фельдмаршал, сенатор, главнокомандующий русскими войсками в Семилетней войне.

[80] Нарышкин, Александр Александрович (1726–1795) – камергер, впоследствии обер-гофмейстер. Брат Л. А. и Н. А. Нарышкиных.

[81] Шувалов, Иван Иванович (1727–1797) – камер-юнкер, позднее камергер, генерал-адъютант, куратор Московского университета; фаворит императрицы Елизаветы Петровны.

[82] Батурин, Иосаф (?–1771) – капитан Бутырского (по другим данным Ширванского) полка.

[83] Бургав (Боергав-Кау), Герман (1705–1753) – лейб-медик

императрицы Елизаветы Петровны, главный директор Медицинской канцелярии. Из семьи известных западноевропейских врачей.

[84] Гюйон (Гион) (?–1763) – лейб-хирург; прибыл в Россию из Голландии в 1753 г.

[85] Воронцов, Роман Илларионович (1707–1783) – генерал-аншеф, сенатор, впоследствии генерал-губернатор Владимирский, Тамбовский и Пензенский. Брат графа М. И. Воронцова.

[86] Воронцова, в замужестве графиня Бутурлина, Мария Романовна (?—?) – фрейлина.

[87] Воронцова, в замужестве Полянская, Елизавета Романовна (1739–1792) – фрейлина, затем камер-фрейлина; фаворитка Петра III.

[88] Батиани (?—?) – австрийский государственный и военный деятель, фельдмаршал, обер-гофмейстер; воспитатель Иосифа II.

[89] Иосиф II (1741–1790) – австрийский император (император Священной Римской империи), выдающийся политический и государственный деятель; в 1765–1780 гг. соправитель своей матери, императрицы Марии Терезии, затем правил единолично.

[90] Шкурин, Василий Григорьевич (?—?) – камердинер великой княгини Екатерины Алексеевны.

[91] Салтыков, Сергей Васильевич (1726–после 1776) – дипломат, камергер, впоследствии генерал-поручик; фаворит великой княгини Екатерины Алексеевны; жена – Матрена Павловна, урожденная Балк (?–1813), фрейлина.

[92] Флери, Андрей Геркюл (1653–1743) – выдающийся французский политический и государственный деятель, с 1726 г. кардинал, первый министр Людовика XV.

[93] Бекетов, Никита Афанасьевич (1729–1794) – кадет, затем полковник, адъютант графа А. Г. Разумовского; фаворит императрицы Елизаветы Петровны.

[94] Елагин, Иван Перфильевич (1725–1794) – писатель, переводчик, историк, автор «Опыта повествования о России», один из виднейших русских масонов; сенатор, статс-секретарь Екатерины II.

[95] Нарышкин, Лев Александрович (1733–1799) – камер-юнкер великокняжеского двора, впоследствии обер-шталмейстер (начальник дворцового конюшенного ведомства); известный великосветский острослов и шутник. Брат А. А. и Н. А. Нарышкиных.

[96] Сенявин, Сергей Наумович (?—?) – камер-юнкер великокняжеского двора, впоследствии камергер, генерал-поручик. Был женат на Наталии Александровне Нарышкиной, сестре А.А. и Л. А. Нарышкиных.

[97] Глебовы, отец и сын: Иван Федорович (1707–1774) – генерал-аншеф; Александр Иванович (1722–1790) – генерал-аншеф, генерал-прокурор при Петре III и Екатерине II (до 1764 г.), генерал-губернатор Белорусский и Смоленский.

[98] Брессон (Бресан), Александр Иванович (1719–1779) – камердинер великого князя Петра Федоровича, впоследствии действительный бригадир, директор шпалерной мануфактуры.

[99] Сестры Шафировы: Марфа Исаевна (?—?), в замужестве Петрово-Соловово, и Анна Исаевна (?—?) в замужестве Власова, баронессы.

[100] Николай Николаевич Чоглоков (1749–?) был осужден за покушение на убийство своего армейского начальника.

[101] Леонтьев, Николай Михайлович (1717–1769) – полковник, впоследствии генерал-аншеф.

[102] Надир-шах, Афшар (1688–1747) – шах Ирана с 1736 г.; завоевал значительные территории в Индии, Средней Азии, Закавказье.

[103] Арайя, Франческа (1700 или 1709–ок. 1770) – итальянский композитор; в 1735–1759 гг. и в 1762 г. – в России, придворный капельмейстер.

[104] Имеется в виду «Исторический и критический словарь» Пьера Бейля (1647–1706), французского философа и публициста, раннего представителя Просвещения.

[105] Матюшкина, Софья Дмитриевна (?—?) – мать графа Д. М. Матюшкина.

[106] Репнин, Петр Иванович (?– 1778) – дипломат, обер-шталмейстер.

[107] Имеется в виду «Церковная история» Цезаря Барония (1538–1607), кардинала, духовника папы, ватиканского библиотекаря.

[108] Брокдорф (?—?) – камергер великого князя Петра Федоровича, генерал голштинской службы.

[109] Шувалов, Петр Иванович (1710–1762) – генерал-фельдмаршал, генерал-фельдцейхмейстер; фактический глава правительства императрицы Елизаветы Петровны.

[110] Уильямс, Чарльз Генбюри (1709–1760) – английский посланник в России в 1755–1759 гг.

[111] Понятовский, Станислав Август (1732–1798) – последний Польский король (1764–1795), покровитель наук и искусств. В середине 1750-х гг., находясь в Петербурге, вошел в круг ближайших друзей великой княгини Екатерины Алексеевны, был «избранником ее сердца». Узнав в 1762 г. о перевороте, совершившемся в Петербурге, предпринял попытку вернуться в столицу, однако это не отвечало интересам императрицы и

братьев Орловых. Был избран королем благодаря поддержке партии Чарторыских и Екатерины II.

[112] Речь идет о Станиславе Понятовском (1676–1762), генерале шведской службы (до 1718 г.), мазовецком воеводе (с 1731 г.), кастеляне краковском (с 1752 г.).

[113] Госпожа Помощь (*фр.*).

[114] Чарторыйские (правильнее – Чарторыские) – представители польского княжеского рода, составившие основу так называемой Фамилии: партии собственно Чарторыских и связанных с ними магнатских родов, сторонников реформ и сближения с Россией.

[115] Нарышкина, урожденная Румянцева, Анна Никитична (1730–1820) – статс-дама, затем гофмейстерина; жена А. А. Нарышкина.

[116] Наумов, Федор Васильевич (?—?) – действительный тайный советник, сенатор.

[117] Измайлова, урожденная Нарышкина, Мария Александровна (?—?) – сестра А.А., Л.А. и Н. А. Нарышкиных.

[118] Племянница графов Разумовских, жена Г. Н. Теплова.

[119] Мельгунов, Алексей Петрович (1722–1788) – адъютант великого князя Петра Федоровича; в царствование Екатерины II – сенатор, генерал-губернатор Новороссийский, Ярославский и Вологодский.

[120] Циммерман (?—?) – полковник, обер-берейтор при конюшенном дворе.

[121] Головкина, урожденная графиня Шувалова, Екатерина Александровна (?—?).

[122] Горн, Адам (1719–1778) – полковник шведской службы, один из руководителей прорусской придворной партии в Швеции.

[123] Адольф Фридрих (1710–1771) – епископ Любекский, герцог Голштинский, с 1751 г. король Шведский.

[124] Брюль (Бруль), Генрих (1700–1763) – первый министр курфюрста саксонского и короля Польского Августа III Фридриха (1696–1763).

[125] Голицыны: Дмитрий Михайлович (1721–1793) – князь, капитан лейб-гвардии Измайловского полка, впоследствии дипломат, камергер, генерал-поручик; его жена Екатерина Дмитриевна (1720–1761) – княгиня, камер-фрейлина, затем статс-дама.

[126] Элендсгейм – глава судебного департамента в герцогстве Голштинском.

[127] Варварство, мой друг (*фр.*).

[128] С 1756 г. руководство внешнеполитическими и военными делами осуществлялось Конференцией при высочайшем дворе.

[129] Теплов, Григорий Николаевич (1717–1779) – литератор, один из главных администраторов в Петербургской академии наук, составитель Манифеста о вступлении на престол Екатерины II, впоследствии сенатор, статс-секретарь императрицы.

[130] Квадратная партия (*фр.*).

[131] Ныне г. Клайпеда (Литва).

[132] Куракина, Елена Степановна – княгиня, урожденная графиня Апраксина. Дочь графа С. Ф. Апраксина.

[133] Миних, Бурхард Кристоф (1683–1767) – выдающийся военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал; на русской службе с 1721 г. При императрице Анне Ивановне президент Военной коллегии, командующий русской армией в русско-турецкой войне 1735–1739 гг. Организатор свержения Э. И. Бирона. В 1742 г. сослан императрицей Елизаветой Петровной, возвращен из ссылки Петром III в 1762 г. В последние годы жизни – помощник и корреспондент Екатерины II.

[134] Рязанов, Гавриил Андреевич (?—?) – бригадир, впоследствии генерал-поручик.

[135] Мордвинов, Михаил Иванович (1725–1782) – бригадир, впоследствии инженер-генерал.

[136] Ржевуский – граф, коронный писарь, впоследствии польский посланник в России.

[137] Броницкий, Францишек Ксаверий (1731–1819) – великий коронный гетман, дипломат, один из вождей «оппозиции магнатов». Женился на А. В. Энгельгардт, племяннице князя Г. А. Потемкина-Таврического.

[138] Ринальди, Антонио (?–1794) – итальянский архитектор, работавший в России.

[139] Салтыков, Петр Семенович (1693–1772/1773) – полководец, генерал-фельдмаршал, сенатор; с 1763 г. московский главнокомандующий.

[140] Румянцев-Задунайский, Петр Александрович (1725–1796) – полководец, с 1770 г. генерал-фельдмаршал. Почетное добавление к фамилии – Задунайский – получил за успешные операции в ходе русско-турецкой войны 1768–1774 гг.

[141] Кондоиди, Павел Захарович (?–1760) – лейб-медик императрицы Елизаветы Петровны.

[142] Строганов, Александр Сергеевич (1733–1811) – граф, камергер, сенатор; президент Академии художеств и директор Публичной библиотеки.

[143] Пуговишников, Иван Осипович (?—?) – член Коллегии иностранных дел.

[144] Колышкин, Николай Иванович (?—?) – гвардии сержант.

[145] Волков, Дмитрий Васильевич (1727–1785) – сенатор, с

1749 г. секретарь Коллегии иностранных дел, в 1756–1761 гг. секретарь Конференции при высочайшем дворе; личный секретарь Петра III, секретарь Совета при высочайшем дворе и составитель Указа о вольности дворянства; при Екатерине II сначала под арестом, затем вице-губернатор в Оренбурге, президент Мануфактур-коллегии, генерал-полицеймейстер в Петербурге; драматург, переводчик.

[146] Имеется в виду «Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел», выходившая с 1751 г. под редакцией Ж. Л. д'Аламбера (первые семь томов) и Д. Дидро.

[147] Воронцовы: Александр Романович (1741–1805) – государственный деятель и дипломат, в 1762–1768 гг. полномочный министр в Англии и Голландии, в 1773–1794 гг. президент Коммерц-коллегии; Семен Романович (1744–1832) – дипломат, в 1783–1806 гг. посланник в Вене и Англии. (Братья графини М. Р. Бутурлиной, княгини Е. Р. Дашковой, Е. Р. Полянской.)

[148] От *фр*. fadaise – нелепость, вздор.

[149] Черкасов, Александр Иванович (1728–1788) – президент Медицинской коллегии.

[150] На этом месте повествование обрывается. Событиям последующих лет посвящены отдельные мемуарные очерки и наброски Екатерины II.

[151] Безбородко, Александр Андреевич (1747–1799) – выдающийся государственный деятель, дипломат; с 1775 г. секретарь Екатерины II, в 1780 г. причислен к Коллегии иностранных дел, с 1783 г. фактический глава внешней политики России, действительный тайный советник; при Павле I – канцлер. Сын генерального судьи Запорожского войска.

[152] От *фр*. fermentation – здесь: возбуждение, волнение.

[153] Дашков, Михаил-Кондратий Иванович (1736–1764) – капитан, затем вице-полковник лейб-гвардии Кирасирского полка, муж княгини Екатерины Романовны Дашковой, урожденной графини Воронцовой (1744–1810), также принимавшей деятельное участие в событиях 1762 г. на стороне Екатерины II, впоследствии директора Петербургской академии наук и президента Российской академии, автора знаменитых «Записок».

[154] Братья Орловы: Григорий Григорьевич (1734–1783) – военный и государственный деятель, генерал фельдцейхмейстер, действительный камергер; фаворит Екатерины II; Алексей Григорьевич (1737–1807/1808) – генерал-аншеф, руководитель первой экспедиции русского флота в Архипелаг (1769–1774). За победы у Наварина и Чесмы получил титул графа Чесменского;

Федор Григорьевич (1741–1796) – государственный и военный деятель.

[155] От *фр*. influence – влияние.

[156] Шаховской, Яков Петрович (1705–1777) – генерал-прокурор, сенатор, мемуарист. Прославился своею честностью и принципиальностью.

[157] Сеченов, Даниил Алексеевич (Димитрий) (1709–1767) – архиепископ Новгородский и Великолукский, с 1762 г. митрополит Новгородский, известный проповедник и духовный писатель. Совершил церковный обряд коронования Екатерины II.

[158] Гудович, Андрей Васильевич (1731–1808) – генерал-адъютант Петра III; впоследствии генерал-аншеф.

[159] Шереметев, Петр Борисович (1713–1788) – обер-камергер, сенатор; один из богатейших людей империи.

[160] Значит, она устроила им свидание, в то время как беседовала со мною (*фр*.).

[161] Голицын, Иван Федорович (1731–1797) – капитан-поручик Преображенского полка, генерал-адъютант императора Петра III, впоследствии генерал от инфантерии.

[162] Георг Людвиг, принц Голштейн-Готторпский (1719–1763) – генерал-фельдмаршал, полковник лейб-гвардии Конного полка.

[163] Скавронские и Нарышкины шли за гробом Елизаветы Петровны сразу после императорской четы как родственники покойной императрицы.

[164] Точнее, князей Долгоруковых и князей Голицыных, занимавших шесть из восьми мест в Верховном тайном совете, к которому, согласно подписанным Анной Ивановной «кондициям», фактически переходила власть в стране. Императрица разорвала эти «кондиции»; став самодержавной правительницей России.

[165] Владимир Святославович (ок. 960—1015) – великий князь Киевский, выдающийся государственный деятель, крестивший Русь. Говоря о «распадении государства», Екатерина имеет в виду, что наделение сыновей Владимира отдельными областями и всей полнотой власти в них стало точкой отсчета в междоусобных войнах и, как следствие, ослаблении единства Древней Руси.

[166] Воспитательный дом для дочерей обедневших дворян, основанный Людовиком XIV в местечке Сен-Сир близ Версаля.

[167] Оригиналы приведенных выше сочинений на фр. яз. Пер. печ. по: Записки императрицы Екатерины Второй. Пер. с подлинника, изд. Имп. акад. наук. СПб., 1907.

[168] Чарторыский, Адам Казимеж (1734–1823) – польский политический деятель, литератор; двоюродный брат Станислава Августа Понятовского.

[169] Елисавете Воронцовой.

[170] Георг Людвиг, принц Голштейн-Готторпский.

[171] Датский посланник в России.

[172] Пассек, Петр Богданович (1736–1804) – капитан-поручик лейб-гвардии Преображенского полка, впоследствии генерал-губернатор белорусских провинций, камергер.

[173] Граф К. Г. Разумовский.

[174] Волконский (Волхонский), Михаил Никитич (1713–1788) – подполковник лейб-гвардии Конного полка, впоследствии генерал-аншеф.

[175] Барятинский, Федор Сергеевич (1742–1811) – поручик лейб-гвардии Преображенского полка, впоследствии обер-гофмаршал.

[176] Девьер (Дивьер), Петр Антонович (?–1773) – при императрице Елизавете Петровне был генералом-поручиком, отличился в Семилетнюю войну; при Петре III получил чин генерал-аншефа, был его адъютантом.

[177] Любовные записки (*фр.*).

[178] Ржичевский, Иван (?—?) – русский посланник в Польше.

[179] Одар (Одарт), Михаил (?—?) – советник Коммерц-коллегии. Участник переворота 1762 г., впоследствии библиотекарь Кабинета Екатерины II.

[180] Моисей, Яков Фомич (?—?) – тайный советник, лейб-медик императрицы Елизаветы Петровны.

[181] Потемкин, Григорий Александрович, светлейший князь Таврический (1739–1791) – выдающийся государственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал, фаворит и ближайший помощник Екатерины II. Создатель Черноморского флота, основатель Херсона, Екатеринослава и Николаева, главнокомандующий русской армией в русско-турецкой войне 1787–1791 гг. Тексты писем печ. по изд.: Екатерина II и Г. А. Потемкин. Личная переписка 1769–1791. М., 1997. (Сер. «Лит. памятники»).

[182] Турецкая крепость на Дунае, с 1878 г. болгарский порт и город Силистра.

[183] Потемкин, Павел Сергеевич (1743–1796) – военный деятель, генерал-аншеф; литератор. Родственник князя Г. А. Потемкина-Таврического.

[184] Берг-коллегия – коллегия «для рудных дел», учрежденная Петром I в 1719 г. Чин советника соответствовал армейскому чину полковника.

[185] Вы не отдаете должное себе, ибо Вы сами – совершенное удовольствие. Вы чрезвычайно любезны (*фр.*).

[186] Имеется в виду А. С. Васильчиков.

[187] Братья Панины: Никита Иванович, граф (1718–1783), выдающийся государственный деятель, дипломат; Петр Иванович, граф (1721–1789), военачальник, генерал-аншеф. В период подавления Пугачевского восстания командовал правительственными войсками. В письме речь идет о предложении графа П. И. Панина предоставить ему – до окончания борьбы с пугачевцами – диктаторскую власть над четырьмя губерниями.

[188] В уме (*фр.*).

[189] Сравнения (*фр.*).

[190] Взносы кавалеров имперских орденов.

[191] Мусин-Пушкин, Валентин Платонович (1735–1804) – военачальник; при Екатерине II генерал-аншеф, при Павле I фельдмаршал.

[192] Русско-австрийский союзный договор, заключенный 18 мая 1781 г.

[193] Неизвестно, о каком именно проекте идет речь в этом письме, но в нем отразилось неизменно отрицательное отношение Екатерины к компаниям-монополистам.

[194] Контрибуция, предусмотренная одной из статей Кючук-Кайнарджийского мирного договора 1774 г.

[195] Потому что, моя любовь, для тебя я совсем не имею других (*фр.*).

[196] «Сказка о царевиче Февее», сочиненная Екатериной II.

[197] Якобий, Иван Варфоломеевич (?—?) – сибирский генерал-губернатор.

[198] Платон (Левшин), Петр Георгиевич (1737–1812) – церковный деятель, митрополит Московский, писатель.

[199] Штакельберг, Густав Оттонович (1766–1850) – русский посланник в Польше. Достичь «союза с поляками» тогда не удалось.

[200] Репнин, Николай Васильевич (1734–1801) – военачальник, генерал-фельдмаршал (с 1796 г.), дипломат.

[201] Питт, Уильям (Питт-младший) (1759–1806) – английский государственный деятель, премьер-министр Великобритании в 1783–1801 и 1804–1806 гг.

[202] Имеется в виду Георг III (1738–1820), английский король, из Ганноверской династии.

[203] Имеются в виду Фридрих Вильгельм II (1744–1797), король Пруссии, и его министр Э. Ф. Герцберг.

[204] Имеется в виду финансовый кризис 1787 г. во Франции, приблизивший политическую катастрофу.

[205] Имеется в виду принц Карл Генрих Николай Оттон Нассау-Зиген (1745–1808), принятый на русскую службу в чине

контр-адмирала в 1788 г.

[206] Текелли-Попович, Петр (1720–1793) – генерал-аншеф.

[207] Кармартен, Фрэнсис, лорд Осборн (1751–1799) – английский дипломат, секретарь по иностранным делам в кабинете У. Питта.

[208] Энсли, Роберт (1730–1812) – английский дипломат, посол в Турции.

[209] Шуазель-Гуфье, Огюст (в России – Гавриил Августович) (1752–1817) – французский дипломат, с 1784 г. посол Франции в Османской империи. С 1793 г. на службе в России.

[210] Сегюр д'Агюссе, Луи-Филипп (1753–1830) – французский дипломат, историк, драматург, мемуарист. С 1783 г. посланник в России; впоследствии пэр Франции.

[211] Нужно признать, что Европа ныне являет собой очень странную смесь (*фр.*).

[212] Очевидно, desavouer (*фр.*) – дезавуированный.

[213] Это принуждает меня умирать множеством смертей – вместо одной (*фр.*).

[214] Думаю, это в самом деле их место (*фр.*).

[215] Джонс, Джон Поль (1747–1792) – национальный герой США, командующий флотом Конгресса во время войны за независимость.

[216] Хоу, Ричард (1726–1799) – английский адмирал.

[217] Кингсберген, Ян Генрих, граф фон Доггерсбанк (1735–1819) – голландский адмирал, находившийся на русской службе в годы первой русско-турецкой войны. Екатерина II попыталась вернуть его в Россию, однако адмирал приехать не смог.

[218] Радзивилл, Кароль Станислав (1734–1790) – воевода Виленский, крупнейший магнат, противник короля Станислава Августа Понятовского.

[219] Огинский, Михал Казимеж (1730–1800) – великий гетман Литовский, политический деятель, один из вождей «оппозиции магнатов», литератор.

[220] Щенсны-Потоцкий, Станислав Феликс (1752–1805) – воевода Русский, генерал артиллерии.

[221] Ферзен, Фредрик Аксель (1719–1794) – шведский государственный деятель.

[222] Но от больной головы всего ожидать можно (*фр.*).

[223] Поссе, Фредрик Арвидсон (1727–1794) – шведский военачальник.

[224] Речь идет о греческом шкипере-разведчике Антонии Глези, захватившем большое турецкое судно.

[225] Рибопьер, Иван Степанович (1750–1790) – генерал-адъютант князя Г. А. Потемкина-Таврического, бригадир.

Геройски погиб во время штурма Измаила.

[226] Симолин, Иван Матвеевич (1720–1799) – дипломат.

[227] Брюс, Яков Александрович (1732–1791) – генерал-аншеф.

[228] Оксеншерна, Йохан Габриэль (1750–1818) – шведский государственный деятель, ригсмаршал.

[229] Фокс, Чарлз Джеймс (1749–1806) – английский политический деятель, глава оппозиции.

[230] Максимович, Степан Петрович (?—?) – генерал-майор; погиб под Очаковом в ноябре 1788 г.

[231] В Керченском морском сражении 8 июля 1790 г. российский флот под командованием контр-адмирала Ф. Ф. Ушакова атаковал «неприятеля вдвое себя сильнее <…> разбил сильно и гнал до самой ночи» (из письма князя Г. А. Потемкина-Таврического Екатерине II 20 июля 1790 г.).

[232] Гольц, Бернгард (?—?) – прусский посланник в России.

[233] Поражение флотилии под командованием принца Нассау-Зигена при Роченсальме 28 июня 1790 г.

[234] Штединг, Курт (1746–1836) – шведский военачальник, генерал-фельдмаршал, дипломат. В 1790 г. был назначен посланником в Россию.

[235] Пален, Петр Алексеевич (1745–1826) – государственный и военный деятель, дипломат. В 1790 г. был назначен посланником в Швеции.

[236] Булгаков, Яков Иванович (1743–1809) – дипломат.

[237] Придворный банкир.

[238] Селим III (1761–1808) – турецкий султан в 1789–1807 гг.

[239] Потоцкий, Игнаций (1750–1809) – великий маршал Литовский, один из вождей восстания 1794 г.

[240] Виртемберг-Штуттгартский, Карл Фридрих Александр – принц, младший брат великой княгини Марии Федоровны, скончался 13 августа 1791 г.

[241] Зубов, Платон Александрович (1767–1822) – генерал-фельдцейхмейстер, последний фаворит Екатерины II.